



КОЛЛЕКЦИЯ / **ТЕКСТ**



ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ



ОБМЕНЕННЫЕ ГОЛОВЫ

КОЛЛЕКЦИЯ 2

В эту
коллекцию
войдут книги:

С. Беккет
Моллой

И. Мабен
Нежный мужчина

А. Пьейр де Мандьярг
Огонь под пеплом

Ф. Искандер
Человек
и его окрестности

К. Барош
Зима красоты



ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ ОБМЕНЕННЫЕ ГОЛОВЫ

ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ

ТЕКСТ



КОЛЛЕКЦИЯ / **т е к с т**



ОБМЕНЕННЫЕ ГОЛОВЫ

Леонид Гиршович

т е к с т

Леонид Гиршович ОБМЕНЕННЫЕ ГОЛОВЫ

КОЛЛЕКЦИЯ / **текст**



КОЛЛЕКЦИЯ 2

ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ
ОБМЕНЕННЫЕ
ГОЛОВЫ

Роман

МОСКВА «ТЕКСТ» 1995

ББК 84Р7-4
Г 51

ISBN 5-7516-0042-8
© Леонид Гиршович, 1992, 1995
© «Текст», 1995

ОБМЕНЕННЫЕ ГОЛОВЫ

1

— У меня было сильное искушение прикончить этого мерзавца, — сказал фон-Корен, — но вы крикнули мне под руку, и я промахнулся.

Чехов. «Дуэль»

— Чю-ус*, — прокуковали на прощание одна другой две немки.

Так же — как две кукушки — они были и неразличимы. По крайней мере, на взгляд человеческий. Вид немок, распространенный среди матерей моих частных учеников: у всех одинаково аккуратные головки льняной масти, одинаково благоухающие шубки, все с одинаковым зимним солнцем на сорокапятилетних щеках. И когда хочешь все позабыть, когда уже не вмоготу быть не таким, как все, начинаешь завидовать их мужьям.

И точно так же, вниз на терцию, пели свое прощальное «шалом» (ша-лом, ми-до) израильтянки. Забавно, что там это пение казалось чертой сугубо левантийской. Моя вдова Ирина, по следующему своему мужу Лисовски (фамилия довольно известная в музыкальном мире, это он и есть), вдруг именно так, на чуждый нам обоим ивритский лад спела мне «шалом»: мол, я тебе посто-

* Пока — (от нем. Tschuß).

ронняя. Это означало бесповоротность объявленного мне решения, свалившегося как снег на голову. Старо как мир, что мужья обо всем узнают последними.

Первоначально это был всего лишь случайный наш знакомый по очередям к разным израильским эмиграционным чиновникам, вскоре, правда, из обычного смертного превратившийся в личность заметную. Подвизаясь на дирижерском поприще, он неожиданно круто пошел вверх (кто говорит, что незаслуженно) и когда уже был близок, образно выражаясь, к *пейтхаузу*, Ирина Беркович сделала Ирэнou Лисовской (точнее, Ирэнou Лисовски). Из последнего отнюдь не следует, что моя фамилия Беркович, — просто в Советском Союзе жены презренными фамилиям мужей гордо предпочитают звучные фамилии отцов.

Меня зовут Иосиф Готлиб. Своим именем я обязан анимистическому обычаю евреев давать младенцу имя умершего родича. Вожатым моим в этом мире должен был стать дух отца моей матери — ныне тоже покойной. Юзеф Готлиб — мой дед — был украшением фамильного древа Готлибов. Блестящий выпускник Венской консерватории по классу композиции и скрипки, осевший впоследствии в Варшаве; друг Губермана, Шимановского, Шенберга, Кунце — до его политического перерождения; последние два года своей жизни профессор Харьковской консерватории — он был расстрелян в огромном рву вместе с тысячами других харьковских евреев. Не будем об этом...

Если имя я унаследовал от деда, то фамилию ношу матери, ибо родился (уже после войны) «то ли от Духа Святого, то ли от пыли дворовой». А не то и от «лагерной пыли» (моя мать тоже хлебнула изрядно при сталинских порядках). Так сложилось, что мы никогда не говорили об обстоятельствах моего рождения. Единственное, что она любила мне повторять: «Запомни, что ты *чистокровный еврей*».

По возвращении из Казахстана в Харьков решено было, что я пойду по стопам деда. Мне как раз пять с

половиной лет, классический возраст для скрипичного старта. Некий ученик Готлиба-деда становится учителем Готлиба-внука — возможно, матери следовало бы преодолеть соблазн сентиментальной развязки и подыскать мне хорошего детского педагога, а не этого томного болтуна в галстук-бабочке. Но возможно, что никакой Песталоцци бы здесь не помог, как не помогали ни мамини слезы, ни ее же угрозы — в частности, повеситься. На протяжении десяти лет мои занятия носили спазматический характер: за неделю перед экзаменами я вдруг по десять часов начинал заниматься на скрипке. В результате маме приходилось искать утешение в таких сомнительных комплиментах, как: «И ведь талант какой у бездельника... Да парень мог бы горы свернуть, если бы хотел». Разве что с ее «патрицианской» заносчивостью легче было выслушивать такое, чем сознавать, что сын твой — прилежная посредственность. Закончив музыкальное училище, я, однако, решительно закрыл футляр и сказал: «На этом все. У Господа Бога на мой счет имеются другие планы».

Мой мир — полуторамиллионный «украинский» Харьков с его свреями, во втором и даже в третьем поколениях говорившими по-русски, постоянно вздыхавшими, что «настоящих харьковчан после войны уже не осталось». Мое ближайшее окружение — провинциальные гении: поэты, художники, великие прозаики — как я, например. Ни один из нас ни капли не сомневался в том, что препятствовали нашему парижскому или нью-йоркскому триумфу исключительно советские погранвойска. Сейчас не хочу даже вспоминать все свои опусы — и главный из них, который преданная жена Ирина по ночам компактно переписывала с моих черновиков. Каких сил стоило впоследствии переправить на Запад эту «антисоветскую прокламацию в лицах» — по отзыву одного из издательств. Увы, Россия — не черная Африка; родился я негром, весь бы мир кричал, что это гениально. Но я из Харькова — и этим все сказано. Так объяснял я себе и Ирине, уже

обливаясь с ней тель-авивским потом, причину постигшей меня катастрофы — для меня в общем-то это была катастрофа.

На мое несчастье, Ирина уверовала в меня. Единственная дочь инженера Берковича, единственная дочь главного инженера Берковича, единственная дочь *главного* инженера *мясокомбината* Берковича, в глазах своей семьи она делала глупость: я был абсолютно никем для них. Зять без высшего образования, даже без твердой профессии, водит компанию с одними длинноволосыми, слоняется по кафе. А тут единственная дочь инженера Берковича — она же общепризнанная красавица (институт городских красавиц в Харькове еще сохранялся), не говоря о том, что мысленному взору претендентов на ее руку она должна была представляться не иначе как в облаке дармовых антрекотов.

Во избежание ненужных скандалов с родителями Ирина поставила их перед фактом свершившейся примерно за час до этого регистрации нашего брака. Кто бы видел счастливые лица ее папеньки и маменьки. Тогда, признаться, меня это в ней восхитило, господин Лисовский. Только, может быть, и вы не последний, кому суждено восхититься решительностью вашей супруги? Рок-звезды живут пожирней вашего.

Еще трудней складывались ее отношения со свекровью — моей мамой; в конце концов сытый мещанин Беркович был отцом дочери, стороною, более отходчивой в своем родительском гнев: ну что ж — мог уговаривать себя он, — зато сврейский мальчик (боюсь, что в его случае это был единственный аргумент в мою пользу). Мама — вот кто встретил наш брак действительно в штыки. Она бы встретила в штыки любой брак, но так как признаться в этом не могла — также и себе самой, — то придиралась к моей Ирине почему зря: дескать, она подговорила меня (такой талант!) бросить скрипку и заняться какой-то глупостью, за которую я к тому же когда-нибудь сяду, — и не такие писатели шли за колючую проволоку; или: из-за нее я таскаюсь по всяким

притонам — так моя бедная мать называла кружки харьковской богемы. Ну, о том, что я взял в жены типичную «прости господи», даже говорить не приходится. Семейка же ее — жмеринские шахер-махеры, с которыми и за один стол не сядешь.

Последнее — извечное презрение эмансипированного в третьем поколении еврея к едва лишь проклонувшемуся из гетто — мама выражалась совсем как старая барынька: за один стол не сядешь. Нелестное сравнение приходит на память. Уже здесь, в Западной Германии, я узнал о некогда имевшем место отречении «арийцев» иудейского вероисповедания от их местечковых собратьев, галдевших на идише. Пускай говорить так о родной матери не следовало бы, но... Я чувствую, что жизнь меня хорошо обидела, — я имею право и обидеться. Мама была не ангелом, да еще Казахстан за плечами. Ирина — та могла быть ангелом. С бронзовыми крыльями. Пролетая, коснется тебя такой ангел крылом... В столкновениях с мамой она в обиду себя никогда не давала. Та начинала, но зато уж кончала всегда эта. Пример. *Мама*: «Не забывай, кем был его дед (кивает на меня) и твой». *Ирина*: «Который? У меня ведь их было два».

Когда мама умирала, то Ирина ухаживала за нею с самоотверженностью подвижницы. Гордыня?

Но прежде об одном событии начала шестидесятых. Из неведомого Израиля пароходом в Одессу прибывает Эся, мамина сестра. Это было чудом, но, хоть и редко, такие чудеса все же случались. Их было две сестры: до боли привязанная к своему отцу Суля (Суламифь), во всем покорная его капризам, и Эстер, революционерка. Одно время Эся рвалась в Россию, строить новый мир — домашним языком всегда был русский, хотя семья деда происходила из Мемеля, — но потом в ее воображении замаячил купол Сорбонны, зашекотало при мысли об интернациональной студенческой вольнице, в которой доля молодых польских евреев была заметна — как успехами в науках, так и единообразием характеров: преобладали «эси» — обоего пола.

Она уехала из Варшавы в тридцать восьмом — уже на ходу впрыгнула, можно сказать, — а летом пятьдесят седьмого, в разгар фестиваля, от нее пришла весточка. В промежутке было и падение Парижа, и Резистанс, и бегство к англичанам, и бегство от англичан (в запретную Палестину) — события не менее драматические, чем пришлось пережить сестре Суле, но, право же, куда более фотогеничные, что-то вроде «Касабланки».

И вот мы встречаем Эсю в Одессе, где она пробудет лишь день, — вечером пароход поплывет дальше, в Стамбул. В память этот день врезался отдельными осколками: ночь в поезде, мама не спит, причал, столпотворение, мы мечемся, Эся — они бросаются друг к другу в объятия. Слезы. Сразу какая-то забегаювка или мороженница — очевидно, мы оказались в ней и впрямь очень скоро: времени в обрез, деваться некуда. Мы только сели, Эся достает из сумочки фотографию и протягивает — вот так, через стол. Мама берет. Как вскрикнула! Дико — и тут же зажала себе ладонью рот. Потом ей стало худо, на нас все смотрели.

На фотографии двое: солдат в зловещей немецкой каске направляет автомат на пожилого мужчину с поднятыми вверх руками, в одной из которых — словно дамклов меч над головой — скрипичный футляр. Этот снимок, чудом не сгоревший, ибо найден был в полевой сумке среди обломков немецкого самолета, давно уже на Западе стал популярнейшим антинацистским клише. Его воспроизводили столько раз, в стольких журналах, книгах — Эсе в голову не могло прийти, что мы его прежде не видели, она-то ожидала иной реакции: посидели, помолчали, привычно вздохнули — непривычно только то, что вместе. Откуда ей было знать, что для внутреннего пользования в Советском Союзе имелись свои фотоклише: казненная партизанка, например, — хотя в целом натурализма избегали, предпочитая соцреализм, — политрук, устремляющийся вперед с пистолетом в руке.

Никаких слов не хватит, чтобы передать, чем явился

для матери этот снимок, случайно запечатлевший отца в последние дни или часы его жизни. От встречи с Эсей нас уже отделяли недели, месяцы; в сущности, эта фотография, оставшаяся у нас (копия с копии — подлинник хранился в «Яд вашем», где работала Эся), — в сущности, она ведь только подтверждала и без того, увы, хорошо известное. Но, клянусь! мать почернела, изменилась — словно если этот ужас и не случился лишь вчера, то, по крайней мере, лишь вчера она об этом узнала.

С тех пор мы были с Эстер в переписке. Когда десятилетием позже лед тронулся — началась еврейская эмиграция, — Эся, по маминому настоянию, прислала нам вызов на семью из трех человек. «Заказаны» два раза «Готлиб», один раз «Беркович». На второй день нашей «подачи» мама себя плохо почувствовала. Она лежала в кровати и жаловалась, что в животе у нее «что-то перекачивается». Началось постепенное, неотвратимое сползание в смерть, когда каждый последующий день пунктуально, как в адской аптеке, еще на сколько-то увеличивает дозу страданий больному, которому даже «во вчерашнее свое самочувствие» возврата уже больше нет.

Ирина взяла отважно, может быть, излишне экзальтированно в свои руки ведение всех дел. Они напоминали сейчас два тяжело нагруженных состава, которые движутся по одной железной дороге в противоположные стороны, но невероятным образом управляются одним машинистом. Первый состав — мама. Второй — подготовка к отъезду, мучительное преодоление тысячи бюрократических рогаток («дайте мне справку, что вам нужна справка, что им нужна справка, что...»). Налет на всем *еврейской подрывной деятельности* лишь усугублял задачу — и размер бакшиша, взимавшегося повсеместно. И это при нашем хроническом безденежье! (Эся же вместо того, чтобы прислать хоть раз дамский джинсовый костюмчик пятьдесят шестого размера — самого ходового на черном рынке, слала и слала нам альбомы

типа «O Jerusalem...»; здесь спасибо Берковичу, который вообще неожиданно оказался добрым дядькой, но сие к делу не относится.)

В первую неделю мы возили маму по профессорам, которые, приняв свои конвертики, серьезно и тихо говорили о необходимости лечь в больницу на обследование. Сделать это удалось быстро, больница считалась «о-о-очень хорошей», болезнь всходила там как на дрожжах. Название ее, невыговариваемое как Имя Бога, хотя и первым делом приходит на ум всем на свете, наконец было произнесено: да — рак. Рак печени. Маму выписали из больницы. Так открываются ворота тюрьмы перед узником, увозимым на эшафот. Она вернулась домой после трехнедельного отсутствия, с глубокими впадинами висков и щек, вся — сплошь кости, обтянутые пергаментной кожей. В последний раз в жизни разделась и легла в кровать. Больше ее не интересовало ничего.

Агония была страшной. Земная мамина жизнь завершилась в девять пятнадцать утра, совершенно райским весенним днем — синие небеса, белые барашки — в канун какого-то православного праздника, кажется, Вознесения. Ирина вышла из пропахшей предсмертным бельем комнатки сказать об этом, как вдруг затрещал телефон. Кто-то снял трубку, но тут же передал ее мне. Звонили сообщить, что вопрос о нашем выезде из СССР решен положительно; нам втроем следует прийти за визами.

Еще одна, две, три такие «шуточки», и начинаешь понимать, что в жизни нет ничего случайного. Чтобы вот так, день в день, совпасть в сроках, нужно четко координировать работу — если хотите, этим *Они* (*Оно?*) себя выдали. Или это тоже входило в планы?..

Не подумайте, я в своем уме, то есть мой рассудок расстроен не более, чем у других, высыпающихся из Советского Союза в ту великую пустоту, имя которой Заграница. Что с нами здесь происходит? Людей множество — тоже и судеб. Но общий закон эмиграции тем не менее существует: это безвозвратный, навечно уход из

прямой речи в косвенную. Каждый в Советском Союзе, кто, как Гамлет, задастся вопросом: уезжать или не уезжать, должен решить для себя, не чрезмерная ли это цена за избавление от комплекса «границы на замке» — и дальше сообразно с этим поступать.

Итак, читатель, — необратимый уход из прямой речи в косвенную.

Первое, что мне показалось, когда мы вышли из самолета в Израиле: я в воздушной струе, выбрасываемой еще горячим мотором нашего самолета (да простится мне мое техническое невежество). Надо сделать шаг вперед — и выйдешь из нее... Нет, уже не выйдешь. Каким увиделся Израиль в первые минуты, дни, месяцы (когда счет пошел на месяцы, началось самое скверное)? Очень маленькая, очень жаркая страна, где порция мороженого на улице — непозволительная роскошь. Все виделось сквозь нищенские очки, и по прошествии нескольких месяцев одновременно с привычкой к этому крепло и чувство, что ты — влип, и вдруг ты ударялся в панику. Казалось, что ты живешь здесь целую вечность и ничего другого в жизни тебя не ждет. Достаточно ли ясно я все выразил? К этому добавь тупые и одновременно гнусные шуточки местного населения по твоему адресу при полнейшей твоей бессловесности, вследствие чего ответить им хотелось хорошей дубиной. Та же Эся, к которой мы иногда навещались в гости, в иерусалимскую прохладу, начинала со своим польско-еврейским выговором перечислять преимущества нашей «абсорбции» перед своею, когда на их барак ставился один здоровый котел каши и все были счастливы. Перед нами, втайне надеявшимися у Эси пожрать, стояло блюдо с фисташками и слабый раствор грейпфрутового сока.

Тогда польско-еврейский (у чистокровных поляков он иной) акцент в русском языке вызывал во мне желание кусаться: все, кто числился в экспертах по России, по Советскому Союзу, по моей психологии и тому, как следует со мной обходиться, говорили с этим акцентом.

В этих людях каким-то чудом соединилось самое несимпатичное, что может быть в еврее, поляке и провинциале. Как евреи, они низко кланялись советским коммунистам, к которым я, по их мнению, проявляю черную неблагодарность. Как поляки, они во мне презирали русского (с тем же дурацким гонором — разумеется, поляками они были, по их глубокому убеждению, больше, чем папа римский — католиком). И как провинциалы, они так демонстративно все это «скрывали», что лучше бы уж прямо сказали, что у них на сердце.

Когда количество прожитых в Израиле месяцев перевалило за девять, я неожиданно оказался в армии. На мой вопрос, не рано ли, сержант, сунувший мне на подпись какую-то бумажку на иврите, спросил, умею ли я читать. Я прочесть ее был не в состоянии. Тогда он сказал, что здесь якобы написано: тот, чей ребенок мог быть зачат уже в Израиле, вправе стать солдатом Армии Обороны Израиля. Так и не знаю, сказал он правду и был там этот бред напечатан, или поработала его восточная фантазия (он был перс); но знаю другое: ребенок, родись он тогда у Ирины, мог быть зачат еще только мной. Тогдашний — еще только мной.

Поскольку лично мне защищать в Израиле еще было нечего, то и мой боевой дух был низок. Зато я долго не мог привыкнуть к своей новой роли «хемингуэевского солдата»: та же каска с сеточкой, тот же автомат, кругом те же джипы — ничего красноармейского. Вечером в кантине (а слово-то какое: кантина) разваливаешься на стуле с кока-колой, уперев ноги в шнурованных ботинках в стенку на уровне лица — и представляй себя кем угодно. Эта затянувшаяся игра в «буржуазные солдатики» как кремом смазывала мне ссадины реальной солдатчины, к которой ни морально, ни физически я подготовлен не был. А какое блаженство было по пятницам вторгаться в гражданское течение жизни, сбрасывая с плеча автомат и высыпая из рюкзака кучу армейских лакомств: компотов, консервов, паштетов. Ирина, которая вареных цыплят уже не могла больше видеть, ахала: вас

так кормят в армии... Неделю предвкушал я этот миг — и все воображал, в разных инсценировках, как на вопрос, что нового, мне вдруг вручался припрятанный за спиной фирменный издательский конверт с предложением издать мой роман в переводе на все иностранные языки. Но почта за неделю приносила только какие-то счета, порой баснословные, в происхождении которых разобраться было невозможно. Ирина страшно нервничала. Я почувствовал вдруг, что больше мне не стоит на все ее жалобы отмахиваться, как прежде: «Дай только на английский перевестись» — это вызывает у нее раздражение. Дважды она встречала меня категорическим «сядь» и, когда, обескураженный, я усаживался, не зная, чего ждать, протягивала мне долгожданное письмо. В одном как раз и говорилось, что мой роман — это прокламация в лицах; в другом даже не снизили до объяснений.

Когда в третий раз вместо приветствия она мне велела сесть, я с кривой усмешкой (наверное, с кривой — какой же еще) сказал, что и так не упаду — где писулька? Но Ирина повторила «сядь» — она была человеком плана, и, зная об этом, я не стал спорить. Она тоже села (так было сию задумано). Я протянул руку за письмом. Но вместо письма услышал, что она от меня уходит. Детей у нас, к счастью, нет, и поэтому у нее нет передо мной никаких моральных обязательств. Видит Бог, она была мне хорошей женой.

Она встала, и что же — в руке у нее заблаговременно сложенный чемодан. И сама она в дверях. Я не успел опомниться — но все-таки инстинктивно оказался рядом с ней. Тут она мне и пропела чужим голосом: «Ша-лом». Как какая-нибудь израильтянка, кладя телефонную трубку. Дверь захлопнулась. Я услышал, как по каменной плитке зацокали металлические набойки.

Автобус останавливался прямо перед нашими окнами. Но ходил редко — стремительность, с которой все произошло, вовсе еще не означала мгновенного исчезновения ее из моего поля зрения. В окно я увидел, как

она вышла на улицу, только почему-то не стала на автобусной остановке, а подошла к пунцовой «альфаромео», из которой выскочил Лисовский, погрузил ее чемодан в багажник, и они счастливо уехали (все на одном дыхании).

Боже мой...

Оглушительно стучало в ушах. Я медленно сползал на пол, губа и ноздря, волочась по стене, непристойно задирались.

Лежание на полу как эпоха.

После наступил черед исследования тумбочек и шкафа. Ничто не указывало на то, что она еще недавно жила здесь. Ей удалось уничтожить следы своего пребывания не только в квартире, но и вообще в моей жизни: поздней обнаружилось, что ее фотографии изъяты все до единой, а на совместных снимках она была аккуратно срезана. Мой взгляд полз мухой по пустым ящикам — никаких «улик». Попутно перечитал я два злополучных письма, когда они попались мне на глаза. Позорное утешение: родился я негром... Надо сказать: в Израиле и до армии и в армии я пробовал что-то кропать — тщетно, такое чувство, будто между глазами и мозгом опустился железный занавес.

Видимо, мои действия, так же и мысленные, между собой разделялись огромными промежутками времени: пока перечитал письма, пока встал с пола, пока обследовал ящик... Потом еще взял в руки автомат, сидел с ним на коленях, вцепившись в него, как в сильного — слабый. На память (пути которой неисповедимы) пришла фотография деда с поднятыми руками. Подражая немецкому солдату, я — как он в точности — направил дуло на созданную воображением фигуру человека. Нет, совершенно неприемлемый для меня вариант, даже близко не лежало. Сознание этого принесло какое-то облегчение, спало напряжение. Я повалился, немножко поплакал; уже начинало темнеть, света я, естественно, не включал. Поздней занялся уничтожением своих сочинений — методично разрывая каждый лист на четыре

части и спуская в клозет. Специально выбран столь уни-
зительный вид казни вместо, скажем, предания огню.
Бывает расстрел, а бывает повешенье. В ритмичности
движений, подобной монотонному скандированию
фоллы, крепло уже родившееся решение.

К услугам обладателя солдатской одежды в любое
время суток попутная машина, если не с первой, так с
пятой попытки. Какой смысл было мучиться, дожидаясь
утра, — я отправился в свою часть немедленно. Доби-
раться пришлось раза в три дольше обычного. На КПП
клевавший носом «страж Израилев» (мики, джки,
лаки — как его там звали) по-своему истолковал мое по-
явление среди ночи. Решив, что я без увольнительной
смотался в соседний городок, он понимающе поднял
средний палец. Ночь была звездная, яркая, небо в
мирах — их Творец, быть может, тем же доходчивым
жестом по-отечески напутствовал все живое, говоря
«плодитесь и размножайтесь». Так все на этом и стоит —
спросите у Лаки. Спросите у четы любовников, которые
после удачного побега, в первую ночь новой жизни,
точно не спят, а высасывают друг у друга языки. Про-
клятое воображение! Ничего, скоро уймешься.

Я поднялся по лестнице, стараясь не шуметь, что
было глупо вдвойне: во-первых, на субботу все ушли
домой, кроме нескольких человек, которым выпало су-
точное дежурство — и соответственно ночлег в карауль-
ном помещении (за одного из них и принял меня часо-
вой на воротах); во-вторых, шум, который все равно
через минуту раздастся, не разбудит разве что уж одного
меня. Все понятно? Тем не менее я тихо ступал по сту-
пенькам — двенадцать и двенадцать, сам сосчитал как-
то раз, когда мыл; тихо шел по галерее по направлению
к своей спальне. Спален этих, пяти-шестикоечных,
было четыре, и столько же приблизительно в противо-
положном крыле здания — для солдаток. Это была стан-
дартная английская постройка, называемая по старинке,
как и при британцах, «полицией»; их полно по всему
Израилю. Их немногочисленный личный состав (в

своей досержантской части) обычно с тоской вспоминает хаотический быт бездонных армейских лагерей.

Вставив магазин в «узи» (сперва другой стороной, как всегда — я ведь не был настоящим солдатом), я не очень уверенно повторил то, что мне один раз когда-то показали. Причем заколебался: перевести с предохранителя на «одиночные» или на «очередь»?

На очередь.

Открыв дверь, я привычно подошел в темноте к кровати в углу, приставил легкий коротенький «узи» к виску, большим пальцем касаясь курка. Измена проникла в нашу кроватку — с этой отвратительной пародией на мысль я повалился, но еще прежде, чем забила оглушительная дробь, «кровать» выпрыгнула из-под меня. И тут и визг, и гангстерское та-та-та-та-та — все смешалось.

В следующий момент картина была такая. Я лежу в крови и штукатурке (как в мороженом с вареньем, если учитывать опасность, грозившую моей жизни). «Пуля оцарапала мне висок», как писал д'Аршиак. Однако я не подозревал, что все так безобидно, и не смел шлохнуться. Наперегонки одевавшейся парочке вообще было не до меня, да и как иначе — нагишом оказывать мне первую помощь? К тому же с сестренкой начался нервный припадок. Лаки, сам в одной штанине, пытался убедить ее все же одеться (это был Лаки, значит, «в воротах» стоял Дуби). В этой критической ситуации их — или, если угодно, нас — и атаковал Джеки, конопатый лейтенант, надо думать, уже ожидавший боя с террористами. А за ним бежали два сержанта и еще какой-то толстяк резервист тряс брюхом.

Убедившись, что опасность ничьей жизни, включая и мою, не угрожает, хотя все еще ничего не понимая, Джеки приступил к дознанию. Он тоже перепугался ужасно — его веснушки полиняли. Один я был спокоен. Да, я открыл огонь. Нет, не в них. Я стрелял в себя — мне так хотелось.

Девиза, так и не одевшаяся, завернутая в одеяло,

была быстро спроважена на женскую половину. Очухиваться. При этом Джеки задал ей дурацкий вопрос: что она здесь делала? Даже Лаки засмеялся. Джеки стал оправдываться; он имел в виду другое — почему это надо было делать здесь, на моей кровати. Один из сержантов замечает, что надо было, конечно, пойти в комнату к Джеки. Меня больше ни о чем не спрашивают, я внушаю им гадливое чувство: незадачливый самоубийца, только парню весь кайф испортил. Когда меня перебинтовали, Джеки велел мне идти за ним.

Вызванный им магад (расшифровывается как «мифакед гдуд» — командир полка) прискал только в полдень. Если он во всем был такой же расторопный, то ничего удивительного, что его послали нами командовать (кажется, он уже был одной ногой в отставке). Магад говорил по-русски с тем же акцентом, что и Эся, только поплоще.

Так что же я здесь надумал? Еврей, солдат, мужчина, русский человек, наконец? У него была довольно своеобразная иерархия показателей жизнестойкости. Магад держал перед собой папку с моим личным делом, черпая оттуда все новые аргументы: а жена, почему я о жене не подумал — вдовой захотел сделать? Я объяснил магаду его ошибку.

Что ж, и через это должен мужчина раз в жизни пройти. В назидание он долго рассказывал мне об утратах, выпавших на его долю: тут и семья, погибшая в гетто, и войны — сколько друзей в каждой полегло: Мулик Ковенский, Шмулик Виленский, Срулик Варшавский... Да сколько еще в жизни всего было! А вот он же живет — и счастлив. Сейчас он предоставит мне недельный отпуск, а там поговорим снова.

В проповедники магад годился так же, как, боюсь, и в полководцы. Но вот перед тем как меня отпустить, он, при этом покраснев, сунул мне сто лир — чего я ему никогда не забуду (дело даже не в этих двадцати долларах — хотя я не представляю, на что бы жил иначе эту неделю).

Честно признаться, на него, по-моему, подействовала одна моя фраза — она и на меня подействовала, когда задним числом я разобрался, что за нею стоит. Магад спросил меня, между прочим, почему «для этого» я вернулся в часть. Я растерялся: действительно — почему? Стал соображать и понял — о чем, как смог, ему и сказал: я ведь живу в нормальном городском доме, как же там выстрелить? Еще в армии, тихонечко... все-таки как бы среди военных... Тут я сам себе умилился. Получалось, что я очень хороший человек, — как же такому умирать?

На сей раз владелец подобравшей меня на шоссе машины оказался тоже «русским человеком». Из разговорчивых. Признав во мне своего, он не умолкал уже ни на секунду. Лейтмотив же был: эх, и здорово я живу! Есть такие бодрые люди — на вопрос «как поживаешь?» они отвечают неизменным «лучше всех». Этот даже не хвастался тебе напрямую, он «ворчал». Архитектор попался шарлатан. Жена поехала в Париж — десяти тысяч как не бывало. Сейчас из Западной Германии кухню выписал... Вот действительно страна! Знаю ли я, например, что в немецких оркестрах все музыканты — миллионеры. Не то что у нас в тель-авивской филармонии — какие-нибудь полторы тысячи долларов в месяц, и это со всеми записями. Зато послушать скрипачей в Германии!.. Цирк. (Сам он скрипач.) Их там просто нет. Кто хочешь может поступить в оркестр. Только скрипку возьми в левую руку, а смычок в правую — пять тысяч марок тебе обеспечены. Он лично знает одного страхового агента, музыкальную школу в Мелитополе закончил — теперь сидит помощником концертмейстера в Гамбурге. Тут выясняется, что помимо страхового агента из Мелитополя он лично знает и других, более выдающихся деятелей музыкального искусства: Славика Ростроповича, Даника Баренбойма, Анечку-Софочку Муттер. Я аккуратно подвел его к имени Лисовского — тоже земляк, приехал голый-босый, а какую, говорят, карьеру

себе делает. Нет, здесь почему-то он меня не поддержал: да, конечно, но до Лени Бернштейна ему еще далеко. И снова заговорил о доходах оркестрантов в Германии.

Видно, судьба подослала мне этого Мюнхгаузена не для мазохистских упражнений (я же не верю больше в совпадения — да-да, мне подозрительны совпадения, чреватые промашками из «узи» с расстояния в микрон. Дня два спустя — это я к тому же — тель-авивский оркестр играл что-то по телевизору. Я не мог слышать через стекло витрины, что именно, но я бы мог отчетливо разглядеть своего нового знакомого — если бы он там находился). Он высадил меня с пожеланием скорейшего выздоровления, имся в виду забинтованную голову — я сказал, что один ненормальный открыл у нас стрельбу в казарме. На это мне было замечено, что парень, как пить дать, захотел демобилизоваться, старые фокусы.

Я вспомнил об этом, когда еще до истечения моего отпуска получил бумажку с треугольным штемпелем, положившую начало недолгой процедуре моей демобилизации. В итоге и многое другое из того, что он говорил, мне перестало казаться таким уж неправдоподобным. А ведь между тем я должен был решить, что делать дальше, — чем прежде себя никогда не утруждал: сперва это была всецело мамина прерогатива, после — Ирина.

Мне выпало несколько блаженных лет: верить в свою избранность. Даже теперь, когда все вырвано с корнем — и лунка заполнилась кровью, скажу: это было прекрасно, я ни о чем не жалею (*Non, rien de rien, non, je ne regrette rien* — голосом Эдит Пиаф). Я целыми днями лежал в кровати и рассуждал об этом. Хотелось бы знать, а как это случается у других, нас в Харькове было много таких — званых. И вдруг приходит контролер, проверяет твой билет и переводит тебя из первого класса — где ты уже расположился — в третий. Каково? И ведь живут же дальше, не умирают.

Он говорил — этот тип — про скрипачей в Западной

Германии. Все-таки я закончил музыкальное училище и был не из последних. Правильно — мысленно возражал я себе же — все эмигранты говорят одно и то же: врачи — что здесь лечить не умеют (да были б в России у нас такие препараты, Господи...), учителя в ужас приходят от здешних школ, ученые за голову только хватаются: что у них в науке творится... И все, кого ни послушаешь, твердят — каждый о своем: профессиональный уровень здесь — ка-та-стро-фа. Почему бы советским скрипачам не петь ту же песню: скрипку в левую, смычок в правую — и пять тысяч марок зарплата. Непонятно только, откуда Берлинская филармония взялась. Я наслушался таких разговоров, люди спасаются ими, все верно, но... с демобилизацией-то он оказался прав.

В любом случае мне надо было чем-то себя занять. Так по прошествии стольких лет, робея и волнуясь, я открыл футляр, в котором лежала моя скрипка: что-то еще от меня осталось как от скрипача? Это по Иринуному настоянию мы взяли с собой скрипку. Мне милей было ее продать, а не наоборот — еще и тратить на нее: носить к фотографу, к оценщику и в конце концов уплатить бешеную таможенную пошлину за вещь, которая никогда больше в жизни не понадобится. Собственно, Ирина держалась того же мнения — что не понадобится. Тем не менее при слове «скрипка», «скрипач» (ах!) с ней происходило то же, что со всеми. Что бы там мама ни говорила, она очень даже ценила во мне «скрипача». И уж никак не могла понять, почему, став писателем, надо зарывать в землю другие свои таланты. Почему «надо Энгру отказываться от своей скрипки» — вот как мы тогда выражались. Как мог, пытался я объяснить, что этюды Крейцера под аккомпанемент маминых воплей мне с детства отбили охоту «творить» смычком по струнам (вспоминаю моего учителя с воздетым перстом: «Крейцер, как говорил твой дед, это наш ежедневный хлеб, смоченный потом и слезами» — взгляд украдкой в сторону матери, всегда сидевшей на уроках).

Быстрее всего возвращалась беглость: пальцы на струнах орудовали уже как маленькие канатоходцы, а смычок по-прежнему оставался соломинкой в лапе орангутана. Практически у меня не было с собою нот. Приходилось играть — не считая гамм, гнущихся под тяжестью штрихов, — по тем нотным листочкам, что так и остались лежать в футляре после моего выпускного экзамена: 3-й Сен-Санса, 3-й Моцарта, ларго из 3-й сонаты Баха (порядковый номер ларго тоже три: после адажио, после фуги). В сумме же счастливое число для всех конфессий; возможно, это и зачлось. Как бы то ни было, вместе с вызуженной когда-то программой в руках просыпались рефлексy, воскрешение которых на ином музыкальном материале (пускай даже более благоразумном для начала — «диетическом») не пошло бы так гладко. Это как, начав читать давно и основательно позабытую поэму — однако не менее основательно зазубренную в детстве, видишь: память уже забегает вперед, вспоминается вдруг что-то из середины, причем целые куски. Руки тоже — благодаря знакомому репертуару — проникались ощущениями, даже еще не востребованными.

Парой недель позже, когда голова была уже разбинтована, а по всему лбу, от оконечности правой брови к будущей левой залысине, пролегла багровая трасса (врач на мой вопрос сказал, что навсегда), когда я уже, можно сказать, был снова скрипачом, смачно извлекающим из скрипки начальные звуки сен-сансовского концерта, что у меня всегда эффектно получалось и с ходу приносило несколько добавочных очков, — в дверь позвонили.

Все оборвалось. Я опустил скрипку. Как это будет? С чем она пришла? Одна ли? С ним ли? С адвокатом — на предмет раздела воздуха? Либо... Она же сумасшедшая, сейчас стоит под дверью, которую я открою... Я тогда сошла с ума... Я — вернулась назад. Так, со скрипкой, я и открыл дверь.

Еся. Вошла. Как всегда, короткие движения, брови удивленно вскинуты, веки надменно опущены. Она ведь

никогда не видела меня прежде со скрипкой. Посмотрела на мой лоб, ничего не сказала, но про себя, по моему, ахнула. Я усмехаюсь; меченый теперь буду. Пиратское слово, отныне всерьез применимое ко мне. Я повторяю его несколько раз, примеряя то одну, то другую интонацию. Меченый! Меченый... Меченый? Меченый?!

Эся быстро села, на что там у меня можно было сесть, и закрыла лицо руками. Я узнавал тонкие вздрагивающие мамины пальцы — не израильские; у уроженок этой страны руки обычно крупные — при маленькой стопе (а у немок наоборот). Пантомима под названием «Ужас». Наверное, неподдельный, я в Эсе плохо разбирался. Другой вопрос, чем уж она была так потрясена, неужто только рубцом на лбу? Почему она ко мне приехала? Непрошеное сострадание само по себе достаточно неприятно. Я же у нее ничего никогда не просил. Еще неприятней прозвучало сказанное ею, шепотом: *тебе тоже крикнули под руку?*

Впрочем, выглядело так, словно у нее это вырвалось помимо воли.

Она знала все. И сразу мысль: а Ирина? Если б моя мысль не работала исключительно в одном направлении, тогда б я, может, обратил внимание на словечко «тоже» — в действительности ключ ко всей этой сцене — знал бы я только, что крылось за ним... Ключ ко всей этой сцене, говоришь? Ко всей головоломке, которую мне еще только предстояло решить!

Ах, вот оно что, оказывается, Ирину она видела на концерте тель-авивского оркестра, но не со мной, прекрасно одетую — второе, кажется, было для нее более предосудительно, — но, главное, Ирина ее в упор не узнала. Да, я подтвердил, она меня бросила, материя довольно скучная, чтоб говорить об этом. Лучше пусть скажет, не видела ли она в оркестре такого скрипача... Но я понял, что не смогу описать его внешность. Волею-неволей пришлось вернуться к «скучной материи». Как будет у нас дальше, разводимся ли мы? Разводимся, и

непременно. Не знаю только сроков. Пока что меня демобилизовывают, и я улетаю. Видишь, вот занимаюсь, прихожу в форму (когда я еще только приехал в Израиль, да к тому же с сообщением о маминной смерти, она заставила меня говорить сй «ты»).

Эся была правоверной сионисткой — как была уже правоверной сталинисткой, правоверной антинацистской и т.п., следуя императиву души: всегда примыкать к какому-нибудь правому делу. Для нее покидающий Израиль — чтобы не подыскивать долго слова — дезертир, уже наказанный самим фактом своего дезертирства; банкрот, достойный презрения и жалости разом. Шрам, горевший у меня на лбу, как бы подтверждал эту точку зрения. Поэтому Эся великодушно воздержалась от комментариев. Впрочем, ее великодушию еще предстоит испытание, когда выяснится, что я уезжаю в Германию.

Страна, которой «эйн слиха», нет прощения, — в этом смысле она была Эренбургом в юбке. Хотя бы потому, что, работая в «Яд vašem», сделала Катастрофу, Холокост, Шоа своей профессией. Сотрудник исследовательского отдела (кажется, не рядовой), Эся являлась сама же и объектом собственных исследований — как пример «типично еврейской судьбы», сперва трагической, потом героической и потом уже счастливой. Неотъемлемое свойство человека такой судьбы, прошедшего нелегкий путь от Варшавы до Иерусалима, — это непримиримость к словам «Германия», «немцы». Здесь Эся была все рекорды: Моргентау предлагал распахать Германию под картошку, Эся бы засеяла ее солью. И ни один моралист в мире не посмел бы ее осудить: это ее отец на *той* фотографии — многократно увеличенной и занимающей полстены в центральном зале «Яд vašem». С той же фотографией на транспаранте она пикетировала концертный зал, когда Тель-Авивская филармония предприняла попытку сыграть что-то из Вагнера. Среди тысяч израильтян, готовых костями лечь, но не допустить подобного кощунства, Эся единственная способна

была отличить Вагнера от Чайковского — это подтверждается уже одним тем, что израильское радио, не объявляя имени автора, беспрепятственно передавало и Вагнера, и Штрауса, и Кунце — трех «табуизированных» в Израиле композиторов.

И вот Эся слышит, что я, мало сказать, дезертирую из Израиля, я дезертирую к немцам. Смолчать и на этот раз ей стоило усилий, в иных обстоятельствах достойных именоваться подвигом. Этот подвиг она совершила. Спросила только «когда?» — лицо каменное, голос упавший.

Ни когда — я не знал, ни куда — я не знал. Расхлебавшись с армией и получив выдаваемое в каких-то чрезвычайных случаях пособие, я в тот же день пошел в ближайшее бюро путешествий и попросил самое дешевое из того, что у них есть в Германию. Самое дешевое было воспользоваться освободившимся в последний момент местом. Вот, кстати, и оно: рыжеволосая, в белых кримпленовых брюках старушка румынско-американского пошиба, увешанная — как папуас рядами бус — золотыми цепочками, не могла лететь завтра утром на промышленную выставку в Циггорн в компании точно таких же «гробов повапленных»; к ней внезапно прилетает из Кишинева племянник, с которым она не виделась тридцать пять лет, — единственный оставшийся в живых ее родственник. «Случайным» образом стоимость билета совпала до лиры с имевшейся у меня наличностью. Самолет улетал на рассвете. Еще было время продать обручальное кольцо и пишущую машинку, чтобы не оказаться в этом самом, как его... Циггорне в чем мать родила. Неподалеку от нас, то есть от меня — а завтра здесь и моего уже ничего не будет, — под вывеской «Продаем и покупаем все» барышничал некий уроженец Дербента; по этому поводу бывшая московская инженерия еще остряла: продаем и покупаем всех. Дербентец, всем своим янычарским видом давая понять, что он обо мне думает, тем не менее сделал меня на пару сот лир богаче. Земной ему поклон, вору. Еще, помня,

чему обязан был приобретением дешевого билета, я поехал к Эсс проститься. Там меня ждали все те же фисташки со щедро разбавленным соком цитрусовых. Но и еще кое-что — признаюсь, сверх всяких расчетов. Сперва, подобно старушке матери, что дарит сыну на прощание отцовскую шпагу, Эся торжественно вручила мне несколько ветхих карманных партитур: «Форель» Шуберта, еще что-то. Единственная память о моем деде, он прислал их сй в Париж, узнав, что она иногда музицирует с друзьями (Эся, как и мама, одним пальцем играла на рояле). Но когда я уже поднялся, чтобы уйти, она вдруг вынесла из спальни сто долларов. И этим как бы купила себе напоследок право высказаться: она все понимает, но почему — Германия? Взяв эту сотню, я бы продешевил. А вот мне хочется в Германию. Эся стала кричать, уже в лестничный пролет: теперь попытка морального самоубийства!

2

Она была совершенно не права. Ничего из того, что она чувствовала по отношению к Германии, я не чувствовал. Как еврей к Германии, как армянин к Турции, как капитан Немо к Англии, так я относился — лучше сказать, я раньше относился, сейчас мне уже все равно — только к одной стране. Забывавшей поголовье собственного населения, словно оно заражено ящуром. При этом мне вменялось в моральную обязанность «свято ненавидеть» фашистов (эвфемизм для обозначения немцев, как эвфемизм для обозначения евреев — сионисты, которых тоже положено ненавидеть). На это работало все советское искусство, вся национал-коммунистическая религия — заручившись поддержкой у русской классики, спокон века не жаловавшей «немца». В моем случае результат был обратным: Гитлер представлялся как «мелкий тиран эпохи сталинизма», а Толстому или Чехову — согласно учебнику, всю жизнь бредившим (в своем подсознании) советской властью — я предпочитал «Аэропорт» Артура Хейли.

Подобное произошло с моим дедом Юзефом: два года жизни в Харькове из либерала сделали его таким раскаленным добела антикоммунистом, что он со своей застарелой германофобией, тянущейся еще со времен Вены, вдруг заявил: «Сталин страшней немцев».

Один раз я уже как дурак все бросил и бежал из Варшавы. Теперь я остаюсь. Хуже не будет, я не верю». Мама рассказывала мне об этом — об этом же она рассказывала тогда, в одесской мороженнице, Эсе, которая, закрыв глаза, качала головой, словно тоже отказывалась верить.

Замечу: ненавидеть Германию мне предписывалось не только именем двадцати миллионов красноармейцев, сложивших свои головы «под березами»; ненавидеть Германию мне предписывалось не только людьми, несущими в себе свой собственный «Яд вашем», — теми, в чье сердце стучит пепел Клааса; но — поразительно — самими же немцами. Они ждут от меня ненависти, они навязывают мне стереотипный образ мышления русского еврея — или, если угодно, и русского и еврея, — который не может не видеть в каждом из них своего потенциального убийцу. И вот одни начинают шаржированно-нежно тебя любить, а себя клеймить позором. Другие, наоборот, по той же причине готовы тебе нанести превентивный удар, а это чревато, если ты от них, скажем, зависишь по службе. Тем не менее я даже предпочитаю последних. В отличие от подозрительных и всегда непрощенных «сочувствующих» с этими потом куда как легко: надо только убедить их, что они априори заблуждались на твой счет. Это нетрудно. Во-первых, так им самим было приятней; а потом — я сумел найти верный тон, «академический». Немецкая культура сложилась намного раньше, чем немецкая государственность. Когда величайшая культура, в том числе величайшая романтическая культура, величайшая музыкальная культура ложится в основу незрелого государства, государство не может совладать с нею, она становится руководством к действию. А поскольку немецкий характер обладает счастливой — и одновременно несчастной — способностью во всем идти до конца, как в злом, так и в добром (русским тоже лестно так о себе думать), произошло то, что произошло.

Унизительно? Наверное. Но не для инвалидов вроде

меня. К тому же на первых порах я и не очень-то кривил душой. Кто как не я всегда считал коммунизм бóльшим злом, чем нацизм. Те в лагерях убили шесть миллионов чужих и были судимы. Эти убили бесчисленное число миллионов своих и еще были судьями. Западная Германия — законная наследница Томаса Манна (знать и любить Томаса Манна считалось в Харькове делом чести). В современной же России правят выращенные Сталиным чудовища.

Мой слушатель таял.

Самолет прилетел в Циггорн в полдень, совершив две промежуточные посадки, в Ларнаке и в Ганновере, — из-за чего полет так затянулся. В очереди, выстроившейся с паспортами, как с всерами, преобладала израильская речь — на фоне этих поблекших красок, белесого неба, нет-нет да мелькавших униформированных представителей коренной расы толпа пассажиров смуглела и кучерявилась прямо на глазах, яркая расцветка, привычная в Тель-Авиве, делалась дешевой и жалкой, южане на севере всегда имеют жалкий вид.

Миновав окошечко с сидящим в нем «дюреровским юношей» — как подумал я, подбадривая себя, — вдруг я оказался один. Все спешили еще к своему багажу, а передо мною, летевшим с одной скрипкой и сумкой («смена белья в узелке»), было написано «Ausgang»*. Мы проходили в школе немецкий, правда, этого слова я не помнил. Мой активный запас позволял мне сказать следующее: «Maus, Maus, wo ist dein Haus**? Es lebe die große ruhmreiche Sowiet Union!»*** и в заключение произнести: «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten»****. Мой пассивный запас был, естественно, мне самому неизвестен, зато приобретенный в Израиле навык «понимать не понимая» сулил бесконечное число глупейших си-

* Выход (нем.).

** Мышка, мышка, где твой домишко?(нем.)

*** Да здравствует великий могучий Советский Союз!(нем.)

**** Не знаю, что все это значит (нем.). (Первая строка стихотворения Г.Гейне «Лорелея».)

туаций. Обозрев гигантское «Willkommen in der Messestadt Zieghorn*!» — обращенное ко всем прибывшим, а значит и ко мне — и на основании этого сделав вывод, что «город месс» Циггорн горд своим традиционным благочестием, древним монастырем, возможно, знаменитым алтарем в какой-нибудь церкви св. Амалфеи, — я шагнул в Германию.

Таможенники не обратили на меня внимания, лишь один напутствовал мой скрипичный футляр доброжелательной репликой, в которой мне слышалось слово «филармония», что-нибудь вроде: схожу сегодня вечером в филармонию, послушаю вас. Если в отношении меня ирония, то к филармонии — автоматическое почтение. Снаружи снова все европейское: непрогретый воздух, вдалеке видна желтеющая природа, люди носят плащи и выдыхают парок. Я не знаю куда, но куда-то я вернулся, сейчас буду искать эту самую филармонию.

Каких-то счастливиц встречали. Сменяли друг друга, исчезая и появляясь, как пузыри в ливень, энергично обнимающиеся группы людей разных поколений, стоящих по колесо в чемоданах, — детей, взрослых, розовощеких старушек, через минуту погружавшихся в автомобили. Другие, тоже не чета мне, брали такси, цепочка которых тут же на одно звено продвигалась вперед. А вот уже моя компания: несколько черноглазых иностранцев, веселых и небритых. Я подошел к ним и спросил, где находится филармония. Филармония? А-а, тиль-иль, ля-ля... Они стали пикировать на воображаемых скрипках и намеренно противно гундосить, что соответствовало их представлению о классической музыке. Потом стали спрашивать: концерт? концерт? Там «ля-ля-ля» делают? Стали окликать проходящих мимо: не знаете ли, куда ему надо, вот со скрипкой он. На меня, стоявшего вместе с ними, косились, крутили головой и шли дальше. Когда же выяснилось, что я говорю по-русски, а они — югославы, и мы понимаем друг друга, тут они

* Добро пожаловать в Циггорн, город ярмарок! (нем.)

уж начали упрашивать меня, чтоб я им что-нибудь сыграл: тили-тили-тили, ну, давай! Этой фарсовой сцене конец положил подъехавший автобус, который курсировал между аэропортом и вокзалом и в любом случае был мне нужен; но и им тоже, поэтому наше дружеское общение продолжалось еще минут двадцать. На прощанье я оставил им мой харьковский адрес.

Почему не израильский — с равным успехом? Ну, с ними ясно, я не хотел их разочаровывать. Братья-славяне, уже «Катюшу» спели, восторг душевного сродства наметился, и вдруг на тебе — Израиль. Взять и наплевать людям в душу. Но вообще это извечная моя проблема — как отвечать на дружелюбный вопрос: «Was für ein Landsmann sind Sie»^{*}? Я имел наготове сразу несколько ответов и пользовался ими в зависимости от ситуации. Строго говоря, каждый из них мог быть оспорен. Например, «русский» — в России за все золото мира я не мог бы им стать, ни де-юре, ни де-факто. Именуясь русским в Германии, я был самозванцем. Или ответ «еврей» — прозвучал бы как укор, не столько ответ, сколько напоминание об Аушвице. Считаться израильтянином у меня было еще меньше оснований, чем русским. Раз в поезде, по дороге из Берлина в Западную Германию, два шуплых кувейтца, назвавшихся студентами-антропологами, видя, что я читаю по-русски, а паспорт предъявляю израильский, попытались втянуть меня в спор об исторических правах евреев на Палестину, доказывая мне, что я этих прав не имею, поскольку я «русский иудейского вероисповедания». В тот момент я был поглощен чтением одной статьи и поспешил с ними согласиться, сказав, что им, как антропологам, видней. Уже готовых к идеологической схватке со мной не на жизнь, а на смерть, кувейтцев это страшно огорчило. Но, повторяю, мне было в этот момент не до их удовольствий, я *должен* был прочитать статью — хотя бы уже из-за того, кем она была подписана.

^{*} Из какой вы страны?(нем.)

«Израильтянин» — на вопрос «кто я?», скорей всего, я бы ответил мужчине с лицом артиста Фуксбергера в его лучшие годы, в темно-синих мешковатых брюках «от Тернера», в пиджаке цветов шотландского пледа — мужчине, которого трудно представить себе за рулем «форда» и чей доход зависит от того, удастся или не удастся ему вовлечь вас в какую-нибудь финансовую операцию, начиная от покупки акций «Даймлер-Бенц» и кончая продажей собственного скелета.

Так же — «израильтянин» — сказал бы я старушке из тех, что совершают регулярное паломничество в Восточный Берлин с двумя набитыми сумками. В сорок пятом они жили восточней Эльбы, им было лет по тридцать пять, что в юмореске Чехова «Женщины с точки зрения пьяницы» приравнивается к «рюмке водки перед завтраком». «Русский» для таких старушек — слово неприличное.

Зато в глазах их ровесников русским быть лучше, чем израильтянином.

На русского приветливо посмотрит сквозь шубертовские очки сторонник ядерного разоружения — и дама из общества защиты животных. (Вы заместили, я не комментирую, я только констатирую.)

Какому-нибудь греку Зорбе, открытому, сердечному, у меня бы просто язык не повернулся сказать, что я еврей. В человеке надо будить лучшие чувства.

Немцам, посвящающим свой досуг проблеме «кто мы, откуда мы, куда мы идем?», людям среднего достатка, взалкавшим истины, всевозможным энтузиастам Библии, идеалистам-самоучкам — короче, всем этим баптистам духа никогда не говори, что ты израильтянин, потому что они зацелуют тебя до смерти. И все будут спрашивать «а что?..» — а что ты знаешь такое, чего другие не знают? а что ты чувствуешь как еврей?

Есть еще посетители концертов — наивные меломаны, принимающие культуру «из вторых рук» за бесценные оригиналы и радующиеся любому личному контакту с артистом. Русский артист — это «О!». Еврей же,

который русский артист, — это «О! о! о!». («О!» в анфиладе зеркал.) Их глаза с привычным интересом скользят по афишам вроде той, которую изучал сейчас я. «Циггорнская государственная филармония», — читал я с натугой — крестьянский сын, приехавший в город двести лет назад на заработки. «Симфонический концерт. Мендельсон, «Морская тишь и счастливос плавание». Корнгольд, концерт для альта. Малер, 4-я симфония. Солистка — Ингеборг Ретцель, дирижирует Кнут Лебкюхле». Я искал адрес: начало концерта... касса открыта... не то... Театральная площадь, один. Где Театральная площадь, один? Круг поисков сузился.

Я находился в сердцеvine большого западногерманского города, совершенно нелепая фигура с допотопным циммермановским футляром, как у скрипачей, игравших в том же Циггорне румбы и танго, вдруг прерываемые драматическим тремоло, под которое несмая Грета Гарбо что-то кричала в затаивший дыхание зал. Благополучные люди, сухие листья, пронзенная длинной коричневой сосиской булочка в руке, только что выложившей за нсе 2.50, как видно (за версту) из прейскуранта; автомобиль, внутри которого двое плюс космос неведомых мне привычек, удовольствий, забот, шуточек, — и все это до последнего опавшего листочка «свое предназначенье исполняет», все к месту, один я без должности. Ну хоть кем-нибудь определите меня в свои праздничные будни, согласен быть той смиренной миссионеркой с «Башней стражи», тем ребенком, переводимым за руку через трамвайные пути, — сто лет не видел трамвая!.. Сто лет не видел брусчатки! Сто лет не видел сухих листьев! Все это живет и ночует здесь. Неужели еще одному существу ценой отречения от чего хотите — все равно уже ничего не осталось — нельзя притулиться тут же, получить крошечное задание и быть внесенным в общий проект. Мне некуда возвращаться, у меня нет ни одной живой души в целом мире. Не извольте гнать. Помни, и ты был рабом в земле Египетской.

О чем я в самом деле думал в эту минуту и на что я

рассчитывал? Денег у меня было как патронов у того ополченца, что маршировал на фронт в первый год войны. Не буду проводить и далее кошунственных сравнений, но, ей-Богу, мне было нечего терять... Мне на полном серьезе виделись рельсы в отблеске луны, бродяжничество. Германия в моем представлении была идеальным местом для этого: зимний путь, воспетый Фишером-Дискау, лежащая в развалинах страна (в ее американской зоне — неслучайное условие). «Гамбург — это наша воля жить» — как звучала эта фраза в Харькове! Там, у Борхерта, бездомный, проигравший несправедливую войну солдат бредет по шпалам. Мистика луны, разрухи, свободы. Суровая романтика поражения...

Но это все же запасной вариант, а пока слова «Гамбург — это наша воля жить» больше касались притчи о страховом агенте, ставшем солистом Гамбургской филармонии, и потому смысл имели пародийный. «Театральная площадь, один?» — спрашивал я у прохожих, и, по поговорке «Язык до Киева доведет», мой — довел меня до цигорнского оперного театра, архитектурного сверстника вокзала и еще нескольких общественных построек, которые курфюрст цигорнский Максимилиан, позднее бежавший в Вену, возвел в своей столице, чтобы быть ей не хуже других столиц. (Это характерно: если, например, взять немца и израильтянина, две среднеарифметические психологии, то первый удовлетворен тем, что у него все не хуже, чем у других, тогда как второму для счастья необходимо думать, что у него все лучше, чем у других.) Театр был таким, каким единственно и мог быть выстроенный в ту пору: спереди галерея-лоджия с колоннами, с каждого бока по вместительному крылу, наверху прозрачный горб зрительного зала, неотъемлемая кокарда доброй половины всех оперных театров — лира, да еще под самым фронтоном нам сообщают, что «*Maximilianus I rex candidit arti et musis*»* (в

* Король Максимилиан I покровительствует искусствам и музам (лат.).

Советском Союзе бы написали «Искусство принадлежит народу»).

Потыкавшись во все двери, я наконец нашел нужную мне. Горбатый вахтер из своей норки, оторвавшись от сэндвича — был второй час, впрочем, он всегда будет что-то есть, — задал мне вопрос, на который я ответил. Примерно так Чарли Чаплин имитировал немецкую речь в «Диктаторе» — признак того, что язык вскорости будет освоен, главное, судорожно не хвататься за пару глаголов в инфинитиве, по одному в каждой руке, — в этом случае все, ступор... Встречаются люди с апостольским даром с ходу «говорить» на неведомых наречиях. Я немножко обладал этим даром, не обольщаясь насчет прочего. Сказывалась наследственность: мама, выросшая меж двух имперских культур — о деде и говорить не приходится, — легко переходила с одного языка на другой. Уловив знакомые слова: филармония, оркестр, скрипка — каковая в моих руках подтверждала, что он не ослышался, — вахтер наковырял коротенький телефонный номер и, к ужасу моему, передал мне трубку, предварительно что-то в нес сказав (например: «С вами, господин директор, хочет поговорить дрессированный павиан»).

Телефон — коварная штука даже для кос-как уже овладевших чужим языком, что же говорить обо мне. То, что мой собеседник предложил подождать его пять минут — что чудом было мною понято, — объяснялось просто: он уходил и должен был так или иначе миновать данный «check point»^{*}; возможно, такие «не пустые для сердца звуки», как «Советский Союз», «Израиль», в нем пробудили любопытство. Немцев порой любопытство прямо распирает; бывает, они ужасно мучаются (как человек, у которого что-то зачесалось, чего на людях почесать нельзя), ежели приличия не позволяют наброситься на тебя с расспросами, а ты как назло не подаешь к этому никакого повода. Впрочем, я-то почти всегда

^{*} Контрольно-пропускной пункт (англ.).

подавал руку помощи — если только уж совсем не было паршиво на душе.

Господин Ниметц, оркестровый инспектор (он представился), размерами превосходил меня вдвое — ширирь и высь. Иногда это психологически побуждает оказывать покровительство другим, малым сим... Точно, с очень крупными людьми так бывает; правда, бывает и наоборот: начинают топтать. В цигторнском филармоническом оркестре — вообще-то это оперный оркестр, но иногда они дают также симфонические концерты и называются Цигторнской госфилармонией — так вот, в их оркестре действительно есть вакансии, но это так не делается, а как — сейчас он мне (варвару) объяснит: заявление в письменной форме, отправленное по почте, с просьбой допустить к участию в анонсированном (см. журнал «Das Orchester») конкурсе на замещение такой-то вакантной должности с приложением биографии — написанной от руки, — фотографии и документов, удостоверяющих уровень и трудовой стаж соискателя, после чего кандидатура его будет рассмотрена и возможность участия в конкурсе обсуждена, о чем будет сообщено, также в письменной форме, по указанному им адресу.

Оценив, однако, мой дорожный вид, добрый Ниметц добавил, что тем не менее может организовать мне «информативное» прослушивание. Да-да, организуйте, пожалуйста! Я был готов умоляюще запрыгать вокруг этого огромного дядьки как шестилетний. Ладно, он попробует. Чтобы в полседьмого я был снова здесь, тогда он, может быть, что-нибудь мне скажет.

Ровно в полседьмого, нагуляв себе аппетит, но ничем его не испортив, я явился. Инспектор меня ждет. Ну, где же я, люди собрались. Я поспешил за ним, его шаг равнялся трем моим, эта внезапная гонка странным образом уняла начавшееся было сердцебиение. Я не успел распахнуться, как уже стоял посреди большого балетного класса «со скрипкой в левой руке и смычком в правой». В глубине торжественно-черным пятном — скоро начинался спектакль — расположились мои будущие

сослуживцы, несколько десятков глаз вперились в меня с безжалостным любопытством, радаманти... (Позднее, сам бывая в их числе, я никогда не забывал, кто мы в этот миг для дюжины скрипичных гладиаторов, чья дальнейшая судьба также сейчас будет решена одним лишь движением наших рук: «Господин Стчи... Стча...» — со смехом перевирается иностранная фамилия, пока обладатель ее мается под дверью, — «кто «за», кто «против»?». Для кого-то из них наше «за» жизненно важно. Для пузатого невозвращенца-румына? Для заторможенных тридцатилетних студентов, что с благословения их почтенных учителей годами путали свой энтузиазм с талантом, — как это знакомо мне, великому романисту... Как я поплатился за это! А может, для сухой уродливой блондинки, которой, кроме лампочки в оркестровой яме, больше в жизни ничего не светит? Перечислять так можно до бесконечности. А мы — в сущности, они же, но уже благополучно перемахнувшие через планку, — с профессорским видом созерцали тех, кто в это время лез из кожи, дабы снискать наше благоволение, да еще откровенно посмеивались над самыми жалкими среди них.)

В смущении, в волнении человеку простительно, не выслушав пожеланий экзаменаторов, даже не поклонившись им, прямо схватить быка за рога: по-славянски страстно заиграть Сен-Санса — а ведь соблюдай я приличия, со мной бы их тоже соблюдали, пожелав для начала послушать экспозицию концерта Моцарта. И был бы я с моим Моцартом голенький выставлен на всеобщее обозрение. В Сен-Сансе могут раздуваться ноздри, как у Отелло. Темперамент, когда обеспечен красивым от природы звуком, — лучшая косметика, скроет что угодно. Легкий, но эффектный пассаж при этом введет в заблуждение насчет истинных возможностей твоей техники. Сочное глиссандо а-ля Хейфец, что в Моцарте строжайше запрещено, довершит общий камуфляж. Как скрипач, я умел на определенном репертуаре себя неплохо продавать. По крайней мере, первые три минуты

торговля шла бойко — а больше трех минут меня никто и не слушал. Моцарта уже не спросили. (А вот в России «общим знаменателем» у скрипачей бывал вместо Моцарта Бах — неспроста ведь...) Ко мне подошел розоволысый человек с протуберанцами седых волос — на этом сходство с Бен-Гурионом заканчивалось: у него был нос уточкой и крошечные глазки с воспаленными веками. Он поставил на пульт ноты. Вот эту строчку я должен сыграть — вот в таком темпе: раз-два, раз-два... А теперь, пожалуйста, здесь. А *prima vista* — читка с листа. Что, небось только в симфоническом оркестре играли? Чувствуется. Этот человек, со спины Бен-Гурион, лицом пескарь, был концертмейстер Шор, неплохой человек, бельгиец.

Ниметц на правах старого знакомого по-свойски проводил меня за дверь. Руки были такие, словно я только что играл не на скрипке, а в снежки. Потные ледяные ладони, колотившая меня дрожь (учтите, сколько я уже не играл на людях) — все это должно было сейчас смениться истомой отогретого путника — либо суровым «нет так нет», а про себя разочарованно: чудес на свете не бывает. Сразу настрой на романтику гамсуновского «Голода».

Вышел Ниметц: я ангажирован заместителем концертмейстера. Рукопожатие. Я стоял рядом с ним, и каждый, кто выходил, меня поздравлял — одни сдержанно, чтоб не заносился, или от переизбытка чувства собственного достоинства; другие горячо трясли мою руку, демонстрируя мне — и себе, — какие они симпатичные. И все равно, долго еще они были мне все на одно лицо, воспринимались этакой дружной семьей, музыкантским братством. Потом уже выяснилось, кто кляузник, кто обиженный, кто хороший человек, кто дурак, кто с кем уже двадцать лет как не разговаривает. И так далее.

Среди первых меня поздравил Кнут Лебкюхле, но я узнал об этом только через час, во время оперного представления, на которое остался по совету Эриха, в недав-

нем прошлом жителя Лейпцига, на чье место меня приняли — сам он поступил вторым концертмейстером в цюрихский Тонхалле и рвался прочь из Цигторна, как в свое время, наверное, из ГДР. Теперь, когда ему сыскалась замена, это стало возможным до закрытия сезона — которому «закрываться» еще предстояло девять месяцев. Оказывается, у них уже было здесь три конкурса, и все безрезультатно. Тупицы...

Эрих выучился худо-бедно русскому не столько в школе, сколько во время двухгодичной стажировки в Киеве; он оказал мне ряд неоценимых услуг и, надо сказать, не раз меня удивлял. В течение недели он был моим Вергилием на всех кругах чиновничьего ада — возможно, даже не такого страшного, не будь я как слепоглухонемой. Эрих заполнял за меня все формуляры, водил из одного присутствия в другое. И удивлял тем, что, будучи немцем, в миллионе вещей солидаризировался со мной (во всяком случае, так ему казалось) против них, этих. Не коммунистов, от которых оба мы, каждый по-своему, уносили ноги. Против «бездушных», «самовлюбленных», «примитивных в своих культурных запросах», «занятых только мыслью о деньгах» западных немцев. Дословное повторение «комплиментов», на которые не скупаются советские евреи, говоря об израильтянах. Позднее мне случалось слышать по адресу приезжающих из ГДР также слово в слово то, что израильскими старожилками говорится о советских эмигрантах: они давно уже другой народ, что у них общего с нами? Приезжают — подавай им и то, и это, и еще недовольны. Сидели б в своей ГДР (или в своей России), у нас и без них забот хватает.

Эрих приветствовал во мне, в русском, своего. Я-то как раз полагал, что ГДР налита ненавистью к русским — подобно Советской Прибалтике. Отнюдь — но, может быть, Эрих был нетипичен? А как высмеивал он здешних своих коллег, относя себя к «русской школе»: у них же руки как ноги — если б не я, они бы еще долго себе скрипача искали. Немцы как играют — Эрих вы-

пучил глаза и открыл рот. Почему Ниметц за русского так ухватился. Но как же так, я не понимал, Германия — душа музыки. Эрих соглашался. Вот именно. А чтобы играть, еще нужно руки иметь. Посмотри, кто играет в немецких оркестрах, — венгры, румыны, болгары, поляки, не говоря о японцах. На вопрос, почему это происходит, Эрих отвечал, что живется немцам больно хорошо. Скрипачу с детства надо трудиться. Вот в Советском Союзе в шестнадцать лет — он уже скрипач. А что у них в шестнадцать лет («у них!»), только-только начинают.

(Чтобы больше не возвращаться к этой деликатной теме, добавлю — на основании уже моих наблюдений: деревянные (из дуба), железные (из чугуна) и даже каменные (я и таких встречал, бетонных) — скрипачи-немцы действительно наполовину результат невообразимо сытой жизни, когда родителям нет нужды подвергать своего ребенка с шести лет изнурительной профессиональной муштре, как это происходит по старой доброй традиции в России; но есть и еще одна причина: лихая скрипичная игра — она в крови, и кровь эта течет в жилах жителей Восточной Европы, где народ задорней, где всегда было полно цыган, где на свадьбах, притопывая, играли народные еврейские музыканты. Эх!..)

Эрих не был абсолютно бескорыстен, устраивая мои дела. Я въезжал в его квартиру, принадлежавшую театру, в которой он оставлял все как есть: от встроенной им кухни и стиральной машины до наружного половичка с надписью «Для тех, кто вяпался». Выплачивать за это я ему должен был помесечно на протяжении двух лет. Надеюсь, что он не остался внакладе от нашей сделки, ибо я выиграл — это даже, пожалуй, не то слово. Чудесным образом я был трансплантирован в западный уют, в западный комфорт, на создание которого у меня бы ушли годы. Да нет, даже не годы, я просто бы не стал возиться — это как готовить себе самому. А здесь: пожалуйста, господин Готлиб, в гнездышко преуспевающего холостяка. Вместо того чтобы завалиться в медвежью берлогу.

В кantine, куда Эрих меня повел «на минуточку», обстановка была какой-то непрекращающейся «party», в руках у всех бокалы, кто-то закусывает, все знают друг друга. «Hallo, darling! How are you? Милочка, ты видела сегодня Стива?» Примерно так. Это входит балерина — вы видели, как ходят крабы? — в толстых вязаных ноговицах, государственный язык в немецком балете — английский. Хористки смеются, запрокидывая головы, как будто уже изображают кого-то на сцене. Они в гротескных костюмах, невероятных париках — в этот вечер шли «Обмененные головы» Кунце, так что можете себе представить, что на них было понаделто и какая вообще это была пародия на Климта. Оркестранты в черном пили пиво и вели свои мужские разговоры. Словом, карнавальнй вихрь, который в иных обстоятельствах измученному путнику мог бы только сниться. Эрих с видом завсегдатая из завсегдатаев кричит что-то через стойку и снова поворачивается ко мне. Нам наливают шампанского из бутылки с надписью «Opemsekt», шикарно. Эрих подмигивает: «Лахаим». О! Лахаим? Услышав это, к нам присоединяется средних лет бородач, он знает «мазл тов», «лахаим», еще у них в Судетах говорили «шлемазл*». А по-русски он может сказать «на здоровье» и «давай, давай, работай» (интересно, он это говорил или ему это говорили? Судя по возрасту, не то и не другое; впоследствии при встрече со мной он неизменно произносил «шалом», а вот один белобрысый австриец, ростом с лыжу, родом из Словении, выказывал мне свое расположение тем, что здоровался не иначе как «здравствуйте, господь»). Улыбающийся до ушей Ниметц — как-никак это он меня открыл — тоже хвастается своими познаниями в русском: «Немец, русский и поляк танцевали краковяк» — и дает мне билетик на сегодняшнй спектакль. Скрипку я могу оставить у него в бюро. Нет-нет, скрипку я оставляю у него в шкафчике, говорит Эрих.

* «Счастья вам», «за ваше здоровье (за жизнь)», «недотепа» (идиш).

У меня место в ложе над самой сценой. Театр во время войны не горел, и внутри все сохранило перво-зданный вид: золоченая резьба, красный бархат; вокруг люстры, как спутники, летают купидоны. После Израиля это действует. Рядом сразу несколько норковых палантинов вперемешку со смокингами. Публика, для которой пойти в оперу — это и праздник и одновременно ритуал, они даже не подозревают, что этот странный тип со шрамом на лбу, чей билет стоит не меньше девяноста марок, еще часом раньше собирался ночевать на скамейке, а припрятанную сотню растянуть на всю оставшуюся жизнь. Теперь я подобен им — какое это чувство... Я больше ничего не хотел, у меня не осталось никаких амбиций. Какое это чувство: хотеть стать как все.

Было в этом что-то символическое: израильтянину, еврею и амбициозному харьковчанину (един в трех лицах) начинать новую жизнь в Германии — с Кунце! Официозная фигура при нацистах, он далеко опередил на этом пути Р.Штрауса, которого терпеть не мог: называл «королем вальсов» и вообще, подобно Прусту, утверждал, что это — Оффенбах для снобов. Кунце открыто поддерживал еще в двадцатые годы если не саму НСДАП, то декларируемые ею взгляды. В тридцать третьем году он переехал из Вены в Германию и с тех пор до самой своей смерти (1944 г.) на всех геббельсовских шоу был свадебным генералом. Еще до всяких геббельсов антисемитствующий Кунце убрал со скрипичного концерта посвящение первому его исполнителю, моему деду, и переадресовал его своей жене — если, конечно, верить моему харьковскому учителю, потому что мама этого случая не помнила. До войны в Советском Союзе Кунце играли довольно часто, в пятидесятые годы его имя снова стало появляться в афишах — так, «Рог изобилия», симфонические вариации на тему неизвестного миннезингера XIV в., я слышал много раз. Но «Обменные головы» не ставились никогда. В учебнике музыкальной литературы этой опере была уделена ровно одна строка

(«является крайним проявлением экспрессионизма в эпоху кризиса буржуазной морали»). Приблизительно то же, что и о штраусовской «Саломее», которой как раз в своих «Обмененных головах» Кунце давал яростную отповедь, доведя штраусовско-берделсеевско-уайльдовскую эротическую эскападу до абсурда. Собственно говоря, это и была по нынешним меркам абсурдистская опера, тем не менее пользовавшаяся большой популярностью у среднего слушателя: авторские кавычки им начисто игнорировались — со временем же они просто стерлись, — и слушатель от души наслаждался той декадентской паткой, которую Кунце как бы подвергал осмеянию. Таким образом, если, по его словам, Штраус был «Оффенбахом для снобов», то сам он был «Рихардом Штраусом для снобов».

Свет погас, под козырьками пюпитров засветились лампочки. Я не мог отвести глаз от оркестра, куда, слева от лысины Шора, себя мысленно с трепетом помещал. Между музыкантами быстро боком прошел Лебкюхлс, только тут я его идентифицировал. Юнкерский кивок залу — в следующую секунду раздается первый аккорд, словно музыка сама собой зазвучала от одного его появления — а не по его знаку; не знаю, какому дирижеру впервые честолюбие подсказало этот трюк.

Я слушал, я смотрел. Декаданс иронизировал по поводу декаданса, не способный более себя воспринимать всерьез, но и неспособный от самого себя оторваться. Несколько раз меня начинало клонить в сон, что после такого дня неудивительно. Есть в этом что-то: видеть мнимые сновидения сквозь самую натуральную дремоту. Пересказываю сюжет «Обмененных голов» Готлиба Кунце — мы с ним чуть-чуть тезки, — который (сюжет) отчасти, возможно, мне даже и приснился.

То, что сегодня мы бы назвали сверхзасекреченной диверсионной школой — некая тайная иудейская не то секта, не то орден, где прекрасные сврейки обучаются искусству отсекал головы у обольщенных ими врагов. Случается, однако, и им влюбляться в свои жертвы, как

это произошло с Юдифью и Саломеей. Как безумные, бродят они, прижимая к себе огромные головы Олоферна и Иоханана — и целуют их, и ласкают, и обращают к ним сладострастные речи. Юдифь, старшая, вспоминает, что слышала про такое зелье, которое приживляет голову к телу. Секретом его якобы владела великая Далила, непревзойденная в своих чарах, — та, что, воспылав страстью к Самсону, отрезала этому герою вместо головы пук волос, не подозревая, что в них-то и сокрыта его пленительная сила. Юдифь и Саломея решают вызвать тень древней Далилы. Но их наставница Эсфирь со своим дядей Мордехаем подслушивают их разговор — и в смятении: ведь Эсфирь тоже не расстается с головой Артаксеркса, а дядя ее Мордехай — с головой Гамана (в опере Артаксеркс зовется своим древнееврейским именем Ахашверош — что значит «чувство и разум»). Между Эсфирью и Мордехаем с одной стороны и Юдифью и Саломеей с другой завязывается ссора, Эсфирь и Мордехай обнажают мечи, Юдифь и Саломея следуют их примеру, но перевес явно не на их стороне, и они спасаются бегством. Впопыхах они уносят не те головы: Мордехай и Эсфирь, к своему ужасу, обнаруживают, что остались с головами Олоферна и Иоханана. Между тем в своей пещере Эндорская волшебница вызывает тень Далилы. Далила открывает Юдифи и Саломее тайну чудодейственного зелья, которое воскресит к жизни Олоферна и Иоханана. Эндорская волшебница помогает им в приготовлении этого зелья. Глубокой ночью Юдифь и Саломея спускаются в ров, полный обезглавленных тел, и среди них отыскивают тела своих возлюбленных по им одним ведомым приметам: Юдифь искала глубокий шрам от сабельного удара, Саломея — след от укуса дикой козули. Ожившие гибриды, едва только головы прирастают к их туловищам, начинают безумствовать. Звучит дуэт, в котором скрещиваются музыкальные характеристики Артаксеркса — Иоханана и Гамана — Олоферна. Случилось непоправимое. Понимая это, Юдифь и Саломея в отчаянии протягивают им свои

мечи: «Скорей обезглавьте нас!» Что те и делают с явным удовольствием. Подоспевшие Эсфирь и Мордехай со стражей видят Артаксеркса в шкурах Иоханана, а Гамана в доспехах могучего Олоферна — с головами Юдифи и Саломеи. Побросав их, гибриды разбегаются с хохотом людей, побывавших уже в аду. Эсфирь и Мордехай берут головы Юдифи и Саломеи и соединяют их щека к щеке с принесенными ими головами Олоферна и Иоханана. Занавес.

Вот такой, достойный пера Хармса или Ионеско, сюжет был положен на «музыку непреходящих восторгов», у истоков которой стоял сам Рихард Вагнер; которая, начиная с тридцатых годов, в виде музыки к фильмам продолжала пользоваться спросом еще четверть века, но уже за океаном. В опере Кунце этот, пардон, звучащий оргазм достигал предельной остроты — благодаря котурнам самонасмешки, оставив позади и Рихарда Штрауса, и Корнгольда, и фон Цемлинского. Прием, возможно, не самый честный, но, как гласит поговорка, победителей не судят. Томас Манн, весь вышедший из вагнеровского «тристанова аккорда», даже пишет под впечатлением «Обменных голов» Кунце одноименную повесть, перенеся лишь действие ее в края еще более экзотические: в Индию, на берега священного Ганга.

Сейчас я постараюсь описать свое вращение в Циггорн с наименьшей лаконичностью, чем пересказал оперное либретто. Самым трудным было без какого-либо опыта оркестровой игры (студенческий оркестр не берется в расчет) сесть за первый пульт. Я дебютировал — думаю, что к счастью — в симфоническом концерте — том самом, афиша которого еще навела меня на след циггорнского оперного театра. У помощника концертмейстера в 4-й Малера есть маленькое соло. Я его недурно сыграл и удостоился «непротокольного» рукопожатия Лебкюхле. То есть сразу себя хорошо зарекомендовал, что в Германии важно: немцы — рабы первого впечатления как мало кто. Шор, которого я побаивался,

вот кто показал себя с самой лучшей стороны: на репетиции, случись мне ошибиться, он весело подмигивал или отпускал шуточку, всегда готов был помочь. Самому ему в этой симфонии пришлось поработать не только смычком и пальцами, но и колком — по желанию Лебкюхле, настаивавшего на том, чтобы первый скрипач не менял инструмент по ходу игры, а именно «перестраивал» его, как указано Малером в нотах. («Поверьте, Малер свое дело знал хорошо».) Лебкюхле был из тех дирижеров, что профессионально самоутверждаются, дирижируя Малера, — которого в оркестре, я заметил, большинство искренне не любило, видело в нем баловня *послевоенной моды*. Один музыкант как-то обосновал мне это в кантине за кружкой пива — да так, что я даже вспомнил об Эсе без раздражения. Но он не был немец (немец бы не осмелился), он был венгр, хотя и вырос в немецком приюте, куда угодил после «пятьдесят шестого года».

От Корнгольда я был свободен и не любопытствовал вовсе взглянуть на альтистку Ингеборг Ретцель. «Счастливое плавание» Мендельсона в соответствии с авторским обещанием протекало без каких-либо подводных рифов, а «Морская тишь» была такой, что я даже отважился во время концерта скосить глаза на коленки сидевших в первом ряду.

Это была моя вторая проблема — и она мучительно долго не разрешалась. Сложность заключалась не в моем немецком, улучшавшемся день ото дня; скрипичный футляр, наличие фрака в гардеробе, возможность помахать приглашенной тобою в театр особе смычком из оркестровой ямы, не говоря уж о численном превосходстве слабого пола над сильным, что здесь, как исключение из общего стратегического правила, отнюдь не залог победы, — все это с лихвой искупало то обстоятельство, что я, так сказать, состоял в «иностранном легионе». Беда была во мне самом. Я... не умел этого делать ни с кем, кроме Ирины, — до нашего знакомства мы оба были девственны. Да Боже

мой, чего ради я об этом распространяюсь... Никого не было, и точка. Пока со мною как-то за первым пультом не оказалась Мидори — самурайская дочь. Мы играли оперетку «Нищий студент» — как здесь ее называют, «Polnische «Götterdämmerung». В опереттах я всегда бывал первой скрипкой. Шор ими брезговал — если только не возвращал мне долги: он мог куда-нибудь укатить на две недели, и тогда я работал каждый день, и за себя, и за него, ну а потом, естественно, мы менялись ролями. В опереттах подручным у меня сидел кто-нибудь из tutti, они там между собой тоже менялись как хотели. В немецких оперных театрах никто не перерабатывает, а главное, нет жесткого графика, почти всегда можешь вне очереди освободиться, даже в последнюю минуту — обменявшись с кем-то. Это объяснялось частыми и внезапными предложениями играть на заменах в других оперных театрах. Уже через несколько месяцев меня стали приглашать и в Рунсдорф, и в Либенау, и в Кессель, и даже на бывшее Северо-Западное радио. В России этот род деятельности назывался «халтура», от греческого «халкос» — медная монета; а в Германии более прозаическим словом «мугге» — сокращенно от Musikalisches Gelegenheitsgeschäft*. Приработок некоторых «муггемейстеров», как сами они себя с гордостью называли, нередко превышал основной их заработок. Я неустанно совершенствовал свои познания в географии Циггорнского княжества и сопредельных с ним владений других августейших особ: королей, герцогов, курфюрстов, князей — открывая все новые золотые жилы. Ротмунд (на перроне транспарант: «Добро пожаловать в Ротмунд — на родину поггенполя!»), Липперт-Вейлерсгейм, Эйзенштейн, Оллендорф... Театры, театры, театры — триста марок за вечер, триста марок за вечер, триста марок за вечер. Сколько в Германии этих крошечных оперных театриков, где каждый второй музы-

* Побочная музыкальная деятельность (нем.).

кант почему-то считал своим долгом продекламировать мне на память — с чешским, венгерским, еще каким-то акцентом — стихотворение Пушкина, заученное когда-то в школе. Ностальгическая Центральная Европа... Когда-нибудь она еще себя покажет. Чем провинциальней театрик, тем забавней было в нем играть. Оркестры звучали как в немом кино, на сцене происходили невероятные вещи — не говоря уж о накладках, когда во «Фрейщюце», скажем, Каспар, ведя счет отлитым пулям, выкрикивает: «Пять!» — а эхо в ответ: «Четыре!» Совершенная прелесть — тамошние мизансцены. Хористы создают «характеры»: эти двое поглощены увлекательной беседой, та лорнирует присутствующих с видом светской львицы, вдруг все общество скандализировано мнимой изменой главной героини — понаблюдайте при этом за каждым. Это не просто смешно, это произвольная самосатира: перед тобой тот же самый набор масок, предписываемых условностями человеческого общения — лишь слегка утрированных, — которыми эти люди пользуются и в повседневности.

Другим моим занятием в паузах было разбирать сделанные в нотах пометки, надписи, рисунки. Излюбленное развлечение оперных музыкантов — опасаясь, что во всем мире: приписать в каком-нибудь слове одну букву, зачеркнуть другую, и вот уже «Лоэнгрин» превращается в «Кило селедок», «Выход княгини» — в «Выход коровы» (Kuhfürstin — с уточнением, что имеется в виду не кто иная, как фрау Мартин, допустим), «Отелло» — в «Брутелло», а то и в «Отель», и так до бесконечности. Попадают «юмористические» картинки: пожарный из брандспойта тушит Жар-птицу. Есть в оркестрах свои хронисты, которые бодрым голосом радиосводки вещают, что сегодня, 27.9.41, наши войска вступили в город Харьков. У меня в горле что-то булькнуло — а я-то думал, что уже сделался деревянный. Как истинный антикварий, я прочитывал столбцы автографов своих предшественников на всех нотных обложках: имя —

дата, имя — дата, и так примерно с конца прошлого века. Как на братской могиле. В пятидесятых — шестидесятых годах к автографу — по крайней мере, в нашем театре — присовокупляли титул: лорд, маркиз или еще кто-нибудь. «Маркиз Шульц». А раз в Ротмунде в нотах мне даже встретился однофамилец, тоже J. Gottlieb (13.V.43, «Волшебная флейта», уже все горело небось вокруг), к своей фамилии пририсовавший скрипичный ключ — пузатый, с личиком, ручками, как бы играющий на скрипке. Чего только не увидишь в оркестровых нотах. Вот одно «остренькое» переживание: рядышком на странице, только разными почерками, красуются две свежие новости: убит Ратенау и убит Кеннеди. Я тоже несколько раз оставлял память о себе на нотах, по-русски.

(...Тень русской ветки будет колебаться
на мраморе моей руки.)

Какие еще бывают маленькие радости у обитателей оркестровых ям: ну, в «Хоре охотников», опять же во «Фрейщюце», вместе с охотниками гаркнуть всем оркестром «йю-хо!». Приветствовать дружным шарканьем подошв ту или иную реплику на сцене, вроде: «Уж поздно, я устал, пора домой» — почему-то всегда, не знаю почему, бурное веселье вызывала фраза из «Оберона»: «Мы спасены, но еще не в безопасности». В «Сказках Гофмана» вопрос «Что делаешь ты, шарлатан?» сопровождать укоризненным взглядом в направлении дирижерского пульта — если за ним не стоял сам Лебкюхле. В «Лознгрине», когда постся «Weh, nun ist all unser Glück dahin!»*, подобным взглядом удостоить соседку, к примеру, японку. Японки-скрипачки — это особое понятие. Их в каждом оркестре до четырех-пяти, пока еще не старше тридцати лет, — хотя когда-нибудь неизбежно сморщатся и превратятся в японских старух. Сказали б красноречивому камер-музикеру времен курфюрста Мак-

* «Увы, вот и конец нашему счастью!» (нем.)

симилиана, что на исходе следующего столетия на его месте будет сидеть японская старуха, я бы посмотрел, как поперхнулся он своим пивом. В сущности, это традиционные исполнительницы на сямиссенах, принявших только в новейших условиях вид скрипок. Отсюда и все их психологические проблемы: с фанатическим упорством они решают квадратуру круга. У нас их было четыре: Мидори Ито, Ёшиэ Кимура, Кумико Сакаи и Маюми Сайто. Всегда настороже. Всегда одетые как если бы были куклы, которые сами себя одевают. Всегда с дежурной улыбкой, переходящей в бессмысленный короткий смешок — так же и по отношению друг к другу. Кажется, необычайно амбициозные внутри их крошечного японского мирка, ибо вне его градации успехов и неудач невооруженным глазом видны не были. Я в принципе симпатизировал им — может быть, сочувствовал. Мы одинаково оказались вынесены на чужой берег, потерпев крушение в своих честолюбивых мечтах. Потом еще: мальчиком я видел один японский фильм, в котором никогда не забуду одной вещи — какой, неважно. И наконец — глупо, конечно, но перед моим мысленным взором возникают толпы литовско-польских евреев, осаждающих с чемоданами, с детьми японское консульство, и консул выписывает, и выписывает, и выписывает японские визы, он выписывает их, уже сидя в вагоне, уже тронулся поезд...

У Мидори было прозвище Дореми, которым ее, впрочем, на моей памяти никто не называл, кроме Лебкюхле; на него иногда находило: изображать, что он — как все. Уже в рукопожатии моей случайной соседки по пульту был, как сказал бы Мопассан, «призыв» — или у меня последнее время мозги были набекрень, что тоже возможно. С другой стороны, я же привык здороваться со всеми по-немецки: исключительно за руку — и с мужчинами, и с женщинами, даже с детишками, которые все как один первыми тебе здесь тянут ладошку, так воспитаны. Но только с Мидори рукопожатие еще включало в себя *прикосновение*. Потом я нечаянно задел

ее смычок своим — она дала сдачи. С началом очередной паузы (когда на сцене герцог Адам восклицал: «Еще Польска не сгинела, пока у нас есть такие женщины!») я уже намеренно погладил кончик ее смычка, в эту минуту он касался ее перламутрового ногтя, глядевшего из босоножки: был теплый день, май. Она ответила тем же. На это мой смычок вторгся к ней между тростью и волосом. Наши трости терлись друг о дружку. Она подняла глаза — японские красные кроличьи глаза — и усмехнулась своим коротким японским смешком: хм, хороший смычок... Дирижер показал, чтобы мы подготовились к мазурке.

После репетиции мы одновременно вышли из театра на улицу. Завязался русско-японский диалог по-немецки. Мы вместе пообедали в ресторане, а в пять спустились съесть пирожное в кондитерской возле ее дома. Скажу с откровенностью, которую только могу себе позволить: Мидори была прямой противоположностью Ирине — вы же понимаете, что я не мог их не сравнивать. С этой японской Доремии я не чувствовал, что мне оказывается любезность, — оказывал любезность я. Словно покупатель в дорогом западном гешефте, а не в московском или харьковском магазине, где предварительно еще отстаиваешь сорокаминутную очередь.

Однако, как говорится, инцидент последствий не имел и больше не повторялся. Вскоре из разговоров я узнал, что Мидори известна своей слабостью к лицам дирижерского, а также концертмейстерского сословия, на этой почве несколько лет назад у нее были даже неприятности с фрау Шор. И хотя со стороны фрау Готлиб неприятностей нам ждать не приходилось, для меня это было вполне достаточно, чтобы расхотеть встречаться с Мидори. По-моему, она не была ко мне в претензии, во всяком случае, мы вели себя оба так, будто максимум — это однажды видели вдвоем один и тот же сон, что невозможно ни проверить, ни доказать, а по-сему лучше предать забвению (правда, не думаю, чтобы

она утруждала себя подобными рефлексиями). Зато я после этой истории словно освободился от заклятия, стали появляться женские имена, телефоны — то, что, подпадая под определение случайных связей, избавляет если не от одиночества, то хотя бы от кое-каких его последствий, в моем возрасте, я бы сказал, даже оскорбительных.

Вскоре после моего вселения в квартиру Эриха жена хаузмейстера — род техника-смотрителя — сосватала мне частного ученика, сына практиковавшего на нашей улице дантиста. Частные ученики обладают способностью размножаться не спариваясь. Через месяц их было пятеро, а еще через три моя школа прекратила набор. Их привозят цапленогие мамы, обычно из Линденгартена или Цвейдорферхольца, где в домах повсюду букеты сухих цветов, а мебель признается только кожаная. Каждого третьего из них зовут Тобиасом. Я преподавал им рояль на чешском пианино с лопнувшей декой (как покойники питаются, так они и выглядят, говорилось в Одессе). Моя квалификация пианиста, приобретенная десятилетним посещением класса обязательного фортепиано, вполне соответствовала стоявшей передо мной задаче — поколение тобиасов отнюдь не готовило себя к музыкальной карьере, они собирались быть биологами (вариант: ветеринарами). В одной такой семье, помимо троих детей, Дэниса (13), Юлии (10) и Тобиаса (8), я иногда по субботам музицировал с их отцом — это уже бесплатно. То есть он так думал. Брать ведь можно не только наличными, но и возможностью изредка оказываться за большим семейным столом, среди взрослых и детей, живущих у себя. Так иногда мне доставалось местечко на чужом празднике, да еще хорошее: мы музицировали порой публично — тогда меня представляли гостям не иначе, как герр Готлиб, камермузикер. Сразу и из России, и из Израиля — вот какое чудо. Некоторые даже меня узнавали: ах, вы же первая скрипка в опере!.. Я слушала там третьего дня «Фиделио» — прекрасно.

Как свреи — народ Книги, так немцы — народ Нот. Они принимают музыку грузно, сытым нутром. От звуков их глаза не будут артистически лучиться, как у детей Средиземноморья. Для немцев музыка — не красота, она — истина (как уж тут быть вдохновенным исполнителем).

Сегодня меня ожидало совместное музицирование с упомянутым господином, отцом семейства, и еще с тремя — ему подобными. Предстояло терзать «Форель» Шуберта. Один, виолончелист, тащился за сорок пять километров ради этого (правда, в роскошном «БМВ» — так что не будем особенно его жалеть). Сегодня — это суббота тринадцатого декабря. Но не первой, а уже второй моей циггорнской зимы — что, впрочем, и понятно, раз в моем рассказе уже мелькал веселый месяц май (я строго хронологичен). Итак, больше года как я здесь. Теперь меня не узнать. Я даже приобретаю апломб — по мере того, как перестаю бояться синкоп. А недавно перестал откладывать «на черный день» — каюсь, был грех, поначалу я как сумасшедший копил деньги. Меня можно понять. С наступлением адвента в театре почти каждую субботу утром идет Гумпердинк, «Гензель и Гретель». Как старую тетушку, меня всегда волнует пантомима в конце первого акта: с радужными крыльями златокудрые ангелы стеной окружают двух уснувших в лесу детей — и всегда смешит бетховенский мажор в финале: ведьма побеждена. В эту субботу, отыграв очередное *matinée*, я стоял, озирая чуть прихваченную сияющим на солнце морозом площадь. Театр продолжался: нарядные дети и взрослые — а то и одни взрослые (последние же были взрослыми настолько, что еще в тридцать третьем году имели право голоса) составляли классический театральный разъезд. Вокруг играли шарманки. Уличные музыканты — духовые трио, квартеты, квинтеты — играли рождественские песни. Сновали толпы, отягощенные покупками. Народ нагло благоденствовал. Перед церковью св. Амалфеи на Рыночной площади, отделенной от Театральной строем универмагов, уже от-

крылся рождественский базар. В двух шагах от меня прощались две кукушки: чю-ус, чю-ус. «Ку-кук, ку-кук — Eierschlück, Eierschlück» — еще звучало у меня в ушах. Проводив их взглядом, а попутно и мотоциклиста, что, оседлав здоровенную «хонду», переходил вброд пешеходную зону, перебирая нелепо ногами, — я вдруг вспомнил: у меня где-то есть партитура «Форели», надо будет захватить ее сегодня с собой — вот и пригодилась. Дома, чтоб не забыть, я сразу решил ее приготовить. Прикинул, где она могла лежать: вместе с остальными нотами. Просмотрел: да, Сен-Санс, а вот и «Форель». Беру — и вижу такое, отчего, о... мурашки по коже...

3

На титульном листе — подпись владельца: J.Gottlieb и рядом скрипичный ключ в виде играющего на скрипке человечка — тот же самый... Где же это было? Что я играл? Я так испугался, что не вспомню, что вспомнил тут же. Ротмунд, «Волшебная флейта». Стояла дата — я представил еще, как все кругом горит. Сорок третий год.

Естественным порывом было на все плюнуть, немедленно броситься в Ротмунд, под благовидным предлогом попросить партию первого пюльта «Волшебной флейты» и сличить оба автографа. Но я представил себе, какое разочарование вызовет мой телефонный звонок у остальных участников квинтета: они готовились к этому дню, каждый занимался, я освящал всю встречу своим профессиональным авторитетом — у меня рука не поднималась снять трубку и сказать: совсем забыл, день рождения у дедушки, мне необходимо присутствовать. А живет он... в общем, сожалею, но сегодня придется обойтись без первого голоса.

Учитывая мое нетерпение попасть скорее в Ротмунд, легко вообразить, как досадовал я, что именно сейчас надо было ехать в Цвейдорферхольц, там провести всю вторую половину дня в компании наивных дилетантов, каковыми вдруг делаются эти, смею думать, стоящие двумя ногами на земле господа. «Приехать бы, а там по-

чему-то сорвалось, и прямо можно на вокзал», — грезил я в трамвае. (В Циггорне желтые трамваи — как в двадцатые годы в Берлине, если мне не изменяет память — литературная. После Циггорна телефонные будки по всей Германии кажутся мне заколдованными и поставленными на попа трамвайными вагонами.)

Все машины были в сборе, контрабас прибыл в минибусе. Безотчетно подумав, что сейчас увижу Дэниса (судя по его велосипеду), я позвонил.

В доме была паника — не иначе как в результате моего пожелания — типично школярского, лентяйского — чтобы, дескать, там что-то случилось и можно было отправиться восвояси. Я испугался: вдобавок я еще за секунду до этого подумал, что Дэнис дома, тогда как он-то и исчез. Сразу после обеда отправился к своему товарищу, и вдруг пятнадцать минут назад этот товарищ звонит: можно Дэниса к телефону? Оказывается, они собирались всей семьей уехать на уик-энд к бабушке в Бад Шлюссельфельд, это в ста десяти километрах отсюда, но отца внезапно вызвали в больницу, и они остались.

Паника еще не достигла своего пика, когда сметаются все барьеры, забывается о приличиях. Мать, сидя на краешке углового дивана светлой — кофе со сливками — кожи, все еще обзванивала школьников — и нешкольных — приятелей сына. Музыканты — рояль стоял в гостиной — тут же, хотя и не вполне уверенно извлекали из чехлов складные пульты, привезенные с собой, усердно канифолили смычки, тихо настраивались — будучи в приготовлениях по-любительски обстоятельны. Между их эгоистическими тревогами, с одной стороны, а с другой — вспухавшим страхом за сына и разрывался хозяин дома. Я чувствовал, что эта оглядка на нас, по мере приближения к последнему, роковому номеру телефона сейчас обернется для него страшной сценой, со слезами, с оскорблениями при посторонних. Как не хотелось видеть этих людей — любезных мне именно своим буржуазным благополучием — в неглиже скандала. Ай-яй-яй, неужто и впрямь на этот лоснящий-

ся от счастья дом надвигалась беда? Я чувствовал свою вину: не хотел играть — сглазил, накликал, пожелал. Что, если я экстрасенс? Развалился же как-то, вторя моим мыслям, под учительницей стул, к неумной радости класса. Нет, недостаточно убедительно.

Убедительно или неубедительно, это не помешало мне в косвенной форме покаяться: надо же как бывает, я-то еще подумал — Дэнис дома, раз велосипед стоит.

Нет, мне объяснили, что он накануне получил в подарок «бэмэкс» — на котором можно разные фокусы вытворять — и уже сегодня все утро учился съезжать на нем по ступенькам, а потом поехал к Тобиасу похвастаться, это здесь же, в Цвейдорферхольце, одного его еще дальше Цвейдорферхольца не отпускают.

Я смотрю на часы: мне необходимо срочно позвонить. Хозяин отводит меня в свое бюро: я могу воспользоваться его рабочим телефоном. Я вернулся, наверное, через две минуты.

...И у Гайденов Дэниса нет, и — дозвонились наконец до Зорге, там отвечает барышня au pair, кореянка (так это она час болтала в отсутствие хозяев! Надо думать, что все же не с Сеулом). Нет, о Дэнисе ничего не слышала, с утра все отправились на рождественский базар, одна я осталась с девятимесячной Мириам.

Я прошу на десять минут не занимать телефон. Не проходит и пяти — звонок: мама — плач — ты не волнуйся, я... я в городе...

Впечатление было, как будто я совершил чудо: куда-то позвонил — в Мосад? К Господу Богу? И мальчик в течение пяти минут отыскался сам. Я не стал их мистифицировать — а мог, они были готовы принять сейчас на веру все что угодно.

Нет никакого чуда. Смотрите: этот его друг — как его, Тобиас? (Да, Тобиас Кунце) — просит к телефону Дэниса, которому хочет сказать, что из-за отца они никуда не поехали. Значит, Дэнис знал: Тобиас уезжает на два дня — и поехал совсем не к нему. Он и назвал-то Тобиаса — понятно почему: находящийся за сто кило-

метров отсюда Тобиас уж точно не объявится: «А где Дэнис?» А вы, даже если позвоните сами, что-то сказать или узнать, тоже подумаете: ну, мальчишки в саду, носятся на велосипедах, телефона не слышат, родители же могли куда-то уйти. Великолепный план. Можно исчезнуть часа на три, а то и на четыре, без того, чтобы тебя стали разыскивать. Вопрос — куда. Из Цвейдорферхольца его одного не отпускают. Логично предположить, что в Цвейдорферхольце его искать бессмысленно. У Дэниса в голове сегодня только фигуры высшего пилотажа, выделяемые на «бэмэксе». Не знаю, как другим жителям Циггорна и его окрестностей, но мне, почти ежедневно бывающему в театре, хорошо известно, что по субботам и по воскресеньям после обеда там, на площадке перед кассой, самый настоящий клуб велофигуристов: мальчишки дэнисова возраста и постарше съезжаются, и начинается представление. Среди них есть настоящие виртуозы — ездят, стоя на голове, на одном колесе, внешне невозмутимые, но втайне ревнивые к успехам соперников. Таких мастеров двое или трое, к ним всеобщее внимание, остальные — новички вроде Дэниса. Заметьте, туда приходят без пап и мам, следовательно, его единственный шанс — папу и маму обмануть, что он и делает. (Мне стало жаль мальчика. Я попытался, по возможности, отвести от него наказание, которое могло быть достаточно суровым: у него могли конфисковать вчерашний подарок — чем не травма на всю жизнь! А что — кто их знает, этих немецких родителей с их домиками, садиками, с «Форелью» Шуберта... Когда еще писал Набоков, словно поддразнивая нелюбимого им Достоевского: «Маленькая гемютная Германия» — ах, кирпичные домики, ах, ребятишки ходят в школу, ах, мужичок не бьет лошадку дрескольем... Ничего, он ее по-своему замучит, по-немецки, в укромном уголку, каленным железом». Ведь как в воду глядел.) Но каков обман, слушайте, это же Гермес. Как все рассчитано. Какая за этим работа мысли, сколько выдумки — и смелости и предусмотрительности одновременно. В двенад-

цать-то лет! Слушайте, я серьезно, такого ребенка ожидает нобыкновенное будущее. Его и наказывать как-то за это грешно. По-своему он даже был прав... Ах да, звоню в театр, в оркестр, в это время — я еще посмотрел на часы — у нас уже всегда кто-то есть, и прошу нашего оркестрового рабочего: Хорст, умоляю, тут отец и мать себе места не находят, выйди, там мальчишки на велосипедах катаются, перед кассой, ну, ты знаешь (между прочим, для меня в этом известное неудобство: либо обращаешься «господин такой-то» — будто отталкиваешь человека ладонью, либо сразу зовешь по имени и тычешь), и крикни пару раз: «Дэнис Рор! Кто здесь Дэнис Рор!» Он подойдет, скажешь, чтоб немедленно звонил домой, а то у матери инфаркт будет. Хорст, прошу тебя, дело идет о жизни и смерти. С меня пиво.

Объяснив скрытый механизм чуда, я не только не развенчал себя, но — насколько можно судить — наоборот: не надо было больше делить восхищение с некой вездесущей мифической организацией, с которой, выходило, я был связан. Я удостоился миллиона комплиментов и в придачу сразу двух взаимоисключающих сравнений: и с Эркулем Пуаро и с Агатой Кристи. Какое более лестное, не знаю. На месте последней, во всяком случае, я постарался бы хоть раз избежать ретроспективных объяснений в финале — это хорошо в жизни, как мы только что убедились, в литературе же в проигрыше и читатель и жанр.

Я был вознагражден за свою находчивость. Отец Дэниса отправился немедленно за ним. Само собой, «Форель» откладывалась, но, по-моему, без особых сожалений. Все окупил счастливый, даже, можно сказать, необычайный конец в истории с пропавшим мальчиком. И я мог со спокойной совестью ехать в Ротмунд (не давало покоя мое загадочное открытие — как и любому бы на моем месте). Причем не было нужды ехать на вокзал, ждать поезда — виолончелист брался меня подвезти к самому театру в Ротмунде. Ему все равно по пути, а дать колено в полтора десятка километров для него, ну право,

не составляло труда. Я понимал, что на самом деле ему интересно было со мной поболтать.

О'кей, но вообще-то зарабатывающему на жизнь игрой на инструменте с тем, кто музицирует для себя, а зарабатывает лечением зубов — скучно. Я восхитился величиной багажника в его «БМВ-Бавария», куда «не сгибаясь» легла виолончель — думал продолжать в том же духе, двигаясь в направлении мотора, но, в отличие от моих коллег, готовых часами обсуждать достоинства своих машин, дантист сменил тему разговора: ему хотелось побеседовать о музыке. К счастью, по натуре он был скорей рассказчиком, нежели слушателем, сорок минут высказывался — о Казальсе, о Ростроповиче, о Наварре, о Шафране... О, конечно, он слышал Шафрана, он слышал Кнушевицкого, он слышал всех русских виолончелистов — «а правда, что Ростропович Кнушевицкого...» — но я об этом ничего не знал.

До чего не любил я этих говорунов на музыкальные темы — но сейчас лучше было внимать чужим историям, чем рассказывать что-то самому. С каждой минутой, с каждым километром росло мое напряжение. Кивая головой в такт музыкальным воспоминаниям почтенного дантиста: кого, где и когда ему довелось услышать, — я про себя строил разные гипотезы, желанные и нежеланные. Нежеланная: «скрипичный ключ-скрипач» — не изобретение деда, а популярная в свое время «изошутка», вроде —О— «мексиканца на велосипеде». В таком случае использовать ее в качестве шуточного экслибриса (в нотах) мог — а психологически просто обязан был — не один десяток людей. О вероятности же совпадения имени и фамилии — Йозеф Готлиб — красноречивей всего свидетельствует телефонная книга, открытая на соответствующей странице. Вопрос, чего же я желал — чтоб это действительно был автограф моего деда? Безусловно. Мне хотелось тайны, меня это волновало (почему я и не верю в добросовестность и бескорыстие исследователей «тарелочной цивилизации»). Все сейчас решит не картинка, а подпись — я, как ни старался, не

смог вспомнить ту, что была в Ротмунде. Если только будет похоже... Я боялся заглядывать дальше: как пытаюсь установить, кто был он, мой тезка, концертмейстер ротмундской оперы в сорок третьем году; откуда взялся и куда потом делся. Вконец безумная конечная станция моей фантазии: некий девятиностотрехлетний старик — столько было бы ему сегодня, в декабре 1975 года, — жив. Почему не дал знать о себе после войны? Возможно, и пытался — по адресу: Казахстан, до востребования. Я посещаю его в убежище для престарелых и беспомощных певцов им. Шуберта.

В ротмундском театре только что закончился антракт. По внутреннему радио пелось: «Сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер в мае». Был десятый час. На сцене Маддалена в эсэсовской фуражке и галифе заковывала герцога Мантуанского в кандалы и стегала плеткой. Идти в ногу со временем — самый простой способ скрыть свое профессиональное убожество. Липперт-вайлерхаймская опера, поставив «Князя Игоря», в «Половецких плясках» устроила самое настоящее софт-порно, к тому же бисексуальное — так почти на каждом спектакле в первом ряду сидел кто-нибудь с полевым биноклем. В этом смысле наш циггорнский театр тоже не желал слыть прибежищем реакционеров (в Германии — слыть реакционером?!): как-то раз я не понял, отчего на сотом уже, наверное, представлении «Абраксаса» — послевоенного балета Эгга — скрипачи, сидевшие с краю, вдруг повскакивали со своих мест — казалось бы, пять или шесть статисток с оголенным сочным бюстом, которые в этот момент проезжались верхом на плечах у танцоров, давно уже оставляли всех безучастными. Но тут кто-то зашептал мне в спину: это новые. Я тоже привстал. Убежден, мы являли собою зрелище — куда там происходившему над нами: полтора десятка мужчин в позе дарвинско-энгельсовской обезьяны, кое-как оторвавшейся уже от земли передними конечностями (только вместо классических палок смычки). И подпись — попавшаяся мне недавно в одной

советской газете фраза: «На Западе сегодня многие увлекаются сексом».

У рабочего оркестровой ямы в Ротмунде было очень редкое в Германии имя: Ганс. В Ротмунде «мугге» оплачивались наличными. Я всегда оставлял марок пять Гансу или его напарнику — седовласому мужчине со скорбным лицом, произносившему при этом «мерси» так, что вы не могли не почувствовать: он знал и лучшие времена. Естественно, на мою просьбу — постоянного клиента, щедрого на чаевые, — дать на пять минут «первый пулт первых скрипок» «Волшебной флейты» Ганс без лишних слов протянул мне ключ от нотной кладовой: бери, «Волшебная флейта» на верхней полке слева, потом ключ не забудь занести. (Раз «Ганс», значит, «ты», раз я ему «ты», то и он мне «ты» — типичное братание официантов с клиентами.)

Вскоре я вернулся обескураженный. Ноты первого пульта первых скрипок, за девяносто — приблизительно — лет своего существования сплошь покрывшиеся татуировкой надписей, аппликатур, «очков» (дорожный знак оркестрантов всего мира, что, дескать, гляди в оба, опасно), рисунков, тупых и остроумных, это уже неважно, ибо все равно памятных, может быть, во множестве случаев уже единственных следов пребывания кого-то на земле — все-все-все страницы были оттерты резинкой добела. Ничего, кроме аккуратно расставленных карандашных штрихов: галочек, прямоугольничков, жирных легато. На мой вопрос-воплъ «как же?» Ганс называет фамилию: Киршбаум... Хирштраум... он ударник и по совместительству, когда надо, расписывает голоса, ставит штрихи. А также время от времени приводит ноты в порядок.

О!.. Я представил себе этого вандала, этого затаившегося психопата, маньяка карандаша и резиночки — как только ни честил я его про себя; у нас в оркестре тоже водился такой: прежде чем играть, он начинает все стирать в нотах — все ему мешает, как плохому танцору... Но досада, гнев на этого идиота порождали об-

общения: на этих идиотов — которые каждый раз все начинают с нуля, с аккуратненького новенького дешевого нуля, и с каждым разом все дешевле и дешевле. Так же заново они строили свои города после войны. Идиоты! Дважды губили свою страну. Я сейчас ненавижу немцев — как можно было это сделать!.. Все стереть!..

Но нет худа без добра. Эта максима приложима к чему угодно, верна она была и на сей раз. А если б стала очевидна моя ошибка, тогда как я уже весь во власти этой летающей тарелки над моей головой? Ведь я ожил — впервые за полтора года; и по затянувшемуся недоразумению, скажем так, мог еще сколько-то пожить. Как ни стремился я скорее в Ротмунд, втайне я боялся, что слишком скоро все разъяснится. Теперь воцарялась неопределенность — пока я не выясню, кто именно здесь играл в те годы на скрипке. Не так уж давно это и было. Простейший путь: найти нескольких «ветеранов» (они вовсе не должны быть древними старцами — кто-то пару лет как на пенсию ушел) и показать фотографию: знаком или не знаком вам этот «герр»? Разумеется, не пугать людей кошмарным кадром, а то ведь, неправильно истолковав вопрос, всякий будет знакомство — Боже упаси! — отрицать. Нет, предварительно обзавестись снимком одной только головы деда, попросив, чтобы мне ее по возможности увеличили, — по иронии судьбы это была единственная его карточка, других не сохранилось. Он был, правда, в шляпе, к тому же низко надвинутой на лоб, но лицо вышло отчетливо — мама тут же узнала. Ну, понятно — мама...

В расчете после спектакля навести у кого-нибудь справки о старых музыкантах, которые бы работали еще в конце войны, я прохаживаюсь по артистической: вдоль стен шкафчики с именами владельцев, на столах пустые футляры (скоро семь гномиков вернутся). В простенках полно фотографий «разных лет». Вот, например: сколько раз я его рассматривал, человека со свастикой на лацкане пиджака — из-за нее и рассматривал. Карл Элиасберг, генеральмузикдиректор, 1934 — 1945 гг. Чем-то

похож на Фуртвенглера или даже на Евг. Мравинского. Давно небось в земле. Были и групповые старые фото. Одно: на ступеньках оперного театра в Ротмунде большая компания мужчин в шляпах — как аксессуар эпохи, трости и гетры; в центре — этаким сорванцом: в кепке, в кожаной куртке — очевидно, главный дирижер; 1928 год. Фото того же оркестра 1937 года: на эстраде шагают в ногу смычки, скрипки, виолончели — тоже аксессуар эпохи, теперь бы так не сидели, как аршин проглотив; дирижер справа от подеста, вполоборота, одна нога чуть выставлена вперед. Немецкий оркестр, если не сегодня, то вчера, походил порядками на средневековый цех, а вкусами — на буршеский союз. В Цигторне первая женщина, поступившая в оркестр (не считая арфисток — здесь, по аналогии с ангелами, допускались локоны), была Кумико, это произошло всего лишь пять лет назад. Как говорится, невероятно, но факт. Была и фотография, запечатлевшая группу музыкантов ротмундского придворного оркестра «в товарищеской обстановке»: каждый с пивной кружкой и с чубуком, у всех усы индейскими пирогами; господа артисты сидят на стульях гуськом, один другому глядит в затылок — в гинденбургский затылок.

Набежали гномики, все замелькало, как в немом фильме. Кто-то с кем-то перекидывается репликами, одни чистят инструменты, а другие — виртуозы своего дела — уже в пальто. А, привет! (Это мне.) Я объяснил, чего хочу: меня знакомые — не в Германии — просили узнать, работал ли здесь в конце войны скрипач под такой-то фамилией, может быть, что даже концертмейстером. Оказывается, с этим обращаться следует к Боссэ, альтисту. Его хобби — история оркестра, он все знает: кто здесь работал раньше, когда. Вот он, Боссэ.

Я к Боссэ — извиняюсь, представляюсь. В Цигторне платят больше, чем в Ротмунде, поэтому элемент чванства в отношении тебя исключался (разве что смешное высокомерие: я беден, но горд). Маленький яйцеголовый Боссэ, с лицом скорее нарисованным, нежели вы-

лепленным, с усиками ниточкой — вот уж верный знак, что человеку нечем себя занять, — выслушал меня, прыгая на одной ноге: переодевал брюки. Нет, концертмейстера по фамилии Готлиб не было точно. В двадцатом веке концертмейстерами были... (опускаю этот прилежно выученный урок). Но фамилий всех, кто играл на первых скрипках, он назвать не может. Дома есть списки и можно проверить. У него собрана масса материалов: редких снимков, ценных автографов, в частности, уникальных писем — также относящихся и к военному периоду. Трудное время... вы русский? В оркестре тогда почти не осталось музыкантов, одни старики. Лучшие силы оказались на фронте. (Усмехнуться нельзя, обидится.) Он сам воевал, принимал участие в Арденнском наступлении, закончившемся для него пленом. Здесь, в Ротмунде, он с сорок седьмого года. Поэтому, если меня это интересует...

Еще как!

Мы условились о времени моего визита, и, когда через два дня я входил к нему, он уже спешил меня разочаровать: нет, человек по фамилии Готлиб никогда в оркестре не работал. Произнося вслух мою фамилию, он вдруг что-то понял — я все ждал, когда это произойдет. Он очень извиняется... ведь и моя фамилия Готлиб? Знаю ли я, что это немецкая фамилия? Объясняю, что в моем случае она еврейская. Ах, вот оно что... Очень глубокий вздох. А Готлиб, которого я ищу, он что, имеет ко мне какое-то отношение? Один дальний родственник, из Мемеля, тоже скрипач — всегда считалось, что он погиб в России, в начале войны, а тут автограф в нотах, та же фамилия, то же имя. Кстати, господину Боссэ никогда не встречался вот такой веселый скрипичный ключ? Я шарю по карманам в поисках клочка бумаги. Почему же я не прохожу, пожалуйста...

Он жил в наемной квартире. В подъезде запах чужого жилья, кондовой немецкой кухни. Возле почтовых ящиков плакат с изображением десяти разыскиваемых террористов — лицо одной, уже схваченной, террористки

перечеркнуто по линейке (!) крест-накрест, кто-то в придачу к этому нарисовал сверху топор. Сам дом — образец немецкого зодчества 50-х гг., ненавистного мне как европейцу, как горожанину. Боссэ словно чувствует это и оправдывается: овдовел, дети разъехались, дом продал.

В театре Боссэ не выглядел таким одиноким и заброшенным. Всякий, кто прикрывает свою уязвимость должностным мундиром, неважно, в прямом или в переносном смысле, дома бывает жалок по контрасту — закон.

Присев за письменный стол в его рабочей комнате — она же хранилище реликвий ротмундского театра, — я нарисовал «экслибрис деда». Боссэ он прежде не встречался — ни в оркестровых нотах, ни вообще (правда — касательно оркестровых нот — Боссэ альтист, а не скрипач). Подпись Йозеф Готлиб на «Волшебной флейте»? Ну, во-первых, одними и теми же нотами пользовались в разных оркестрах, а во-вторых, начиная с сорок третьего года, в оркестре играло много случайных музыкантов, бывало, что даже любители. Все из-за Элиасберга — тогдашнего генеральмузикдиректора. Из оперных театров ведь долго никто в армию не попадал. Что же Элиасберг: разозлившись на одного музыканта, сам добился его отправки на фронт, чем и создал прецедент. В течение полугода потом всю молодежь обмундировали — в других театрах тогда ни один человек не ушел. В сорок пятом ему это припомнили, к тому же он был член партии... Знаю ли я, что Гитлер очень любил музыку, особенно Вагнера, и оперные театры находились под его особым покровительством? Конечно, этого никто в заслугу Гитлеру не ставит, Боже упаси, после всего, что он сделал, также и с евреями (кивок потерпевшей стороне)... Да, что еще делает несостоятельным предположение насчет моего дяди (я поправил: родственника), родственника, да. Уже после тридцать пятого года среди музыкантов оркестра не осталось ни одного еврея. Тут я возразил Боссэ, что родственник мог скрывать свое

происхождение. Да, это верно, скрытых евреев было тоже немало. Тот же Элиасберг, говорят. У него и фамилия такая. Они вдруг все о себе заявили, когда после войны стало выгодно быть евреем, — возможно, я этого не знаю, но сегодня у евреев в Германии колоссальные привилегии.

Боссэ стал показывать мне свой архив. По его словам, большую ценность представляла записка Пфицнера к интенданту театра с предостережением от произвольных купюр — в связи с постановкой в Ротмунде в 1933 году его оперы «Сердце»; а также письмо Кунце, в котором он благодарит Элиасберга за соболезнования по случаю постигшего их с женою горя — гибели сына (1942 г.). Но самое главное, самое важное — это он мне должен прочитать. «3.IV.27. Сударь, вы располагаете двумя неделями, чтобы исправить совершенную вами низость по отношению к моему племяннику. В противном случае я постараюсь, чтобы вся Европа узнала, какое последнее дерьмо первый капельмейстер в Ротмунде». И подпись: «Людвиг ван Бетховен». Ну как? Это известная история. С карточным проигрышем здешнему капельмейстеру, — дескать, он был на руку нечист. Бетховен обожал своего племянника и по его наущению совершал также и неблагоприятные поступки... Да. Сто пятьдесят лет это письмо пролежало на чердаке, на дне бельевой корзины, пока четыре дня назад — «четыре дня», повторил Боссэ, потрясая перстом, — не попало к нему в руки, и уж он, тут я могу ему поверить, за ценой не постоял.

Я плохо знал биографию Бетховена, еще хуже — все перипетии его отношений с сыном покойного брата Карла. Но было бесспорно: либо срок действия ультиматума — под видом описки? по причине описки? — выходил куда более долгий, либо несчастного Боссэ грубо облапошили, даже и не очень старались: письмо было датировано третьим апреля, тогда как Бетховен умер где-то в марте.

Это было не мое дело — мое дело узнать имена и

адреса тех, кто в сорок третьем году работал в этом театре и мог бы опознать на фотографии коллегу. Поэтому я смолчал, и правильно сделал, конечно.

С пенсионерами, которых я ищу, плохо дело, тут он мне должен честно сказать. После войны состав оркестра совершенно обновился, из прежних музыкантов остались только те, кто по возрасту не подлежал мобилизации, — этих уже давно нет в живых. Остальные, кто был помоложе, — кто погиб, кто попал в плен к русским, кто обосновался на новом месте, некоторые эмигрировали. Единственный человек — Конрад Глазенапп. Он работал еще при Элиасберге, флейтист, ему уже под восемьдесят — лет пятнадцать как на пенсии. Но бодрый, раньше часто навещался. В последнее время что-то пропал. Надо бы ему позвонить, узнать, как дела. Перебываю: не позволит ли господин Боссэ мне от его имени позвонить к Конраду Глазенаппу? Позволил — и, порывшись в своем секретере, продиктовал номер телефона, который начинался с пятизначного индекса. Это недалеко отсюда. Мы простились. Он рад был мне помочь.

«Следующий», — сказал я себе с интонацией кассира, обслуживающего очередь в сотню голов. Конрад. Флейтист. Глазенапп. Флейтист — это плохо. На восемьдесят процентов флейтисты ненормальные. Что-то этот инструмент делает с их мозгами, отчего они страдают той или иной формой помешательства. Инструмент — я еще в училище обращал на это внимание — накладывает на человека неизгладимую печать. Вот странноватая каста виолончелистов — благородных тугодумов с философской складкой. Скрипачи, наверное, фигляры, хотя своего запаха не различаешь, это понятно. Зато альтистов, недоношенных скрипачей, знаешь лучше, чем кого бы то ни было: в какие бы артистические и прочие наряды ни облачались они, ущербность, альтовые уши будут торчать всегда. Можно говорить о контрабасистах, этих грузчиках мебели, или о тромбонистах, укладывающихся в неожиданную пропорцию со скрипачами: как последние относятся к альтистам, так

первые относятся к молодцам из той пивной, что зовется «Отрыжка длиною в жизнь»; о вокалистах — с их хорошей внутричерепной акустикой; о валторнистах — в семействе медных они подкидыши: больно уж цивилизованны. Наконец — про главных дирижеров, которых нужно душить в зародыше.

На этом останавлиюсь и отдышусь. Не такой я и мизантроп, но когда предстоит разговор по душам с флейтистом, восьмидесятилетним... Сведущий человек бы меня извинил.

Главное, что он жив! Пока я набирал (уже дома, понятно) полученный от Боссэ телефон, я в этом не был уверен, мне не очень понравилось, что г.Глазенапп «в последнее время что-то пропал». Нет, вполне живой, в доказательство я слышал его голос, проникавший в щели нашего разговора с госпожой Глазенапп, которая сказала, что ее муж всегда дома и — пожалуйста, пожалуйста — приезжайте, когда вам будет удобно. Ободренный таким хорошим началом, я даже не роптал, когда узнал, что «удобно» мне не будет — ни при каких обстоятельствах, разве что не пожмочусь и возьму на вокзале в Ротмунде такси, но ясно, что я этого не сделаю, а буду час ждать пригородного автобуса, ибо человек, не обремененный заботами о доме, о семье, распоряжается своим временем как воздухом — в отличие от денег.

Что ж, домик, садик — не хуже, чем у других. Я спрятал фотографию, которую всю дорогу вертел в руках, пытаясь взглянуть на нее глазами Глазенаппа. Как же это будет? Сразу узнает. По-стариковски начнет оправдываться: давно было, позабыл уже. Категорически скажет: нет, не знаком. Опыт учит, что в таких случаях побеждает неучтенный вариант. Хотя какой еще может быть, кроме «да», «нет» и «не помню», я не представлял.

Открыла дочь. Она была не в курсе моих телефонных переговоров, уже собралась сказать «нет» и закрыть дверь перед чужим, даже не давая себе труда понять, что, собственно, от нее хотят, — но для таких ситуаций у меня всегда наготове имелась визитная карточка, реабили-

рующая мою особу: и цигорнская опера, и камер-музикер, и концертмейстер. На глазах немолодая грузная стерва превращается в душку. Да, я к отцу, у нас договоренность. Тут явилась мать, еще более грузная, льющая на тебя потоки самой убедительной доброжелательности. Да, я тот самый господин. Удалившийся от дел флейтист, только я вошел, еще издали протянул мне руку как старому знакомому, не вставая, однако, со своего кресла. Рукопожатие энергичное, Боссэ был прав: старик крепкий. Загорелое обветренное лицо человека, много бывающего на природе, подбородок — как у Керка Дугласа, светлые голубые глаза кротко смотрят вдаль... Надо же, такой благообразный старик — прямо литературный персонаж — и такая гримза дочь. Видно, замуж так и не взяли. Интересно: потому что гримза, или гримза — потому что не взяли?

Обними меня — и я буду прекрасна.
Будь прекрасна — и я тебя обниму.
Так спорят они целыми днями.

(Почти что из арабской поэзии)

Я сел на предложенный ею стул, поосновательней представился хозяину, поблагодарил за разрешение его посетить, передал привет от Боссэ. Он кивал, но взгляд его был по-прежнему прикован к чему-то в глубине гостиной. Я невзначай попытался его проследить: расписная тарелка на стене? (Море, чайки, дальний парус.) Между тем дочка — пока мать позвякивала посудой на кухне — принесла нам на подносе две рюмки — «домашней сливовицы, присланной родителями ее мужа из...». Вот так.

Раз уж он меня обнял,
Больше можно и не быть прекрасной!

(Мнимая цитата)

Спасибо. Гость, я первый взял рюмку и увидел, что вторую рюмку она вложила отцу в руку.

Он был слеп. Это случилось год назад. Верней, на-

чалось уже давно — и тут он мне сказал вещь, в его устах удивительную. Убежден, что эту фразу он никогда прежде не слышал, — совпадение, делавшее ему честь. «Постепенный приход слепоты — не трагедия. Это как медленное сгущение летних сумерек», — говорит семидесятилетний Борхес свосму восемнадцатилетнему отражению — в реке, которая, по мнению одного, протекала в Женеве, а по мнению другого, в Ксмбридже.

Правда, я уже отучился по книжному корешку на полке или по сходному восприятию шубертовского мажора видеть в человеке родственную душу — что было уделом моей юности. Тем не менее я воспринял это как знак свыше — не юлить вокруг да около, а сразу все выложить как есть: увы, хотя то же самое, слово в слово, говорится (о слепоте) в одной замечательной книжке, цель моего посещения не может быть достигнута, ибо я собирался показать господину Глазенаппу фото моего родственника, чтобы он сказал, не знакомо ли ему это лицо. Это Йозеф Готлиб — то же имя, что и у меня, — уроженец Мемеля, жил в Вене, потом в Варшаве, потом, с началом войны, попал в Россию, где, как полагала наша семья, и погиб. Скрипач. Но вот теперь появились новые данные — якобы он спасся и даже работал в ротмундском театре... Я не договорил, остановленный поднявшим палец Глазенаппом.

Из России? Это которого там чуть не расстреляли? Поскольку реакция моя была хоть и бурной, но безмолвной, Глазенапп невозмутимо продолжал: да, его спасло от смерти вступление наших войск, это было в каком-то городе, в России. Как немец он должен был быть русскими расстрелян, его вроде бы вели уже на расстрел — он все это нам рассказывал... Он на этой почве немножко рехнулся. Готлиб, точно. Очень странный человек. Мог встать и уйти посреди репетиции. Мог нагрубить Элиасбергу, главному дирижеру, с которым вообще-то было очень опасно связываться. Он как бы даже не работал постоянно, хотя жил в квартире при театре. Гово-

рили, что его опекает какая-то очень важная персона, чуть ли не сам Кунце.

А про расстрел — говорил ли он, как ему удалось выжить?

Да, конечно, он об этом только и говорил. Как собрали всех немцев, которые жили в городе, на площадь, всех: детей, женщин — там, в этом городе, жило много немцев. Выстроили перед памятником — кому там, Сталину? Ленину? И повели. За город, в лес. Люди шли с вещами, с чемоданами, матери детей на руках несли. Он шел со скрипкой. Ну, а как вышли из города — рука слепого сжалась в кулак — тут уже наши войска.

Фрау Глазенапп в это время внесла угощение: пирог, к нему сбитые сливки и кофе. Немцы — сладкоежки (в отличие от русских, и в то же время пивные животы — что отличает их от израильтян, тоже любителей сладенького, правда, совершенных варваров в том, что касается искусства печь). Как приятно морозным днем зайти в кондитерскую в центре и понаблюдать дам в головных уборах всех возрастов и социальных моделей, а из джентльменов — либо совсем юных, либо седовласых — уписывающих вилочками кабанью голову шварцвальдского торта, яблочный штрудель под горячим ванильным соусом, «древесное пирожное» и многое-многое другое. Эти люди наслаждаются и духовно и телесно — радующее глаз зрелище.

Посмотрим, как это будет выглядеть при участии слепого. Признаться, я был под двойным впечатлением от его истории. С одной стороны — понятно: все подтвердилось, мой дед не был расстрелян в Харькове осенью сорок первого, а действительно какое-то время находился в Ротмунде при поддержке своего старинного друга? врага? Появился новый след, который мог увести очень далеко, также и идейно-политически. Ну-ка, что Эся теперь будет говорить о Готлибе Кунце? Жаль, я не прочитал его письмо к Элиасбергу. С другой стороны, рассказ о чудесном спасении вызвал у меня некоторый шок. В кинематографе используют иногда эффект нега-

тива — в страшных сценах. Прием надуманный, изобличающий недостаток фантазии, но здесь бы он подошел... Выглядело так — я сейчас о том, как Глазенапп ел: ему повязали салфетку, жена села справа от него, и — кусочек себе в рот, кусочек ему в рот, который он подставлял, — как уже делал в году, думаю, девятисотом.

Вскоре и жена и дочь были посвящены во все обстоятельства нашего разговора и только ахали. Не подлежало сомнению, что я для них вполне часть немецкого народа, преследованиями на чужбине искушавшая недостаточное владение речью предков, ну и, вероятно, какие-то другие, причиняемые Федеративной Республике Германии неудобства. Во всяком случае, в прямом смысле слова они демонстрировали готовность делиться со мной куском пирога. Больше того, подобострастная услужливость, которой все это сопровождалось (сервизизм немца и еврея — как сказал недавно уже упоминавшийся Борхес), вызывала у меня тошнотворное предположение — о степени его тошнотворности предоставляю судить читателю: пожелаю я только, чтобы и меня кормили с ложечки, дочь хозяина не задумываясь последовала бы примеру своей матери, так же примостилась бы рядом со мной и — кусочек себе в рот, кусочек мне в рот, кусочек себе в рот, кусочек мне в рот — тик-так, тик-так.

Однако как сложилась дальше его судьба? Этого Глазенапп не знал: пропал из виду, должно быть, уехал куда-то, время было такое, что чужими судьбами не интересовались.

Радующие хозяев вознаграждаются любезностью гостей. Поэтому я еще долго внимал историям, которые куда интересней рассказывать, нежели выслушивать. В результате ехать в Ротмунд к Боссэ было поздно, а возвращаться в Цигторн, чтобы на следующее утро снова быть в Ротмунде, — глупо. Оставалась какая-нибудь дешевая гостиница в Ротмунде — она прямо поджидала меня напротив автобусной остановки неподалеку от вокзала, под названием «Гавана» — более чем сомни-

тельным, учитывая, что дело происходит на «родине поггенполя», а не в Восточном Берлине или Западном Бейруте. На мысль о последнем меня навел брюнет левантийского типа за конторкой: он с ходу раскрыл мой израильский паспорт с правой стороны, тогда как христианин крутил бы его и так и сяк — как шкатулку с секретом.

День принес удачу, чтоб не сказать — победу. Я по-прежнему не знал, что произошло с дедом в Харькове в сорок первом году, но я твердо знал, чего с ним не произошло, — как раз того, в чем Эся, а с нею и мама и я были убеждены: тогда деда не расстреляли, дед спасся. Как? Как он попал в Германию? Какова во всем этом роль Кунце? Теперь только все начиналось, теперь можно было всерьез за что-то приниматься. (Пока я ждал автобуса в Ротмунд, я успел позвонить к Боссэ и, сто раз извинившись за назойливость и столько же раз за поздний звонок — хотя еще не было девяти, — попросил разрешения завтра к нему зайти снова. Да, конечно, он будет очень рад. При этом у него был какой-то унылый голос. Боюсь, я даже догадывался почему... ладно, это его дела. Меньше надо коллекционировать письма Бетховена.)

Я почти что уснул — судя по изменившемуся вкусу слюны во рту и уже намечавшемуся дополнению к реальности, — когда какой-то клаксон за окном включился минуты на три. Однако до чего же мне не хотелось в эту ночь страдать бессонницей. Лучшее от нее средство — дисциплина мысли. Мозг следовало настроить на нужную волну. Нельзя было мысленно развивать сюжет успешных розысков, это — самовозбуждение, верная бессонница. Еще хуже — тема Ирины; у радиостанции, специализирующейся на ней, очень сильный сигнал, который только усилился с тех пор, как некий господин из еврейской общины города Циггорна пожаловал ко мне без предупреждения, можно сказать, подкараулил меня (в свое время, немного поколебавшись, я все же сообщил Эсе свой адрес, может быть, в тайной надеж-

де?..). Какая невероятная сцена была передо мной разыграна... Он только зря старался — я бы и так дал ей развод. Он, кажется, был удивлен моей сговорчивостью и, решив, очевидно, что она безгранична, продолжал: дескать, неплохо было бы стать членом общины. Совет был подкреплён пригласительным билетом на базар «Вицо» — или «Хадассы»? — словом, на какую-то благотворительную акцию — с музыкальной программой, буфетом, лотереей. В сущности, я ничего не имел против вступления в еврейскую общину Цигорна. В России коренные остзейские евреи держались большими барами, легендарное немецкое еврейство в лице... да перечислять их, что ли! Мне стало интересно. Я пошел — и вылетел как ошпаренный: публика этикетками наружу, возглавляемая несколькими профессиональными евреями. Кошмар.

...Неожиданно меня убавляла мысль о том, что ночлег в «Гаване» сберег мне, не говоря уж о лишнем часе драгоценного утреннего сна, еще марок десять, — на столько билет в оба конца вышел бы дороже. Мелкие радости грошовой экономии сами по себе, возможно, и ничто — предмет всяческого осмеяния, но в сочетании с удачей водоизмещением эдак в пятьдесят тысяч тонн подобны буксирчику, за которым эта громада влачится последние пару сот метров своего плаванья. С мыслью о десяти марках я перевернулся в последний раз на другой бок и проспал до утра как сурок.

Забегая вперед, доведу уж эту сюжетную линию — десятимарочную — до конца. От Боссэ пешком к вокзалу было короче и быстрее, чем на автобусе, петлявшем и огибавшем пешеходную зону. Я же не просто шел — теперь, после повторной встречи с Боссэ, у меня не оставалось никаких сомнений: я представлял, что напишу Эсе и что она мне ответит. Я — летел. Только в подземном коридоре под Лейпцигской площадью на миг задержался, чтобы подать милостыню, — я всегда всем подавал, не столько из сострадания, сколько памятуя о происшествии с неким римским легионером по имени

Мартин. Очень уж было страшно упустить свой шанс. Правда, этот нищий большими печатными буквами на листе картона извещал, что он — доктор философии из ГДР, но почему я должен был ему верить? Тем более что мое даяние на сей раз — неожиданно даже для меня самого — размером в десять марок было принято с не-свойственной философам горячностью.

Но это уже после свидания с Боссэ, у которого я про-был хоть и недолго, но, как говорится, с немалой для себя пользой. Начал я с того, что его друг Конрад Глазенапп ослеп и распознает только желтый цвет, тень и солнце. Так что моя поездка оказалась напрасной — я-то собирался показать ему фотографию. По-моему, Боссэ всерьез и искренне расстроился — т.е. не за меня, разумеется. Я даже не уверен, что за Глазенаппа... Желая сделать ему приятное, я повернул разговор таким образом, что к слову оказалась история продажи на аукционе Сотби коллекции фальшивых русских икон, принадлежавших бывшему американскому послу в Москве и всегда считавшихся уникальными. Теперь на суде всплывают довольно-таки неприглядные вещи. У Боссэ появился огонек в глазах. Он уже хотел поделиться чем-то... но, слава Богу, ограничился признанием, что «в жизни всякое бывает». Конечно, конечно, раз в жизни самый знаменитый эксперт и тот ошибается, — в прошлую нашу встречу господин Боссэ упоминал о письме (легкое замешательство) Кунце, которое у него хранится, нельзя ли одним глазком на него посмотреть?

Что же писал Готлиб Кунце генеральмузикдиректору ротмундской оперы Карлу Элиасбергу?

Бад Шлюссельфельд, 21.1.42

Дорогой господин доктор Элиасберг,
как глубоко я вам благодарен за слова утешения, в которых мы с Верой сейчас так нуждаемся. Й. говорит, что Вы укоряете себя за то, что (далее подчеркнуто) *не нашли в себе силы обмануть ожидания сотен людей, как исполнителей, так и публики, поручив в последний момент*

премьеру кому-то другому. Нет, дорогой и преданный друг, бывают времена, когда каждому надлежит, не считаясь ни с чем, следовать своему долгу: солдату — разить врага, отцу — оплакивать сына, дирижеру же — стоять за дирижерским пультом и наперекор льющимся на нас с небес потокам огня и ссы утверждать святое бессмертие искусства...

(«Значит, все-таки ссы», — подумал я. Между тем Боссэ пояснил, что речь шла о премьере «Воскресшего из мертвых» Вольфа-Феррари, что помешало Элиасбергу присутствовать на заупокойной мессе по Клаусу Кунце. Кто такой Й.? Вероятно, их общий знакомый. У меня был соблазн задать ему вопрос, как понимать слово «вероятно», — что теоретически существует такая возможность, при которой Й. не являлся бы их общим знакомым? Боже, какой болван! Завтра на каком-нибудь чердаке найдут неизвестную симфонию Шуберта — купит ведь. В Германии нет недостатка ни в миллионных манускриптах: дневниках, нотах и т.п., ни в миллионах, которые будут на них истрачены, — недостает лишь столетней давности чердаков».)

...Сейчас как никогда я чувствую, что я уже старик. Моя жизнь, возможно, кончится еще раньше, чем эта война. Меня волнует судьба Инго — что его ждет? Своего отца он даже не будет помнить. Поверьте, тяжело все это.

Й. — человек не от мира сего, совершенно удивительный. К тому же невероятной жизненной силы, которая может творить чудеса: *встань и иди*. Вера просто нуждается в его жизненной энергии, в его присутствии. Хотя я знаю: в душе он переживает гибель Клауса — которого он видел всего лишь каких-то два часа — как если б это был его собственный сын.

На этом позвольте пожелать вам всего лучшего.

Ваш Готлиб Кунце

4

Я тут же собрался обо всем сообщить Эсе, но оказалось, что у меня нет дома ни листочка, на котором прилично было бы написать письмо. Кунце пользовался именной почтовой бумагой бледно-голубого цвета. Я все время думал о Кунце. Странно: какой-то эмигрант из бездарнейшего Харькова, в сущности, никто, я вторгаюсь в частную жизнь, что бы там ни говорилось, крупнейшего композитора XX века — в качестве *заинтересованного лица*. Письмо, прочитанное у Боссэ, не шло у меня из головы. Странно и другое — такое ощущение, что оно читалось бы совершенно иначе, знай я что-то... Что, вероятно, знал Элиасберг — хотя тоже необязательно: в любой корреспонденции наряду с формальным адресатом присутствует еще один — сам пишущий.

Кем же был для меня всегда Кунце? Венский романтик, из позднейших. Советским музыковедением зачислен в экспрессионисты. В своем романтизме — или экспрессионизме — ушедший в такие консервативно-националистические дебри, что в итоге стал фанатиком национал-социализма. В том, что фанатиком, сомнения быть не может: накануне падения «тысячелетнего рейха» он убивает жену и себя.

Помимо этого, из разговоров о моем деде я знал, что их с Кунце поначалу связывала дружба, закончившаяся ужасным разрывом. Причина разумелась сама собой.

По-видимому, Кунце — и политически и человечески — был фигурой настолько одиозной, что мама, казалось бы, на что уж любившая щегольнуть знакомствами деда, и то избегала называть это имя — даже историю с перепосвящением скрипичного концерта она предпочла оставить на совести того, кто мне ее рассказал.

Но вот, по прочтении письма, Кунце мне видится совершенно иным человеком, во всяком случае, уж не таким Кейтелем в штатском, как было прежде. (Почему я сразу не сходил в библиотеку да не прочитал еще сотню его писем? «Письма Рихарда Штрауса», «Письма Густава Малера»... Наверное, письма Кунце тоже давным-давно опубликованы, прокомментированы. Это в Харькове ничего нельзя было прочитать, и информационные пустоты заполнялись самыми вздорными слухами: так, все как один в училище, включая и преподавателей, мы верили, что «фона» дал Караяну Гитлер. Возьми я тогда в руки первую же попавшуюся биографию Готлиба Кунце, разве мне пришлось бы ломиться в открытую дверь?) Из письма я узнал, что у Кунце погибает на фронте сын, сам он недвусмысленно пишет о потоках огня и серы — значит, признаст себя и всех немцев казнимыми за грехи. Самоубийство человека, сломленного гибелью сына, имеющего к тому же все основания считать это Божьей карой — равно как и то, что происходит у него на глазах с его сказочной Германией, поколениями создаваемой, «страной святых чудес» (лежат ныне в руинах), — такое самоубийство, совершенное в таком моральном и физическом контексте, трудно приравнять к добровольной смерти древнего германца, в чьем гаснущем взоре нет ничего, кроме презрения к победителю. Двойное самоубийство престарелой четы с горя — вот что это, а вовсе не «убил жену, а потом себя» — какой-то косматый воин, в лучшем случае неэстетично хромающий Геббельс, распорядившийся заодно и жизнью своих детей. Кунце, наоборот, в отчаянии от того, что его внук вырастет сиротой.

Инго — необычное для моего слуха имя. Ему, долж-

но быть, еще нет сорока. Конечно, вот где, а не в оркестровых ямах, мне следовало бы порасспросить — среди родственников Кунце, среди тех, с кем по воле невероятного случая оказался вместе на траурной церемонии в Бад Шлюссельфельде маран Готлиб. Это был истеблишмент третьего рейха. Как бы мне на них выйти.

Разжившись наконец почтовой бумагой, не именной, но тоже голубенькой, я сообщил Эсе, чем в настоящий момент занят, — я совершенно убежден, что дед был жив еще в сорок третьем году, за хрестоматийным кадром (старый еврей со скрипкой под дулом немецкого автомата) последовал кадр, неведомый нам, свершилось чудо — *nes gadol haја kan* — вот так же персонаж другой, не менее знаменитой фотографии, семилетний мальчик в кепочке, с поднятыми ручками, — ведь выжил же, проживает же сейчас в США. Я описал совпадение автографов — тот же скрипичный ключ с рожицей, та же подпись, с этого все началось. Потом рассказ слепого флейтиста об одном немце-скрипаче из России, по фамилии Готлиб, «в последнюю секунду спасенном нашими солдатами, — русские, перед тем как оставить город, расстреливали всех проживающих в нем немцев» (представляю себе выражение Эсиного лица в этот момент). Деду — а я повторяю: это был он — всячески покровительствовал Кунце, они ведь действительно в молодости были знакомы и даже дружили. В довершение всего я читал письмо, в котором Кунце пишет одному дирижеру, активному нацисту, про некоего «Й.», сравнивая его чуть ли не с Иисусом Христом, а себя, вернее, свою жену Веру, с Лазарем — или кому там Иисус Христос говорит: встань и иди. У них тогда как раз погибает сын.

Закончил я на «шутливой ноте»: скоро Кунце будет не только исполняться в Израиле — скоро Эсе еще предстоит посадить деревце в его честь в Аллее Праведников.

Я с нетерпением ждал, что она ответит.

На ловца и зверь бежит — так, по народной пословице, первый же разговор, услышанный мною в театре, касался недавнего события в О***. (На сей раз не хочу

это не чужое для российского слуха название заменять очередным опереточным титулом. Я уже достаточно потрудился в этом направлении, раз даже святыми мне послужил мифологический словарь — только бы замести следы, только бы скрыть истинных участников моей истории, что практически невозможно ввиду всемирной известности одного из них. Заметай не заметай — как все еще учат в немецких гимназиях: sapienti sat.) В О*** главный дирижер тамошнего театра — на редкость симпатичного, в войну на него не упало ни одной бомбы — после представления «Валькирии» вместе с выступавшей в заглавной роли певицей сел в автомобиль; за ночь они достигли Альп — О*** лежит на севере — и там лишили себя жизни. Не перевелись еще души, подобные Клейсту и Адольфине Фогель. Тут я напомнил, что и Кунце...

Кунце? Ну да. Но там была проигранная война, а он был матерым нацистом.

Интересно, это было сказано в расчете на мои уши или без меня формулировка была бы той же? Помню, когда в Израиле я видел на афишах американских суперменов в форме US Army, взрывающих колонны бронетранспортеров со свастиками, я даже не сомневался, что данная продукция в Германию не поступаст. Публика не может наслаждаться одними чудесами пиротехники, она должна болеть за кого ей велят, т.е. сочувствовать американцам и видеть врагов в немцах. И что, пожалуй, первое поразило меня в Западной Германии — еще когда в ожидании назначенного мне Ниметцем часа я пошел побродить по испугавшему меня тогда своим благополучием Циггорну: на афишах те же горящие бронетранспортеры с крестами и те же молодцы-американцы. Поздней я понял: это не частность, немцы приучились смотреть на себя чужими глазами, Германия из мужчины превратилась в женщину.

Это по поводу того, назвали бы они Кунце между собой тоже «матерым нацистом» или как-то иначе — патриотом, идеалистом. Вскользь я заметил, что послед-

ние годы жизни он, кажется, провел неподалеку отсюда, в Бад Шлюссельфельде. Не кажется, а точно. Вот где красивые места. Фолькер, помнишь, как мы... Рассказывается охотничья история из жизни бывалых «мутге-майстеров», в заключение которой я узнаю, что в Бад Шлюссельфельде и по сей день живет невестка Кунце, в том же самом доме. Старая? Лет шестидесяти — но все еще красивая женщина, а, Фолькер? Фолькер, молча кивая, натягивает волос на смычке. И дом красивый, в самом парке.

Как быть теперь? Все равно у меня было несколько спектаклей подряд, и я почти до самого Рождества был прикован к Циггорну, как раб к тачке. Единственное, что я мог и что сделал (повторяю, вместо того, чтобы прочитать книжку под названием «Готлиб Кунце. Жизнь и судьба» — или аналогичную ей), это набрал 1188 и попросил в Бад Шлюссельфельде номер телефона фрау Кунце, имени не знаю... нст, не Виллибальд, а *фрау* Кунце. Только Доротея? Отлично (звучит по-княжески, — наверное, она. Двумя часами позже, в театре, мне это кто-то из людей сведущих подтвердил).

Позвонить, извиниться и представиться — на хох-дейч — концертмейстером циггорнского оркестра и, по счастливому совпадению, внуком школьного товарища великого маэстро, того самого, которому он в сорок третьем году... Не зная характера этой дамы, не владея немецким настолько, чтобы изъясняться без «побочных эффектов», с другой стороны, лишенный возможности (по телефону) нейтрализовать их — взглядом, жестом, не знаю — «шмисом» в пол-лица, я рисковал быть занесенным в черный список еще прежде, чем объясню причину своего звонка. А черный список — это пожизненно.

Заручиться рекомендацией почетного гражданина города Циггорна Кнута Лебкюхле — соврав ему, что пишу книгу? Не даст, только в глупое положение себя поставлю — кто я такой, чтобы писать книгу? Написать ей письмо на хохруссиш и воспользоваться услугами

бюро переводов — где его переведут на немецкий по обменному курсу? Для этого надо как минимум иметь ее адрес.

Пример того, что значит правой рукой чесать левое ухо: чтобы раздобыть адрес, нужна телефонная книга Бад Шлюссельфельда, а за телефонной книгой Бад Шлюссельфельда нужно схать в Бад Шлюссельфельд. Рассуждая так, я немножко играл сам с собой в кошки-мышки: если домашний адрес Доротен Кунце мне действительно в официальном порядке никто никогда не даст, то, ей-Богу, чтобы узнать, по какому адресу проживал в Бад Шлюссельфельде Кунце, вовсе незачем туда ехать. Так незачем схать в Бонн, чтобы узнать номер дома, в котором жил Бетховен. Просто мне, вопреки здравому смыслу, захотелось съездить самому, побродить там, проверить на свет воздух: не различу ли какие водяные знаки?

Двадцать первое декабря, воскресенье (день рождения моего тезки, Иосифа Сталина). Уже начались школьные каникулы. Общее копошение (в городе, на вокзале, плотность пассажиров в вагонах) втрое больше против обыкновенного. В вагоне я стоял, потому что садиться не было смысла, даже если под носом появлялась вакансия: все равно через пять минут ее пришлось бы уступить достойнейшему. К слову сказать, в Германии это не очень-то практикуется, во всяком случае, не предписывается кодексом чести, как в России. Объясним это по-научному: «отчуждением поколений». Не без удовлетворения подчеркивается ведь, что немецкая молодежь не имеет ничего общего с поколениями отцов и дедов. Поэтому всякий раз, уступая последним место, я как бы демонстрировал те политические взгляды, которые в действительности менес всего разделял.

Иными словами, два часа я простоял. Это был пригородный состав, серебристо-закопченный металл его вагонов наверняка связывался у кого-то с серыми буднями ежедневных поездок на работу и с работы. Нависая над парюю сидящих друг к другу спиной пассажиров и

держась за поручень меж их затылков, я какое-то время читал роман женской писательницы Марты Степун «Holzwege», как говорилось в аннотации, о проблеме выбора, вставшей внезапно перед вдовой богатейшего лесопромышленника, шестидесятилетней еще красивой Доротеей — почему я, собственно, и купил ее в вокзальном киоске: а вдруг это знак. Я с некоторых пор мистик.

Это был знак: не покупать книги в вокзальных киосках, по крайней мере принадлежащие перу женских писательниц. Спрашивается, как теперь поступить с этим кирпичом — еще час держать в руке, чтобы потом выбросить? На окошке круглая наклейка: бутылка, перечеркнутая красной чертой, то есть швыряться из окна запрещалось только бутылками, книжками — пожалуйста. Но это было бы провокацией с моей стороны: с извинениями протиснуться сквозь четыре пары коленок и — приоткрыв окно, вышвырнуть книгу, а затем, так же роняя направо и налево извиняющиеся улыбки, вернуться на прежнее место. Вполне приличного вида господин. Хотя, согласно высказываниям теоретиков искусства и морали, *провокативность* — это замечательно, я все же убежденный противник провокаций — с тех пор, как еще в детстве мне объяснили: дразнить других — это так же дурно, как мучить животных (у мамы шляпка с вуалью, местная шпана что-то кричит нам вслед. Я почти никогда не вспоминаю маму. Наверное, по малодушию. Мне тягостно сознавать ее правоту).

Извиняясь, протискиваюсь к окну под удивленными взглядами трех пассажирок и одного пассажира и кладу сочинение женской писательницы на полку — с тем, чтобы там его забыть. У одной из пассажирок — с внешностью продрогшего гаммельнского крысолова, в соответствующей одежде — к груди приколот круглый значок: какая-то надпись поверх кирпичной стены. Я даже не стал читать какая. Раз в трамвае я уже пытался разобрать, что написано у одной дыры на рукаве куртки под нашивкой, изображавшей двух оленей, — буквы были интригующе микроскопические, вследствие чего скан-

дально сократилось расстояние между моей физиономией и чужим локтем, который вдруг с силой двинул мне в нос. Наконец прочитанная надпись гласила: *Natur-leben**.

Мы в Бад Шлюссельфельде. Поезд ехал дальше, а я пошел куда глаза глядят. Или почти туда. Выйдя со станции, я увидел стрелки с разными направлениями: кургауз, большая градирия, исторический музей, ратуша, Дом Зайтца (какая-нибудь историческая достопримечательность), торговый центр — указывавшие в одном направлении, и только одна стрелка, с надписью «Шютценвальд», указывала в противоположную сторону. Был ли Шютценвальд тем самым парком, где стоял дом Кунце, — или в Бад Шлюссельфельде имелся еще один парк, который так и назывался: «Парк»? У немцев ведь всему есть название. Когда, впервые попав в Оллендорф, я спрашивал, как пройти или просхать в оперу, мне никто не мог ответить. На мое счастье, я увидел человека со скрипкой, и мы, как две собаки, обнюхав друг друга, выяснили: нам в одно и то же место, именно, однако, в Оллендорфе не оперой и не оперным театром, а городским театром. Я так мог до завтра искать оперу — местные жители такой не знали. (Это не иллюстрация тупости, отложения солей в мозгу, выпад против «немецкого идиотизма» — как может показаться на первый взгляд. Это посложней — в конечном счете это пример того, чем грозит нам «компьютеризация мышления», в чем немцы, благодаря своей высочайшей лингвистической организации, способной «инвентаризировать» все на свете, обогнали и нас, русских, и других смекалистых варваров, смекалистых, благо при нашей безалаберности по любому поводу нам приходится изобретать велосипед.)

Поэтому бесполезно было у кого-нибудь спрашивать: скажите, Шютценвальд и парк — это одно и то же? Но не сделал я и двух шагов, как увидел спаситель-

* Жизнь по законам природы (нем.).

ный стенд с картой города, — вот и охаивай цивилизацию! Бегло ее изучив, я решил прогуляться в Щютценвальд.

Я шел по аллее вдоль речки, вероятно, в другое время года не такой полноводной, к которой спускался жухлый газон; на другом ее берегу вставал облетевший лес. Морозец, слегка ударивший в начале декабря, сменился теперь влажным нехолодным ветром. Под ногами стало грязней, зато воздух сделался ароматней, а для меня, человека, в кои веки раз выбирающегося на природу, всего ценней последнее. В глубь леса уходили пронумерованные дорожки: маршрут номер один, маршрут номер два и т.д. С моего, обжитого людьми, берега, просторно застроенного старыми особняками — все больше частные лечебницы, о чем говорилось в табличках на воротах, — на ту сторону, в парк, вели редкие бревенчатые мостики. Я постоял, перегнувшись через перила, на середине одного из них. Посмотрел на воду, проносившуюся назад. Отмотать бы эту речку на тридцать три года в обратную сторону, — собственно, за этим я здесь.

Постройки закончились. По всем признакам, и на этом берегу дальше начинался лес. За все время мне не повстречался ни один человек, мимо не проехала ни одна машина. Было около трех часов серого декабрьского дня, когда вот-вот уже становится темно, — а я: воздух проверить на свет... Но сколько настроения в этом сумеречном лесе, реке, меланхолических деревянных мостиках, редких скамейках для пожилых молчащих пар. Тридцать три года назад было все то же, только тебя — узнай, кто ты, — затолкали бы в автомобиль люди в одинаковых пальто и шляпах, страшные не понарошке, не как в кино, — неотвязчивая мысль об этом, как противоестественное влечение, лишь усиливает очарование места.

Заасфальтированная аллея привела меня к конной статуе, но не какого-нибудь усатого военного: словно из дикого леса — так было задумано — вылетал на опушку, в рогатом шлеме, на приземистой кобылке, свирепый

бородач, дабы поразить копьём настигнутого вепря. Никакой аллегии — жанровая сценка в чугуна времён Вильгельма Мудрого.

На этом асфальт не кончался, и вскоре лесок расступился снова. Аллея протекала под узорные решётчатые ворота и впадала в небольшой двор, мощный крупным булыжником, по которому могла смело лет двести назад гроыхать золоченая карета. Это была имитация, сам дом принадлежал другой эпохе: когда облицовывали цветной фаянсовой плиткой средневековые церкви, когда венецианские окна преспокойно уживались со сторожевыми башенками по углам. Однако, чтоб при этом по всему фасаду тянулись югендштилевские стебли, такого я ещё не видал.

Вилла Кунце напоминала его музыку: если даже и была задумана как пародия на китч, то слишком уж тонкая, чтобы годы не стерли эту внятную лишь современникам разницу между оригиналом и кривоватым зеркалом. Кунце словно не хватает духу открыто признать свою принадлежность к известному культурному направлению, он как бы над ним подтрунивает. (Иначе почему бы ему не предпочесть баухауз — водил бы знакомство с Арнольдом Цвейгом и вообще с тридцать пятого года уже преподавал бы композицию в Йельском университете.) Пародийность позволяет ему делать то, на что не отважился бы ни один из его «всерьёз» творящих оппонентов. В этом разгадка феномена Кунце, умевшего как никто другой сочетать доступность с эстетизмом.

Было бы, конечно, забавно после всех этих построений убедиться, что неверна их отправная точка: в этом пряничном домике жила совсем не та ведьма. Но нет, та — на воротах, между звонком и щелью почтового ящика, на медной дощечке выгравировано: «Д.Кунце». Как это вышло, я не знаю, но я звоню. Дальше все выглядело как в пущенной вспять киноленте. Осколки вдруг быстро стягиваются к своему невидимому средоточию, миг — и перед тобой целое. Черненький «фолькс-

ваген-раббит» во дворе, с номером, начинающимся с ЦИ (Циггорн), в заднем окне наклейка в виде сардельки, на которой написано: «Вольный имперский город Цвейдорферхольц», в интеркоме явно голос подростка.

Меня озарило. Привет, Тобиас, бабушка дома?

И-не...Тобиас Кунце высовывается из-за двери с таким видом, будто сейчас шесть утра и его разбудили — посмотреть, кто это. Ничем не отличается от своего друга, велофигуриста Дэниса Рора: тот же зеленый тренировочный костюм, та же зеленая тоска написана на физиономии, все на свете надоело, по телевизору передают глупости.

Сумерки. Да и мало ли бабушкиных знакомых, которые его помнят, он же их — нет. Я захожу в дом. А где мама? Ясно, что он приехал только с мамой — в Цвейдорферхольце папы в таких «фольксвагенах» не сдзят.

Мама здесь, что мне угодно? От неожиданности чувствую, как плечи у меня начинают подниматься, — вор, пойманный с поличным. Впрочем, брови у нее при этом не так уж и сведены — на слух; а иначе как по звуку голоса я судить не мог: в прихожей было темно (что-то с лампой — она извинилась), только в большом зеркале отражалась далекая полоса света из-за приоткрытой в комнату двери — все-таки расстояния внутри этого дома довольно внушительные.

Младшая фрау Кунце (невестка невестки) еще меньше своего сына склонна видеть во мне незваного гостя — раз Тобиас меня знает... Невозможность, ввиду моего акцента, определить мою кастовую принадлежность, делает ее любезней, чем это было бы в случае появления на пороге известного промышленника-мецената — или кто здесь может на самом деле бывать, вдова прославленного костоправа из дома по соседству? Не знаю почему, но я сразу же представил себе одну из героинь Маргареты фон Тротты в подобных обстоятельствах — есть в Германии такая женщина-режиссер, разрабатывающая типаж ибсеновской Норы. Я вообразил перед собой «сердитую интеллектуалку» машинально: мыслю шаблонами. Потом,

если уж так остро стоит в Германии проблема отцов и детей, то что же в таком случае творится у свекровей и невесток? Но вообще-то университетское бунтарство плохо сочетается со статусом супруги врача из Цвейддорфхольца. Ну, посмотрим.

В освещенной гостиной, где «все настоящее» (и этим ограничусь — я не мастер описывать «настоящий» интерьер), подтвердилось в чем-то мое предчувствие насчет ибсеновской Норы: она и впрямь не такая уж мужняя жена, эта рослая немка, подстриженная как английский газон, без единой капли краски — как на коже, так и в одежде, не считая унизированной пестрыми шариками нитки вокруг запястья, — теперь ведь наоборот, африканцы снабжают европейцев бусами.

Я назвался. Я к фрау... Ее свекровь должна скоро вернуться, странно, обычно она пунктуальна, если договаривается о встрече, — по-немецки пунктуальна (насмешливо прибавила она, как бы беря сторону иностранца, а вот откуда — поди пойми).

Сказать, что ни о какой встрече со мной никто не договаривался, просто я — наглый израильтянин? Повременю, сознаюсь только в последнем грехе. (В последнее время по телевизору поругивают Израиль; наш циггорнский театр, всегда держащий нос по ветру, даже поспешил инсценировать гснделевского «Исффая» в духе времени — об этом позже.)

Чтобы что-то сказать, говорю о своем открытии, которое может в корне изменить традиционное отношение к Кунце как к личности, — я имею в виду его активную пронацистскую позицию. Она меня перебивает: «пронацистскую позицию»? Да он был просто нацист до мозга костей. Ну, или так — как ей должно быть известно, в Израиле, например, музыка Кунце именно поэтому не исполняется, и все попытки Израильской филармонии сыграть что-нибудь из его сочинений наталкиваются на упорное сопротивление среди пострадавших от нацизма...

Ах, так я израильтянин? Кому бы она сегодня не очень советовала читать морали, так это израильтянам.

Что вы делаете с палестинцами? Видел ли я вчера передачу по первой программе? После того, что там было показано, о чем израильтяне смеют вообще говорить? Этот ребенок, не старше Тобиаса, который рассказывает, как его пытали...

Я почувствовал: еще минута, и меня выставят с клеймом детоубийцы.

Как я могу это оправдать? А почему я этот ужас должен оправдывать? По телевизору еще не все показывают — она ведь понимает, что по телевизору еще не все показывают? Израиль — это страшно: идея избранного народа, обретшая структуру государства, — чем не формула нацизма, кстати. Позволить создать государство людям, объединенным не этнически, не культурно, а лишь манией своей избранности — это было в свое время безумием. Евреям противопоказано свое собственное государство, тут я полностью согласен с Ясиром Арафатом. На самом деле только страх перед израильским гестапо мешает мне примкнуть к ООП.

Я уже, наверное, с полминуты как молчу. И она молчит — под английским газоном царит некоторая растерянность.

Нерешительно: но в Израиле все-таки многопартийная система... выборы, парламент...

Блажен, кто верует в израильскую демократию! Нет, я прошу ее: только не надо Израиль защищать. Понятно, в ней как в немке говорит чувство вины перед евреями. Но это чувство следует заставить в себе умолкнуть — чтобы не погиб другой народ, ради того мальчика, ровесника Тобиаса.

Ей это что-то подозрительно. Ну, конечно! Она все поняла. Во всех странах честным людям свойственно немного «выходить из берегов» — разве сама она никогда не говорила, что живет в полицейском государстве? А послушаешь русских диссидентов — так у них там такое творится... А я — честный израильтянин. На самом деле она понимает: Израиль и нацистская Германия — это не одно и то же. (Точка. Суждение окон-

чательное, хотя и принятое не без колебаний. И на том спасибо.)

Мы возвращаемся к прерванной теме. Что же относительно Кунце? Я объясняю, что. Я всегда очень любил Кунце, и всегда было тягостно сознавать, что автор «Обмененных голов» был тем, чем он был, — то есть для меня его музыка, пользуясь выражением одного поэта, ворованный воздух. Нееврейю это чувство незнакомо: знать, что не для твоей души предназначалось то или иное послание духа, будь это баховская литургия или проза Достоевского — словом, действительно воздух... Но когда вдруг выясняется, как в случае с Кунце, что это ошибка, недоразумение, что и ты мог быть вполне адресатом его изумительных сочинений, — без преувеличения, дышится иначе.

Какой же факт из биографии Тобиасова прадеда (а все-таки не гордилась бы сим обстоятельством — так бы не сказала) произведет столь благотворную перемену в его репутации, — может быть, мне удалось выяснить, что он состоял в «Белой розе»? Сейчас в Федеративной Республике подобные открытия делаются повсеместно.

Она напрасно иронизирует. У меня есть все основания считать, что Кунце во время войны спас — во всяком случае, пытался спасти — одного музыканта-еврея из Восточной Европы.

Не знаю, как немцы транскрибируют то паровозное междометие, которое издают (в частности, она в данный момент), желая показать, какая это все чушь, — то, что сейчас ими было услышано, или прочитано, или увидено. Неужели это для нее так несущественно? Нет, у каждого нациста был свой еврей. О, здесь я позволю себе не согласиться. Надо думать, что в Германии было больше чем шесть миллионов нацистов? (Ее реплика: надо думать — их и сейчас больше.) Значит, будь у каждого свой еврей, некого было бы посылать в газовые камеры. Это выдумки — про «своего еврея». Всякий спасший еврея немец должен быть назван. Это важно для Германии. Дело не в попытке создать минимальный психоло-

гический комфорт для себя (я имею в виду немцев), но, если она помнит, в Библии — там есть такой эпизод, когда Авраам спрашивает у Бога: не может ведь быть, чтобы Ты, Судья всей земли, погубил праведника вместе с нечестивцем, — ради пятидесяти праведников Ты пощадишь это место? И Бог отвечает: ради пятидесяти пощажу. А ради десяти? ради десяти, говорит Бог.

Ей все же трудно себе представить, зная свою свекровь...

Ну, здесь свекровь ни при чем — хотя как раз знать обо всем Доротея Кунце должна была, это происходило у нее на глазах. Разве что и внутри семьи не все были посвящены в тайну некоего скрипача из Ротмунда, нередко гостившего здесь (да, в этих стенах!).

Но сама Вера Кунце, свекровь ее свекрови, она же была патологическая антисемитка, как большинство обращенных (и вот такое важное сообщение я пропускаю мимо ушей). Экзальтация, охватившая чету Кунце в конце войны, их самоубийство — это все плохо увязывается со спасением евреев. Образ немецкой смерти: Тристан и Изольда, Брунгильда, исчезающая в пламени после гибели Зигфрида, — вот что в этом доме всячески культивировалось (мне вспомнился дирижер из Ольденбурга — ах ты, черт, проговорился-таки!.. — со своєю сопрано). Знает ли хозяйка, с чем я пожаловал? Она готова поспорить, что моя благая весть будет встречена без особого восторга.

Поскольку наметилась как бы атмосфера сговора за спиной престарелой дамы, я признаюсь, что мой визит нанесен экспромтом, — она же меня не выставит? Но откуда тогда Тобиас меня знает? Он меня и не знает, это был маленький трюк с моей стороны.

Это ей не понравилось. Трюки — с детьми... Однако такое упорство, неужели меня так волнует реабилитация немецких праведников, неужели все — только чтобы слушать Кунце в условиях большего психологического комфорта? (Эк она меня.)

Не только. Человек, которого Кунце спасал, — мой

родственник. Присмирела. Отец? Нет, у меня никогда не было отца, я даже не знаю его имени. Это мой дед. Показываю фото, но не в «облегченной редакции», а оригинал — на всякий случай у меня оба снимка при себе. Но она знает это фото! И я хочу сказать, что это мой дед? И его Кунце спасал? Да, абсолютно точно.

Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Она разволновалась — даже огрызнулась на Тобиаса, в этот момент прибежавшего с какой-то глупостью: мама, по телевизору показывают... Отбритый, Тобиас побрел к себе, но тут же вернулся: можно ему пойти в «Микки Маус Центр»? Иди, иди... Йо-хо!

Я обратил внимание — пряча мою фотографию, — что на стенах нет ни одного портрета Кунце (между нами, я его никогда не видел). Я-то думал, что все будет запружено его изображениями, реликвиями всякого рода. Я не прав, так оно и есть. Здесь все — реликвия, я даже не подозреваю, насколько. А что касается изображений, если я хочу... Вот, специально для гостей — она взяла действительно лежавший под рукой непомерной толщины альбом, с застешками как на семейной Библии двухсотлетней давности. Это только видимость семейного альбома, его показывают исключительно гостям.

И верно, альбом представлял собой тщательно отобранный фотографический официоз семейства Кунце. Родители, детство, близнецы — из-под одинаковых соломенных шляпок одинаковые локоны, и не различить: где брат, где сестра (утонувшая вместе со своим мужем и тремя дочерьми, катаясь на лодке летом, в канун первой мировой войны — мини-«Титаник»). Я любил старые фотографии, поэтому внимательно их рассматривал. Кунце, юный гений, стоит, опершись о крышку рояля; задумчиво повисла кисть. Судя по цветочному вазону и тяжелой портюре позади, снимок был сделан в ателье — сейчас выйдет на улицу и увидит извозчицы пролетки, котелки, мелькнет — и не одна — цилиндрическая офицерская фуражка, воздух еще добензиновый,

конский, люди чище выбриты, но хуже помыты, женщины по утрам привыкли иметь дело с уймой крючков. Фотохудожник Штрмас, Вена, конец прекрасной эпохи.

Безумный взгляд, распущенные волосы, босая, в руках тирс — вакханка. Та же Вера Кунце, закатив глаза, вдыхает аромат цветов — здесь каким-то движением она мне напоминает маму, та точно так же нюхала цветы — заведя глаза. Снова Готлиб Кунце: в римской тоге, простирая руку в приветствии, связывающемся в нашем представлении отнюдь не с Римом. Он же, завернувшись в плащ, держит в левой руке череп, на который в глубоком раздумье взирает. Подпись к снимку: «Кунце внимает вечности». Все удивительно глупо (впрочем, когда-нибудь такой же приговор вынесут нашей «неконвенциональной» эстетике). Далее череда карточек, представляющих Веру и Готлиба Кунце снизошедшими до «мещанских радостей». Молодая мать над колыбелькой, стилизованной настолько, что, возможно, пустой. Но почему в Португалии? Оказывается, Клаус родился в Португалии, куда молодожены «удалились» на несколько месяцев, — это было вскоре после продолжительной гастрольной поездки Кунце в Аргентину, где у него произошла печально знаменитая встреча со Стравинским: их познакомили на представлении «Весны Священной» в театре «Колонн», и Кунце, экспансионист по натуре, незамедлительно принялся развивать перед Стравинским какие-то эзотерические теории, которыми всю жизнь увлекался. Стравинский с умным видом слушал — только при этом бросил кому-то по-русски: «Бред сивой кобылы сентябрьской ночью». Нашелся, однако, доброхот, который потом Кунце это перевел, — итог известен: Кунце пишет комическую оперу «Крещение Руси».

О, этот самый дом — за оградой, где сейчас стоит «фольксваген-раббит», машина года сорокового, а так ничего не изменилось. А что (мне приходит вдруг в голову, что, в отличие от тех благословенных времен, ста-

руха-то живет здесь одна-одинешенька), фрау Доротея не боится жить в одиночестве? Оказывается, не совсем в одиночестве, позади дома есть пристройка, и там всегда живет супружеская пара.

Перелистываю страницу. Две большие фотографии, расположенные колонкой, как виток по спирали времени, — на нижней, слева направо, Вера Кунце, ребенок, сам Кунце; на верхней то же самое. В обоих случаях перед младенцем тарелка, а у Кунце в руке ложка. Только верхнего младенца зовут Клаус, нижнего — Инго. Странно, а что, Кунце... вспомнив кормление Глазенаппа, я хотел что-то спросить — что-то меня смутило, но она перебила: удивительно, как за двадцать лет эти двое ни капли не постарели, те же лица, можно подумать, что монтаж. Но это же специально — свет так падает, а умелой светотенью можно на двадцать лет человека составить и на десять омолодить.

За свою недолгую жизнь Клаус был: членом гитлерюгенда, молодым человеком с альпенштоком на фоне горного озера; женихом (подле невесты, скоро увижу ее — сравню); отцом парящего высоко над головой полугодовалого младенца; военным корреспондентом с болтающимся на груди, как полевой бинокль, фотоаппаратом — после польской форма вермахта (офицерская) самая молодцеватая в Европе. Последняя фотография этого счастливого сделана на аэродроме в Феодосии перед вылетом в «Bobrujsk», где его будет напрасно ждать возвратившийся из отпуска кузен Вилли (Вилли Клюки фон Клюгенау, кузен его жены Доротеи, тоже фон Клюгенау в девичестве), чтобы лично передать ему письмо от матери, — оно так навсегда и осталось нераспечатанным, это письмо: пожелтевший конверт, в котором оно хранится, как мумия в саркофаге, вклеен в альбом.

Были еще кадры «непреходящего культурно-исторического значения»: Готлиб Кунце в Оксфорде, в шапочке и мантии; в Верхней Баварии, в обществе господина, поздней повешенного; на репетиции «Крещения Руси», что-то объясняющий Элизабет Шварцкопф — исполни-

тельнице роли Св. Равноапостольного Великого князя Владимира. И т.д.

Во всю последнюю страницу фото: две могильные плиты — согласно завещанию, одна белая, другая черная. Белая — Готлиба Кунце, с эпитафией:

Боги меня пощадили,
Смертный меня сразил.

На черной надписи не разглядеть. Я спросил, есть ли она вообще. Честно признаться, она не помнит, ее это так раздражало всегда.

Ну как, интересно? Не хочу ли я кофе? Чаю? В принципе, почему бы и нет (интересно, какие чашки). Но прежде я с чисто немецкой прямоотой спрашиваю, где здесь «кло». В Германии на такие вещи очень здоровый взгляд, если сравнить с Россией, где гость, вынужденный спросить хозяйку о местонахождении туалета... да нет, он просто не будет спрашивать, а, выскользнув тенью из комнаты, начнет тыкаться во все двери — и будет прав: мне рассказывали случай, как боготворимая неким поручиком особа оказалась бесповоротно низринута с небес, когда на прогулке вынуждена была уединиться в небольшом павильоне посреди Летнего сада. Ничего удивительного, что влюбленный в Марину Гриша (14) на ее дне рождения украдкой помочится на лестнице, поскольку дверь в туалет постоянно находилась в поле зрения предмета его воздыханий.

Слава Богу, мы в Германии! Туалет помещается в прихожей слева, вторая дверь. Но там нет света, в прихожей (там-то лампочка работает). Лучше она меня сама проводит. Лишнее? Дверь чтоб я из комнаты открытой оставил. (Кстати, у Набокова встречается пример российской «туалетной» застенчивости; я его пересказывать не буду — да и кто его не помнит! А кто не помнит, пусть перечитает эпизод с полковником Таксовичем в «Лолите».)

Я на секунду задержался против зеркала в полосе света. Одновременно звук открываемой в темноте наружной двери — и позади моей физиономии в зеркале

мелькнуло совершенно сюрреалистическое лицо; в следующую мгновение что-то валится на пол.

Я кинулся за помощью в комнату. Скорей! Скорей! По-моему, она вернулась, и я ее до смерти напугал.

Общими усилиями мы дотащили Доротею Кунце до ближайшего кресла. Она пришла уже в себя, закрыла лицо руками — совсем по-другому, нежели когда-то Эся, так скорее закрываются от фоторепортеров. В щелки этого опущенного забрала я видел поблескивание разглядывающих меня глаз. Худшее начало для знакомства трудно себе представить.

Внезапно — словно украдкой накопив силы — она встала и быстро вышла из комнаты. Как-то мне надо было ей все же объяснить... Но она сама, прежде чем исчезнуть, сказала — спиной, не оглядываясь — обращаясь по имени (не ко мне, естественно): Петра... голос срывающийся... Через пять минут вернусь, понятно?

Что понятно? Как это надо понимать — мне подождать, или чтоб Петра к ней сейчас не входила? Петра... Значит, вот как вас зовут.

Объясняю, как это произошло: та входит — темно, только в зеркале голова — как привидение. Но Петре все же странно: чтоб ее свекровь валилась в обморок при виде привидений? Да она ни в какие привидения не верит. Вот именно, не верит — а тут привидение, она от неожиданности и грохнулась. И как мне теперь себя вести — не знаю. Я жутко неловко себя чувствую — испугал старую женщину. Старую?! Чтоб я не вздумал даже вот столечко дать ей почувствовать, что считаю ее старой. Да она...

Она возвратилась.

5

Нет, это не она, я увидел женщину, ничего общего не имевшую с только что полулежавшей в этом кресле. Читатель, наверно, хоть раз смотрел тот мюзикл, который я уже ни видеть, ни слышать не могу — *My fair Lady*, — и помнит сцену появления Элизы Дулитл перед отъездом на бал. Преображение Доротеи Кунце было равноценным, я беру назад свои слова про вдову костоправа, с которой ей только-то и осталось коротать время. Вошла чертовски эффектная женщина (тип Зары Леандер, хотя эта роль — многолетней вдовы юного офицера, урожденной фон Клюгенау — скорее бы подошла Марлен Дитрих), по виду — не старше пятидесяти, по моим расчетам — чуть меньше шестидесяти. И конечно, голос — таким надо петь «Хабанеру» (в одноименном фильме), а не изъясняться прусской аристократке... Короче, при вторичном появлении Доротеи Кунце хотелось воскликнуть: черт возьми! А женщины мгновенно это чувствуют, они же хищницы успеха, произведенное ими впечатление — это их пища, их добыча.

Она извиняется за то, что меня напугала. А он-то вообразил, что все наоборот, — «выдает» меня Петра; ее она называет «швигермуттер» — он-то вообразил, что швигермуттер приняла его за привидение. Привидение... в самом деле? Я считаю, что похож на привидение?

Ну... может быть, на призрак Банко я и не похож, а так, на кого-нибудь попроще, в качестве потомка какого-нибудь старого еврея, сожженного на костре... Готлиб. Прошу прощения за внезапное вторжение, но дело, по которому я прибыл («прибыл», а не «пришел» — я хранил какое-то подобие инкогнито), совершенно удивительное, я бы сказал, сенсационное.

Петра идет готовить еще ранее обещанный мне чай — как раз вовремя: на дворе фэйф-о-клок. Она уже все это слышала, ей интересней послушать, что ответит мне швигермуттер (а пока что можно заварить чай). Я искушен все-таки по части взаимоотношений свекрови с невесткой — последняя, со всей кажущейся эмансипированностью, не на шутку пасовала перед свекровью — еще бы, это тебе не моя мама; вот и хотела позлорадствовать, глядя, как та будет перед кем-то пасовать сама. Я только не понимал причин: почему так уж должна прийти не по душе в этом доме моя — по выражению Петры — «благая весть»? От нее пострадала бы репутация Кунце-нациста в кругу затаившихся единомышленников, к которому принадлежала и сама Доротея Кунце? Нет, этот сюжет оставим для немецкой сатиры пятидесятих годов.

Я положил перед ней на широкие подлокотники кресла по фотографии (как будто магически приковал ее ими). Это довольно известное фото — мне об этом ей говорить не надо. Чего она, возможно, не знает: оно было обнаружено в обломках сгоревшего немецкого самолета. Самолет сгорел вместе с экипажем, но промыслом Божиим эта карточка уцелела, став в сознании человечества одним из символов еврейской трагедии...

Еврейская трагедия! Для всех существует только еврейская трагедия — Боже упаси вспомнить о немецких слезах. А разве у экипажа этого самолета не было матерей, жен, детей? Ведь даже имена этих людей неизвестны, не так ли?

Боюсь, что так, — сделавший эту фотографию навсегда останется безымянным; кто знает, из каких по-

буждений он снимал, — может быть, хотел сохранить для потомков правду о трагедии... Тпрр! Я прошу простить мою бестактность: говорю исключительно о еврейской трагедии в доме, где уже тридцать пять лет не снимают траур... но сейчас она все поймет — почему я об этом говорю именно с ней, я повторяю, у меня есть совершенно сенсационное сообщение.

Она извиняется в свою очередь и просит продолжать. Продолжаю. А на этом снимке крупным планом лицо того же самого человека. Шляпа, к сожалению, надвинута на глаза — наверно, сбилась, задел футляром, когда поднимал руки. (Лицо под съехавшей шляпой не выражало ни страха, ни каких-либо иных сильных чувств. Объектив выхватил — и удержал — миг, частности, тогда как лишь из череды таких мгновений складывается знакомый нам обобщенный образ: ужаса, радости, боли; в отличие от фотографий, на полотнах художников такие мгновения условно сведены воедино.) Это мой дед, единственное сохранившееся фото — вот как бывает. Йозеф Готлиб — мне кажется, это имя ей должно быть знакомо. Я одновременно и Гамлет и Горацио, она — Клавдий; пьеса «Мышеловка, или Убийство Гонзаго». Ну конечно, всякому мало-мальски знакомому с биографией Готлиба Кунце имя этого австрийского скрипача не может не быть известно. Так, выходит, я внук «маленького Готлиба»? А это он сам... Гм, какие удивительные бывают на свете совпадения — она провела рукой по лбу.

Но самое невероятное впереди, если только она действительно не знает, о чем идет речь, что, признаться, для меня удивительно — ведь следующий акт трагедии... или так: один из следующих актов (я всего еще не знаю) разыгрался здесь, в этом самом доме, в сорок третьем году. То есть у нее на глазах. Вы действительно ничего не знаете?

Нет, она совершенно не представляет, что я этим хочу сказать. Ее глаза полны недоумения, которое, правда, дешево стоит, — что оригинал, что подделка.

Тогда я повел свой рассказ. Дед остался в Харькове, и для всей нашей семьи (семьи! пусть думает, что нас еще много) было очевидно, что погиб. Эта фотография, когда о ее существовании стало известно, ужаснула нас своей наглядностью, а в остальном — ничего другого мы и не ожидали. Но вот я узнаю, что Йозеф Готлиб в 1943 году работал в опере в Ротмунде, неподалеку отсюда; мало того, он был в тесном контакте с Готлибом Кунце, который его, попросту говоря, спасал, пользуясь своим именем и связями. Среди коллег-музыкантов мой дед выдавал себя за русского немца, которого наступавшие немецкие части буквально вырвали из лап большевиков, собиравшихся его — и подобных ему — вот-вот уже расстрелять. Без Кунце, конечно, столь примитивную легенду не приняли бы на веру те, от кого зависело поддерживать порядок, как он понимался в третьем рейхе. Однако дед чувствовал себя за его спиной настолько в безопасности, что мог позволить себе ссориться — публично — со своим шефом Карлом Элиасбергом, человеком деспотичным, беспощадным с неугодными ему музыкантами, в придачу членом партии, но трепетавшим перед великим Кунце. Этого Элиасберга, вероятно, она знает, — кажется, он здесь бывал. (Она не помнит, слишком незначительная фигура — здесь бывали такие дирижеры, как Вилли Ферреро, Ганс Кнаппертсбуш.) О да, я понимаю, просто забыла — Элиасберг даже был зван на траурную церемонию в связи... я вынужденно касаюсь этой незаживающей раны... с гибелью ее мужа Клауса, но премьеры чего-то там... погодите... сейчас вспомню, «Воскресшего из мертвых» Вольфа-Феррари, этому помешала. Жалкий композитор Вольф-Феррари, я знаю две его оперы (чуть не раскрыл себя, сказав «у нас в Циггорне шли две его оперы» — «Секрет Сусанны» и «Sly»). Но главное, на этом траурном торжестве среди прочих был и Йозеф Готлиб.

Да нет же, это совершенно невозможно. Она встала и, обернувшись, увидела Петру, я-то видел ее давно — чай, наверное, уже остыл. Петра, отставив поднос, риск-

ну сказать, получала истинное наслаждение от нашей беседы. Все было как она предсказывала. Доротея Кунце и слушать не желала о том, что родители ее мужа, погрязшие в нацистском грехе (или, может быть, верные идеалам германской нации?), спасали в годы войны еврея (или, точнее, какого-то вонючего еврея?), причем слушать-то не желала, да робела передо мной, на этом настаивавшем. Это было явно. Иначе бы со мною долго не разговаривали здесь — вопрос еще, разговаривали бы вообще.

Увидя Петру, спрашивает, где ее внук, и я слышу, как Петра начинает оправдываться в том, что позволила сыну куда-то пойти, — вот тебе и Маргарета фон Тротта.

Ей угодно показать мне список приглашенных в отель «Кайзерпфальц» в тот печально памятный для нее день. После службы в Мариенкирхе — Клаус ведь был католик — еще состоялся поминальный обед. У нее все сохранено, даже салфетка с черной каймой (идея Кунце). В этом доме уже ничего не выбрасывалось и не менялось после двадцать девятого февраля 1944 года. (Я догадался, что это дата смерти композитора.)

Иду следом за ней — Петра стоит как дура со своим красноватым чаем — и попадаю... в лифт! Это одна из причуд Кунце-строителя: вилла планировалась и строилась строго по его указаниям. Только в одной из башенок есть узкая винтовая лестница, ведущая прямо в его кабинет, расположенный обособленно; изнутри в него можно подняться лишь в лифте. Сейчас мы проследуем (так и сказала «проследуем») наверх, сейчас я увижу рояль, за которым были написаны пять последних струнных квартетов, «Квинтет на тему «Форели» Шуберта — и предсмертное сочинение, оратория «Плач студиязуса Вагнера», по завершении которой и грянул в этом кабинете выстрел... (Вагнер — персонаж «Фауста» Гете — оплакивает судьбу неудачно сконструированного им гомункула.)

Кабинка лифта скорее, чем самое себя, напоминала роскошное купе («отделение») спального вагона како-

го-нибудь Норд-Экспресса или Ориент-Экспресса — те 20—30 секунд, которые предстояло проводить пассажиру по имени Кунце в этом снаряде, были окружены комфортом, более или менее бессмысленным. Достаточно упомянуть плед и подушечку на миниатюрном бархатном диванчике. (Эстетический идеал Кунце в концентрированном виде: апология вторичности через тотальную нефункциональность; ваза с отборными фруктами в парадной гостиной — к которым никто никогда не притронется; плоды трудов искуснейшего ремесленника-раба, на которые, возможно, даже не упадет взгляд господина. Беда Кунце в том, что, представляясь сам себе таким пресыщенным господином, он был как раз-то искуснейшим рабом. По крайней мере, мне так вдруг показалось — отсюда всю жизнь поза.)

Небось Тобиас катается теперь вверх-вниз? Укоризненный взгляд. *Нет, конечно.*

Из лифта вы попадаете прямо в кабинет. Поздней Петра поразится: она повела вас в святая святых — даже Инго без спросу в кабинет не входит. Нет, что-то здесь нечисто.

Я почтительно примостился, по ее знаку, на краешке огромной, низкой, расшитой восточными узорами оттоманки, приглашавшей лечь, а не как я — почти что на корточках сидеть. На стенах множество экзотических предметов неведомого мне назначения, более уместных в доме состарившегося этнографа, нежели его сверстника композитора; а из картин: неразборчиво-ночное полотно в духе Беклина (а может, его самого) и — юнге, юнге, как говорят немцы, — портрет горячо любимого вождя, словно в кабинете какого-нибудь группенфюрера... да, постмодернизм возник не вдруг и не сегодня. Правда, она предупредила, что с сорок четвертого года здесь ничего не менялось, — и все-таки (можно тысячу раз говорить о постмодернизме) я был шокирован. Немудрено, что она никого сюда не впускает. В наши дни такой портрет Гитлера я готов представить себе разве что в подпольном неонацистском капище. Но чтобы

Кунце, каким бы поборником «нового порядка» он ни выступал, сочиняя своего «Вагнера», имел перед глазами это неизменное украшение железнодорожных станций и почт — в песочного цвета униформе, с повязкой на рукаве?! Ничего не понимаю — кроме одного, пожалуй: Доротей Кунце хотела продемонстрировать мне всю бездну морального падения ее свекра, дабы у меня не осталось никаких иллюзий относительно его готовности прийти на помощь еврею. Она следила за моей реакцией — я, естественно, и бровью не повел: Гитлер и Гитлер, портрет маслом, приблизительно 150х80, в нижнем углу подпись (похожая на репинскую) и дата: 43.

Может быть, она боится, что эта история, вскрывшись, нарушит какой-то уже установившийся баланс злодейства и гениальности? Что, поставив под сомнение безусловность первого, возьмутся пересматривать и последнее? Мир уже свыкся с Кунце таким — это как на старости лет без крайней нужды вдруг отучать себя от нездоровых, но глубоко укоренившихся привычек. Но ведь Кунце отнюдь не дутая величина; не будь за ним дурной славы, убежден: это имя владело бы сердцами культурной части человечества куда более полно. Я пытаюсь это как-то объяснить ей — с помощью, допускаю, весьма близких ей соображений: вот тогда только его и поднимут на щит те круги, которые создают сегодня общественное мнение, — разве она не знает, в чьих руках пресса? Если даже без их поддержки, вопреки бойкоту Израиля, Кунце останется тем, кем был всегда, то легко себе представить, какой бум — газетный, журнальный — поднимется вокруг его имени, когда он начнет исполняться — тогда уже с триумфом — в Израиле. Так же, довольно прозрачно, я намекнул, что определенные выгоды из этого извлекут близкие к Кунце люди, — и пожалел. Ей кажется, что определенные выгоды из этого в первую очередь извлекут люди, близкие к Йозефу Готлибу. Ей кажется, что вообще это все отдает попыткой устроить сенсацию по предварительному сговору... Нет, она еще не кончила: я, верно, чего-то не понимаю, пред-

лагая ей «вспомнить» то, чего не было. Ей слишком дорого немецкая культура и история — какая ни есть, — чтобы заниматься ее фальсификацией.

Мне необходимо обидеться с благородным видом, или от этого я освобожден так же точно, как, скажем, освобожден от уплаты церковного налога? Пожалуй, слегка все же обижусь. Нет, я абсолютно все понимаю (то есть насколько человек вообще вправе так о себе говорить). Я даже понимаю, что ее раздражает моя настырность, — за евреями, говорят, это водится, сами евреи этого не чувствуют, но это в конечном итоге вопрос стиля, а не содержания. Тому, что я сегодня здесь, много причин: любовь к истине, любовь к музыке, возможно, еще любовь к чему-то или к кому-то — но среди этих причин нет ни одной меркантильной.

Я задаюсь вопросом: она действительно ничего не знает или врет? Скорее, врет. Потому и демонстрирует гитлеров — а сейчас достает из стенного сейфа что-то... (Скальп, собственноручно снятый Кунце?) Все, только бы убедить меня: человеконенавистник Кунце не мог укрывать и не укрывал никакого Готлиба. Рвение, среди нас двоих изобличающее истинного обманщика. Кстати говоря, неверно, что совсем уж так здесь ничего не менялось после смерти Кунце. При нем на сейфах таких замков не было: кнопочный набор, как в подъездах или на телефонах, взамен упраздненных дисков. Сыграв сама с собою партию в «крестики-нолики» — я еще отметил, что «нолики» выиграли, — Доротея Кунце вынула из сейфа ветхую папку с мраморными прожилками, на тесемочках. Думаю, она уже поняла свою ошибку: если я прохожимец, меня следовало немедленно вытолкать вон, а не пытаться разуверить в том, во что я и сам-то не верю. Логика же никакой.

В этой папке все относящееся к тому дню, когда Клаусу были возданы последние почести. Я могу здесь найти список гостей, тексты произнесенных речей: что сказал с амвона его преосвященство архиепископ Фазольтский и Фафнерский (по-другому, конечно, зовут, но похоже),

вот выступление бургомистра Крошке, выступление господина Юлиуса Штрайхера, почетного директора нюрнбергского «Штюрмера», где Клаус много печатался, — да-да, вы не думайте, он печатался там... выступление фрау Клан («Всенемецкий союз слепых»). Согласно этому рисунку стояли столы; указатель мест — кто где должен сидеть. Я упомянул Карла Элиасберга? Верно, его имя вычеркнуто. Меню... Можно посмотреть? Да, я могу эту папку всю посмотреть. (Меня взяло любопытство: что же они сли? Ведь человек есть то, что он ест. Markkloßschensuppe, Schmorbraten. *) Как я вижу, никакой Йозеф Готлиб в тот день здесь не находился. Вот телеграмма, которую прислал Йозеф Геббельс (Федот, да не тот), — Геббельса ждали собственной персоной, но что-то ему в последнюю минуту помешало приехать, очевидно, присутствие Штрайхера. Я, вероятно, до конца не представляю себе ни характера, ни взглядов Кунце, ни его места в обществе — раз уж ему, как и Ясперсу, прощали его брак, — ибо понимаю я все... Что тогда? Тогда бы я не явился к ней с утверждением, будто здесь укрывали евреев. .

Боясь выдать свое невежество — наверное, чудовищное: кто такой Ясперс? — я уже не спрашиваю, почему Кунце надо было прощать его брак. Но Геббельс — она продолжает — приезжал сюда в другой раз, в первых числах марта сорок третьего года... А-а, так вот по какому случаю был приобретен этот портрет — странно: казалось бы, Кунце не нуждался в демонстрации своей лояльности, да еще такими чиновничьими средствами. Или все же нуждался?

После этого она меня быстро отсюда уводит. Словно испугалась: что я еще замечу такого. Я уж всю стрелял глазами, уходя. Но с портретом я, видно, угодил в самую точку — хотя с моей стороны это вышло без всякого умысла, просто портрет был здесь неуместен и датирован сорок третьим годом.

* Суп с клецками, тушеное мясо (нем.).

Я не могу спросить у Доротеи Кунце напрямую, почему она меня обманывает. Ведь я уже старался, объяснял ей, что первой ей же самой выгодно эту тайну разгласить... По прошествии тридцати пяти лет на поверхность всплывает невероятная история (даже если ей лично она почему-то там неприятна — мало ли, друзей разочарует). Это же новое вино в старые мехи — под старыми мехами подразумевается, конечно... ладно, замнем для ясности. Вышло же, что я хочу ее купить. Значит, нужны факты в ответ на ее «факты из мраморной папки». Мне было документально доказано, что никакого сврейского дедушки среди «арийских» бонз, торжественно и по ранжиру оплакавших антисемитского журналиста Клауса Кунце, не было. Понятно, что не было. Он где-то в собачьей конуре сидел, но к семейному чаю, погрызть сахарку, вышел.

Все это мне напоминало вот что: по местной программе раз в неделю шла детективная серия «Коломбо». Там каждый раз повторялось одно и то же: одноглазый, в засаленном плаще, с дурными манерами сыщик (Питер Фальк — наверное, мой соплеменник) пиявкой впивается в напыщенного богача или «знаменитость», которые отбиваются от него с наигранно-брезгливым раздражением, покуда шаг за шагом он не прижимает их, в действительности коварных и расчетливых убийц, к стенке. Такое разоблачение Доротее Кунце не грозило, но в остальном у нас наметился психологически сходный поединок, где я постепенно брал верх, не понимая, над кем, над чем, — настырный приставучий плебей... Но брал же!

В лифте. Интересно, отдохнуть на этом диванчике, запахнувшись пледом, кому-нибудь уже удавалось? (Плебей становится развязней. Она не отвечает.) Дело в том, что — возвращаясь к теме — о чудесном и совершенно необъяснимом для меня перемещении из ямы под Харьковом в оркестровую яму в Ротмунде моего деда Йозефа Готлиба имеются некоторые свидетельства, игнорировать которые я не могу. Первое...

Я рассказываю — в безличной форме, — как «был обнаружен» в ротмундских нотах автограф с рисунком, идентичный автографам деда, датированный сорок третьим годом. Подтвердить это сообщение оказалось невозможно, автограф — исчез! Нет, вполне прозаически, под чьей-то резинкой, какого-то оркестрового санитаря. Как есть в Германии тетеньки, которые с утра до вечера чистят свои квартиры, — с такой невероятной энергией, что сами всю жизнь пахнут потом, — так же в немецких оркестрах есть дяденьки, которые с неменьшим остервенением что-то постоянно стирают в нотах. Я продолжал розыски и вскоре познакомился с флейтистом, доживающим свой век в сельской местности. Этот потомок Пана мне подтвердил, что да, правда, в конце войны у них, т.е. в Ротмунде, время от времени играл один русский немец, «*в последний момент спасенный нашими из-под расстрела*» (как видите, негатив известной фотографии). Он носил мою фамилию. У меня был с собой снимок деда — чтобы показать флейтисту... Я смотрю на нее. Как на шар, застывший над лузой. Следующим ударом я загоню его — это понимает и шар. Петра невозмутима, не поднимает от чашки глаз, какой вкусный чай... Но Глазенапп — так звали флейтиста — был слеп.

Но и это не все. Есть письмо Кунце, я его читал. Какое письмо? Неизвестное письмо Готлиба Кунце? Я не знаю, известно оно или нет. Оно хранится в частной коллекции, у некоего Боссэ.

Факт существования неизвестного (ей) письма Готлиба Кунце приводит фрау Кунце в сильное волнение. Каково же его содержание? На письме дата — у меня хорошая память на числа — двадцать первого-первого-сорок второго. В нем Готлиб Кунце благодарит этого мерзавца, Карла Элиасберга, — вы его не помните совсем? Поверьте, мерзавец — проштрафившихся музыкантов гнал на фронт... благодарит его за выражение соболезнования, пишет о своем душевном состоянии, о своем внуке Инго, о жене, которая, не будь Йозефа Готлиба рядом... Там так и стоит — «Йозефа Готлиба»? К

сожалению, не совсем, только инициал. Ну, так это ничем не подкреплённая догадка. Нет, только в том случае, если фрау Кунце сможет расшифровать этот инициал по-другому. А почему, собственно, она должна расшифровывать? Да потому, что она здесь жила, она не может не знать человека, который пользовался таким влиянием на Веру Кунце, таким исключительным влиянием — согласно письму. Про которого написано, что гибель Клауса он переживает как гибель собственного сына. Если я не прав, фрау Кунце, кто же этот загадочный Й., работавший под началом Элиасберга, — ответьте, назовите, вы здесь жили.

Она должна видеть это письмо, заглазно она ничего сказать не может — а вдруг это фальшивка, фальшивок тьма. Ее правда, сам недавно видел одну. Так где хранится письмо? С моих слов она записывает телефон Боссэ.

Ее чашка пуста, моя тоже, чайник тоже — она не сомневается, что я еще дам о себе знать, учитывая напор, который я сегодня выказал. Возможно, ей действительно удастся что-то вспомнить, о чем она совершенно забывала сейчас, а пока... «А пока» она ничего сказать не может, «а пока — прошайте» — так следует понимать «а пока...». Вопрос сугубо светский, на прощание: я остановился прямо здесь, в Бад Шлюссельфельде? Нет, я сейчас еду в Циггорн. В Циггорн? Машиной? Нет, поездом. Мне повезло (считает Доротея Кунце — «Зара Ландер»). Ее невестка как раз сейчас сдет в Циггорн. В самом деле? По выражению лица Петры ясно, что это чистой воды импровизация. Ну да, ты же сказала, что собираешься быть дома еще сегодня, — или мне послышалось? У меня на глазах самым беспардонным образом свекровь выставляла из дома невестку и та безропотно повиновалась (может быть, даже радуясь в душе такому повороту событий). Я интересуюсь: а что Тобиас — остается у бабушки? Конечно, каникулы, он будет здесь до конца недели, а потом отец его заберет — в Бад Шлюссельфельде замечательный воздух. А Тобиасу она

скажет, что мама уже уехала, он вряд ли будет сильно страдать.

Зачем ей это понадобилось, так хищно использовать подвернувшийся под руку случай? Обычно человека спрашивают, если кого-то ждут. Значит, предстоял незапланированный визит — Доротея Кунце не терпелось рассказать про меня кому-то?

Снова «фольксваген» с развеселой бумажной сосиской на стекле — неожиданно послужившей мне отмычкой: «Вольный имперский город Цвейдорферхолц». Миллионы машин бегут по Германии с аналогичными наклейками: придурковатыми, серьезными, лирическими — на все вкусы. Петре наклеивать игривую сосиску было даже как-то и не к лицу — ей бы подошло что-нибудь свободололюбивое, по-испански: Куба си — янки но! Впрочем, сосиску мог приклеить за нее и кто-то другой — сын? муж?

Едва мы оказались прижаты друг к другу в капсуле «фольксвагена», как она спросила: заметил ли я, что ее только что бесцеремонно прогнали? Я лицемерно удивился: как, разве она не собиралась уезжать? Нет, но и слава Богу, ей невыносима эта обстановка. Только ради Тобиаса она сюда приезжает, воздух здесь, это правда, сказочный. (Ерунда — воздух, властная бабушка так хочет; и потом, как уже подмечено было, наперекор себе самой все же гордилась, чей Тобиас правнук.) Чем же она это может объяснить такую странную выходку со стороны свекрови? Ну как чем, а что, я сам не заметил, в каком она была состоянии, — совершенно потеряла самообладание. Еще до упоминания об этом скрипачеве — моем деде — падает в обморок, приняв меня за грабителя. Я вставаю: приняв меня за привидение. Нет уж, привидением Доротею Кунце не проймешь! Ну, хорошо, а вот, зная ее, что она считает, все эти ее «нет» — это было вранье? Вранье... паническое вранье! Или не знаю что, но она свою свекровь не узнавала: вдруг повела меня в кабинет Кунце (выясняется, что кабинет Кунце — место заповедное, туда входа нет).

И отчего же это все, спрашиваю я Петру. Ничего нового она мне сказать не может: она меня уже предупреждала, что в этом доме за такую историю мне спасибо не скажут. Правда это или неправда, было это или не было — этого *не должно было быть*. И матушка Доротея в лепешку разобьется, чтобы доказать, что все это вздор, — ее обожаемый Готлиб Кунце, как истинный немец, на такое отступничество не был способен.

В лепешку чуть не разбились мы, когда прямо на нас из какого-то закоулка выпрыгнул «ягуар» и исчез в том направлении, откуда мы только что приехали. Во всяком случае, о степени риска, которому подверглись наши жизни, свидетельствовало далеко не изящное «шайсе*!» Петры (за рулем унификация пола полная). Дальнейших нелестных эпитетов по своему адресу владелец «ягуара» избежал потому лишь, что был вдруг опознан: это же... это же Доротеин «бой-френд», теперь понятно, почему ее, Петру, понадобилось выпихнуть. Спешит — она, наверное, ему позвонила... А что, у нее было в жизни много друзей-мужчин — судя по тому, как она себя держит и как выглядит, — да?

Я очень заблуждаюсь, наделяя Доротею Кунце естественными человеческими свойствами. «Бой-френд» было сказано в шутку — платонически влюбленный в нее всю жизнь один старый холостяк, который, если она прикажет: прыгай в пропасть — прыгнет, не задумываясь, как в свое время, не задумываясь, прыгнул бы за фюрера. Овдовев двадцати одного года от роду и с мужем прожив «нетто» от силы несколько месяцев, она затем всю жизнь блюла свое вдовство, превратив его в фетиш. С ее внешностью? Она, верно, пользовалась колоссальным успехом, и соблазны подстерегали ее... Бросьте, какие соблазны. Она кукла, ее главный соблазн был — стать Кунце. Держать сто процентов акций этого имени в своих руках — почему ее так и задела история с моим дедом, с каким-то письмом. Про Кунце она знает все —

* Дерьмо (от нем. Scheiße).

более того, она и сама уже часть его мемориала: немецкая трагедия, немецкая верность, немецкая вдова. Она принесла свою жизнь в жертву этому праву — стать живым продолжением мифа. Она, Доротея Кунце, — весталка, если это слово мне о чем-то говорит.

Ну, я не совсем варвар. Только не кажется ли ей, что — от большой ли любви к свекрови, по традиции ли, берущей начало в немецком романтизме, — она все несколько схематизирует. Заданность, стереотип — это черта немецкого мышления не только в эпоху политических катаклизмов, но и при позднейших попытках в них как-то разобраться. (Сказано еще в отместку за «весталку» — не за то, что допускалось, что я чего-то могу не знать, а за тон, которым это допускалось. Эрих, восточный немец, помню, кипел: один его западный родич, показывая ему свои апартаменты, стал объяснять назначение бидэ — так сказать, подстраховался. Да-с, вот так разница в амбициях может весталку приравнять к бидэ.)

Разговор перешел на Германию, на немцев — в глазах еврея, в частности, в моих глазах. Что я думаю о немцах? (Я думаю о них много чего, одно противоречит другому.) Тема, в разговоре с немцами отработанная мною до мелочей. По обыкновению, я становился между дьяволом и его раскаянием. Это как поется в одной детской песенке: «Поросята бывают разные, чистые и грязные». Видите ли, я хоть, конечно, израильтянин, но вырос я в городе Харькове, среди всенародного упоения собственными добродетелями, официально санкционированного, но при этом абсолютно искреннего. Коллективная вина немцев воспринимается мной как то же самое, только со знаком минус. Что до моих личных переживаний, то опять же, жизнь под советским солнцем научила меня есть за одним столом с таким количеством вероятных палачей — и не заходиться в праведной истерике... Как я могу! Как можно вообще находить аналогию нацистской Германии? Это безнравственно!

Это она меня?.. В безнравственности?..

А, собственно говоря, почему это безнравственно? Почему по классовому признаку убивать более нравственно, чем по расовому? То есть я в принципе понимаю логику: первый случай оставляет выход, всегда можно перейти на сторону классового врага и тоже убивать. Помимо того, что это преимущество сомнительное в моральном смысле, оно и на практике плохо реализуется.

И мне ничего не мешает в немцах? (В действительности мне мешает в немцах лишь одно — что они говорят по-немецки, но уж это в них не исправишь.) Вместо ответа я смотрю на часы: вечер еще только начинается. Я ей нравлюсь, этой стриженной мартышке, жене хирурга из Цвейдорферхольца, «внучатой невестке» Готлиба Кунце. Наша физиология уже тут как тут — наготове и протягивает лапки. Но — изыди, сатана. Покрыть замужнюю женщину, в качестве прелюдии обсудив с ней моральный аспект геноцида, сталинского и гитлеровского, — это как плюнуть себе в морду.

Поэтому снова о Германии. Мир немецкой культуры естественно простирался от Балтики до Адриатики и от Лемберга до Страсбурга — пока попытка зафиксировать это политически все не погубила. Как бутерброд, что «по закону подлости» (так говорили в Харькове) падает всегда маслом вниз, Германия оказалась исторически опрокинутой на свою надстройку: поверх романтической культуры — в полном согласии с ее эстетикой — создавалась государственность. И получалось, что псы, которыми у Клейста Пентезилея травит Ахилла — дабы отвратить его крови, — становятся прообразом немецких овчарок Аушвица.

Она уже не перечила. Интеллектуально я положил ее на лопатки — и уже прикидывал, чей телефон сейчас наберу, чтобы безотлагательно закончить начатое с нею; начались съезды на Циггорт: Линденгартен, следующий на центр — веселившийся в свете рождественских витрин, толкавшийся в торговом таборе на Марктплац, осоловелый пивавшийся из-за столиков на официантов, валь-

сирующих с гирляндами пивных кружек или с горами жаркого; в опере давали сегодня «Скрипача на крыше» — Шор играет хасидские мелодии, сцена убрана под Шагала, подземный гараж ломится от «мерседесов» богатого мышинового цвета.

Я остановился в гостинице? Я молчу. Случайное прикосновение к моим пальцам. Но в случайность я не верю, как уже говорилось, а в случайные прикосновения и никто не верит, со времен Адама и Евы. Кого же сейчас можно застать дома? Воскресеньс, у веснушчатой Дорис дежурство в больнице — сестра милосердия... Ласково: так где же я остановился? Зеленый свет, мы тронулись в общем потоке, прикосновение к моей руке было коротким, но обязывало меня произнести свое *jamais**! — что я и сделал, не колеблясь: она замужем, мать двенадцатилетнего сына, а я человек твердых правил.

Пусть думает: азиатская ментальность — она же болеет душой за третий мир, значит, «поймет».

Поняла и успокаивает меня: на этот счет я могу совершенно не волноваться: они с мужем практически уже давно разведены, не живут вместе.

Я тоже с женой был практически разведен — и даже не практически. Тем не менее возникла мучительная аналогия. Разведены и вместе не живут, да? А тринадцатого декабря еще жили вместе и как ни в чем не бывало всей семьей собирались к бабушке Доротес на *Wochenende*** — это когда ее мужа Инго вызвали на срочную операцию и пришлось остаться дома.

Поначалу безмолвие, в продолжение которого я укорял себя за длинный язык, ведь теперь мне предстоит выбирать между израильской спецслужбой и частным немецким сыском: трудно сказать, что хуже в ее глазах, а честно рассказать, кто я и что я, и что учу Дэниса Рора играть двумя пальцами «собачий вальс» и как раз тринадцатого декабря узнал от Роров то, что, собственно,

* Никогда (*фр.*).

** Конец недели (*нем.*).

и сказал ей, — значило свести воедино мое настоящее и мое прошлое. Я этого не желаю ни под каким видом. Для Цигторна, для Роров, для Шора, для Ниметца у меня не было прошлого.

Ах, за ними за всеми установлена слежка? По какому праву? Ну ясно, какое тут может быть право. Отлично! Она предпочитает, чтобы за ней следили издали, — с этими словами меня ссадили с корабля, к счастью, не на необитаемый остров, а вблизи остановки трамвая. Глупо.

Дома перед телевизором: по первой — спорт, по второй — мыльная опера со взрывами бутафорского смеха за кадром, по третьей — дискуссия с участием Петры (даже двух) и еще нескольких добрых людей. О чем? Я уже не стал вслушиваться. Может быть, почитать книжку?

У меня был страшно неприятный осадок, хотя — я в этом себя убеждал совершенно справедливо — на больший успех, чем сегодня, рассчитывать просто не приходилось. Полный успех был бы пресный, без тайны, без загадочного сопротивления, без портрета Гитлера (черт побери!). А так, глядишь, и разгадка будет ого какая! А на Петру плевать — плевать! плевать! плевать! Делу это не помеха, а в остальном — плевать! Я переживал. Гитлеры, геббельсы, Доротея Кунце, живое их продолжение — ко всему этому я относился с академическим бесстрашием, а здесь переживал. И пусть себе думает, что каждый ее шаг фотографируется, — есть, наверное, чего испугаться. Так что же, почитать книгу или послушать музыку?

По УКВ первая же станция передавала дуэт Юдифи и Саломеи — сцена во рву: среди груды обезглавленных тел они ищут Олоферна и Иоханана, чтобы вернуть их к жизни. Готлиб Кунце, «Обмененные головы». Случайностей нет, меня дразнят. Я вспомнил, что хотел привести женщину, и с четвертой телефонной попытки преуспел, сговорившись с одной продавщицей (мой сераль: продавщицы или сестры милосердия — символично, не правда ли?).

На следующий день телефонный звонок прервал мой второй сон — первый сон был на совести моей гостыи, к девяти спешившей на работу. Кто ко мне мог звонить: какой-нибудь оллендорфский театр, с предложением, за которое я ухвачусь со спортивной жадностью? Шор — хочет махнутья спектаклем: Рождество его, «Сильвестр» мой? Мамаша ученика: приходить им сегодня на урок или у меня тоже каникулы? Почивавшая у меня продавщица просит два билетика на «что-нибудь хорошее»?

Но звонок был из Израиля. Эся получила мое письмо и спешила высказать все, что она по этому поводу считает. Институту «Яд вашему», откуда она звонила — не из дому же, да и разговор, можно сказать, служебный, — ее соображения стоили марок под сто (курс падающей лиры мне более неведом, небось «земля стремительно приближалась»).

Я совсем рехнулся — изображать Кунце спасителем евреев. Понимаю ли я, что это (в нос, по-французски) *масабге**? Или здесь, в Германии, у меня уже все чувства окончательно атрофировались? Кун-це!.. Из-за которого ее несчастный отец так настрадался, этот типичный садист, а что он в тридцатые годы говорил! В тридцать восьмом они таки сорвали ему в Париже премьеру... И — страшно выговорить: Праведник мира. Осталась ли у меня хоть толика святого в жизни? Сомневается. Немецкая свинина — вот теперь моя святыня. Это до какой низости надо дойти, чтобы утверждать, что человек, который *сфотографирован* идущим на смерть, родной дед, вовсе не был расстрелян, а здравствовал и процветал все это время в Германии, на скрипке играл. А привечал его — Кунце! О, она понимает, почему я это затеял. Кое-кто за эту идею с большим удовольствием ухватился. Как же, сам внук раскопал. Так вот, чтоб я знал: этому не бывать. Она дочь и родной кровью торговать не позволит.

Я слушал, не пытаюсь — даже смешно — отвести от себя этот поток брани, оскорблений — обескураживаю-

* Здесь: мрачная издевка (*фр.*).

ще чудовищных. Но когда, исчерпав, видимо, содержимое собственных болячек, она принялась вскрывать мои: не удивляется Ирине и очень даже за нее рада, три недели как свадьбу сыграли, в «Леиша» («Тебе, женщина») было напечатано, кто был приглашен... — тогда я просто положил трубку.

И рухнул на кровать, натянув на голову подушку. Она своего добилась, загадка Юзефа Готлиба, включая антураж, сопутствующий попыткам ее как-то разрешить: кормление с ложечки Глазенаппа, ночлег в «Гаване», «неизвестный автограф Бетховена», Доротея Кунце, которая знает все, но почему-то молчит — или потому и молчит? — короче, все это вдруг почернело, съезжилось, и осталась наутро лишь горстка золы да кусочек олова — как в сказке Андерсена.

Я-то думал, что уж все, выкарабкался. Когда прихотил этот тип из *Judische Gemeinde*^{*}, со мной ничего такого не произошло ведь. На сей раз, правда, специально нерв искали — чтоб не дать все же «чувствам окончательно атрофироваться». Не буду продолжать — переписывать первую главу; ибо состояние этих дней было близко к тогдашнему, разве что не выразилось в попытке прибегнуть к огнестрельному оружию, а ограничилось лишь тихим скулежом. Этими днями стали двадцать четвертое и двадцать пятое декабря — классический контрапункт для «тихого скулежа». Потом, конечно, я кое-как разогнулся, отряхнулся и двинулся дальше. Только еще какое-то время отвечал на телефонные звонки с опаской — боялся услышать Эсин голос.

^{*} Еврейская община (нем.).

6

В седьмом потомке я воскресну
И в семь часов опять исчезну.
Таков мой рок, и горе той,
Кто станет вновь моей женой.

Честертон. «Обреченный род»

Новый импульс к своему продолжению эта история получила в начале следующей осени. До этого я и в мыслях к ней не возвращался. Если те, кого она касалась непосредственно, две шестидесятилетние женщины, заупрямились и слышать ни о чем не желают, и в этом вопросе, при всей своей тотальной несовместимости, солидарны, — то, спрашивается, чего же я лезу? Я в глаза не видел несчастного Юзефа Готлиба, тем более не моя забота реабилитировать Кунце — то чужой, совершенно замкнутый мир (куда ты пытался влезть), со своим уставом, непосвященному неведомым, со своим безумием, со своим здравым смыслом, со своими ересями. Тебя не приглашали ни с какой стороны, не просили соваться.

И я больше не сунулся. Даже думать не хотел об этом. Время шло, жизнь шла дальше — продолжая укоренять меня в пластмассу косвенной речи. Иногда на меня находило что-то. Вдруг я написал стихотворение. В другой раз написал страницу прозы — перечитал: харьковский Томас Манн, все корни наружу; сперва креститься надо,

а после уж в русские писатели подаваться. А то говорящая голова без туловища. Вместо него — трубки, капельницы, целая комната аппаратов. Это сравнение оправданно. Мос самосознание — это действительно самосознание отрубленной головы, живущей в лабораторных условиях. Самому не то что не прервать этот ад, даже шеи нет, чтоб шевельнуться.

Ладно. Слишком мрачно. Мидори Ито уезжает, вышла замуж за какого-то виолончелиста из другого, тоже оперного, оркестра. Нередки внутрицеховые (внутримузыкантские) браки между японками и немцами. Что из этих браков получается, не знаю — пока еще они все новенькие, блестят как из магазина (ведь даже в «Мадам Баттерфляй» между первым актом и финалом оперы согласно либретто проходит несколько лет). Сердце Дореми к тому же завоевал виолончелист, а они из музыкантов, по-моему, болес других предрасположены к экзотическим бракам. Если б американские части во Вьетнаме состояли из одних виолончелистов, им для отступления понадобилось бы вдвое больше самолетов.

Мидори устроила в кантине отвальную «для своих», в том числе и меня. Ее муж на этой квазисвадьбе сидел среди шуток, шума застенчиво улыбающийся, как невеста. Огромный, потный, накачивавшийся пивом в течение целого дня в объемах, позволяющих перефразировать Архимеда, Ниметц (не будучи «своим», то есть из группы первых скрипок, он присутствовал по праву вездесущего инспектора), Ниметц провозгласил тост за то, чтоб на освобождающуюся вакансию непременно взяли снова японку, и принялся комически причитать: Мидори уходит от нас!.. Часом позже он же, прощаясь со мной — мы оба жили на казенных квартирах в домах по соседству, — сказал: японок больше в оркестр пускать нечего, шеф не хочет, и правильно — что это, немецкий оркестр или «ауслендерамт»^{*}? Но тут же подмигнул: к концертмейстерам это, конечно, не относится.

^{*} Иммиграционная служба (от нем. Ausländeramt).

Коль скоро действительно существует такое понятие: deutsche Ehrlichkeit* — насколько же двуличны должны быть остальные европейцы? Об этом я спросил бельгийца Шора, который наедине со мной не стеснялся пустить шпильку по адресу немцев. Мы с ним просматривали корреспонденцию в связи с конкурсом, объявленным на место Мидори. В ответ Шор неожиданно заступился за немцев, за их право гордиться своей честностью, с оговоркой, что, может быть, только конкуренции с вами, русскими, они не выдерживают, а так... Пожил бы я с французами, затосковал бы по немцам. Французы, узнав, откуда ты, еще имеют обыкновение спрашивать: «Comment pouvez-vous vivre parmi ses Bosches?» (Ах, как вы можете жить среди этих бошей?) — таким тоном, как будто говорят: «Как вы можете одеваться у этого портного?» Помолчав, взглянув на меня, Шор прибавил, что точно так же пятьдесят лет назад говорили: «Как вы можете водиться с этими евреями?»

Вступившись за немцев, клевать которых за пределами Германии считалось чем-то само собой разумеющимся — едва ли не правилом хорошего тона, Шор тем не менее отнюдь не кинулся исполнять пожелание Лебкюхле относительно японок: он работал в Циггорне уже тысячу лет, у него были какие-то старые счета с Лебкюхле («этой швабской задницей»), за чистоту немецкой крови ни мне, ни ему опять же ратовать было ни к чему — словом, мы послали приглашение играть конкурс сразу трем японкам и одной кореянке. Другое дело, что попасть к нам им было все равно что богатому, по известной поговорке, попасть в рай — при нынешних умонастроениях Лебкюхле (и других — вдруг запаниковавших: во что скоро превратится наш оркестр!). Кумико Сакая, старейшая наша японка и первая в истории Циггорнского оркестра скрипачка, качала укоризненно головой по этому поводу: «немецкие мужчины...» — деликатно подменяя предрассудок национальный пред-

* Немецкая честность (нем.).

рассудком общечеловеческим, как бы более прощительным.

Свободное время мое было «в пролежнях». Это российское — правда, скорее «незамужнее», чем «неженатое»: дома — исключительно лежать. С книгой я лежал реже, больше — слушая музыку. Интересное чтение всецело поглощает внимание (все это так), но среди интересных книг хороших мало — и наоборот. Короче говоря, литература требовала усилий, музыка же, как искусство истинно христианское, врачевала душу, не требуя ничего взамен. Чтоб не есть в одиночестве, я включал телевизор, приурочивая свои трапезы к последним известиям или каким-нибудь политическим программам (а что еще смотреть — как кривляются загримированные мужчины и женщины по давным-давно утвержденным канонам?). Судя по телевизионным передачам, Германия продолжала и продолжала оттягиваться влево, с тем большей стремительностью обещая сорваться в обратную сторону. Демонстрантам лица одолжила Крестьянская война — одежду даже не потребовалось. По чистому недоразумению еврей в их сознании — свой, поскольку жертва их врагов (а врагов — поскольку «фашизм есть диктатура наиболее империалистических элементов финансового капитала», до сих пор помню, всем классом заучивали). Но скоро, думаю, это недоразумение разрешится: толпа идеалистов под любым флагом к вечеру кончает еврейским погромом. Уже сейчас можно дать выход своей антисемитской похоти, не понеся при этом морального урона; наш театр, например, чуя спрос, инсценировал ораторию Генделя «Иеффай» в духе пацифизма. Как раз вошло в моду многозначительно обносить сцену колючей проволокой, действующих же лиц одевать в солдатские шинели. Наш циггорнский Мейерхольд — он же интендант, милейший человек с лицом скопца — милитаризовал так опер пять: «Дон Карлоса», «Фиделию», «Лоэнгрина», еще что-то, еще что-то. Но до «Иеффая» обличение зла было весьма абстрактным (действие «Дон Карлоса» развора-

чивалось в какой-то банановой республике). В «Исффае» же происходило следующее. При полном затемнении зала шумовая иллюстрация фронта: автоматные очереди, разрывы бомб, режущий звук проносающегося истребителя. Сквозь проволочные заграждения пробирается девочка-подросток и, отыскав в траншее какой-то свиток, при свете фонаря читает: «И дал Иеффай обет Господу и сказал: если Ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, *что* выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение. И пришел Иеффай к аммонитянам — сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим, от Аросра до Минифа двадцать городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне перед сынами израилевыми. И пришел Иеффай в Массифу в дом свой, и вот, дочь ему выходит навстречу с тимпанами...» Увертюра. Колонна на марше — в касках, с автоматами. Впереди Иеффай, через плечо перекинута танковая гусеница. (Лично у меня сразу возникла ассоциация с генералом Ариэлем Шароном.) Хор мальчиков в черных лапсердаках и круглых шляпах, размахивая израильскими флажками, встречает победоносную армию Исффая-Шарона. Из дома, как и обещано, выходит дочь, которую он теперь должен убить во исполнение кровавого обета. Как жертвенный камень, посреди сцены скрижали с еврейскими письменами, повсюду люди в касках — пощады не жди. Правда, добрый Гендель, вопреки менее доброму еврейскому Богу, в последний момент посылает ангела — спасти несчастную от заклания. Но надо видеть этого ангела: с большими, как уши, крыльями и дымящимся пулеметом в руках — словно в пути повстречал эскадрилью сирийских «мигов».

Этот спектакль, «насквозь проникнутый», «смело воплотивший» — видимо, в расчете на такую реакцию передовой польской критики, — мы везли в Польшу. То есть они — без меня. Циггорн был побратимом Глоднему Мясту (раз в год «местком» собирал по две марки для

дстей тамошних оркестрантов). Один спектакль планировался в Глоднем Мясте и три в Варшаве, в рамках музыкального фестиваля «Варшавская осень». В Советском Союзе «Варшавская осень» — это звучало. Из Харькова в составе делегации Союза советских композиторов всегда кто-нибудь ехал, а потом на «встрече» со студентами музучилища делился впечатлениями: крайний формализм, локтями на рояле играют. Вообще, Польша — это уже Америка.

Кроме «Иеффая», они еще везли с собой «Ариадну на Наксосу» и «Котку Польску» («Польскую кошку») — оперу Казимежа Жуликовского, в партитуре которой, по счастью, не было скрипок.

Репетиции начались в июне, перед самым отпуском. В отпуске я недурно набил карманы фиалкового смокинга — облачения музыкантов куроркестра, с трех до пяти игравшего разные попури, польки, вальсы в кургаузе Баденвейлера. Правда, Шор, вагнерианствовавший в это время в Байрейте, заработал раза в полтора больше. Из новых ощущений этого лета назову, для меня самого же неожиданное, посещение игорного дома — в лиловом смокинге... Но — не за то меня отец порол, что играл, а за то, что отыгрывался. Сказав себе наперед: проигрываю двести марок — я, в надежде их вернуть, то призрачной, то, казалось, уже реальной, просадил полторы тысячи. Злой на себя не могу передать как, на следующее утро я зашел в какой-то банк и пожертвовал сотню на борьбу с раком (мама). После этого, выйдя на улицу, я понял, что прощен: со стены противоположного дома на меня смотрела мемориальная доска с надписью по-русски: «В этом доме пятнадцатого июля 1904 года скончался Антон Павлович Чехов». Сегодня было как раз пятнадцатое июля. Это неважно, что я никогда не любил Чехова (слишком уж все им было ясно со мной, этим русским писателям). Это неважно...

Гастроли циггорнской оперы в Польше оборачивались для меня дополнительными двумя неделями отпус-

ка в сентябре, на который я думал (увы, должен был) махнуть в Израиль продлить паспорт, — кстати, это мой израильский паспорт явился причиной того, что вторым концертмейстером вместо меня в Польшу сехал концертмейстер из Либенау. Первоначально предполагалось, что я эти две недели буду играть за него в Либенау, — и я уже снова потирал руки. Но — долго объяснять почему — сорвалось. А тут, ввиду неудачной попытки договориться с израильским посольством о вторичном продлении паспорта (один раз они его уже продлевали), мне все равно предстояло паломничество в Святую Землю — вот я и решил воспользоваться образовавшейся дырой в моем расписании. Я уже заказал билет в Люфтваген, и что же — за двенадцать часов до вылета моего в Тель-Авив и циггорнской оперы в Польшу заменивший меня либенауский концертмейстер попадает в аварию. Слепой случай? Нимец ворвался ко мне в квартиру с полицейской непосредственностью, благо жили мы рядом: все, я еду с ними, никаких израильтян! Гастроли под угрозой срыва (ну, это он загнул). Звонили уже в Варшаву, в МИД — в виде исключения в мой недостойный польской визы израильский паспорт они, так уж и быть, ее шлепнут. Прямо в Глоднем Мясте... Э, так дело не пойдет, нет, нет, нет, у меня билет оплачен в Израиль, это не шутки, это сумасшедшие деньги. (Я не стал уточнять сколько, потому что на самом деле деньги не такие уж и сумасшедшие, но Нимец, которому Израиль представлялся краем земли, страной антиподов, охотно этому верил. Это его жена, выгуливая однажды своего сеттера, спросила меня: а собаки в Израиле есть?)

Нимец сначала пытался атаковать меня с помощью каких-то параграфов, обязывающих и т.д. Но я знал, что все это блеф, — от него же, месяцем раньше объяснившего мне, что как раз все эти параграфы действуют только в пределах ФРГ. Поэтому меня «легче заставить эти две недели работать сторожем в театре, чем играть «Ариадну на Наксосе» в Варшаве». Когда я напомнил ему эти его слова, он стал — с моего любезного позволения —

звонить интенданту, обладателю интеллектуального лица. Впервые мне выпала честь побеседовать с этим господином, заверившим меня, что, конечно же, конечно же и еще раз конечно же, я могу решительно не опасаться. Как израильтянин, я решительно опасался ехать в столь недружественную моему отечеству страну, это в первую очередь, и уже во вторую очередь опасался, что мне не будет возмещена стоимость моего тель-авивского билета, приобрести который я был абсолютно вправе, поскольку существуют параграфы... Ну конечно же, забота о моей личной безопасности будет входить в «компетенцию», а что до тель-авивского моего билета, то — гм... Он не может обещать мне возмещения стоимости билета, по крайней мере, не проконсультировавшись с господином финансовым директором, который уже вылетел в Глодне Место, но совершенно уверен, что его друг, директор циггорнского отделения Люфтвагзы — его большой друг, — поможет мне изменить дату полета на любую присмелую, ведь все равно я должен буду лететь в Израиль продлевать паспорт — хотя, *конечно же*, он убежден, что вскоре при поддержке театра у меня уже будет (очень сладко) немецкий паспорт.

Ну чего ради немецкого паспорта не сделаешь — даже в Польшу поедешь. Я спросил у Ниметца про Либенауского концертмейстера. Будет жить, куда подсединен ко всяким трубкам, капельницам. Целая палата приборов — нет, слуга покорный, чем так жить, лучше умереть. А я что думаю?

Либенауский концертмейстер, каждый год, как и Шор, ездивший в Байрейт, лет пятидесяти, очень подвижный, всегда тебе подмигивавший, мнимый симпатия — этакий балагур с камнем за пазухой; но при этом в антракте, вопреки своему «имиджу», достававший аккуратно завернутый в фольгу (женой?) небольшой чиновничий бутерброд — два ломтика черного хлеба, проложенных сыром, — и съедавший его с непроницаемым лицом. И вот он убит. Из-за меня. И на кой же дьявол меня понадобилось гнать в Польшу?

Как описать эту поездку — шаг за шагом? Это было бы примерно то же, что путевые заметки внутри детектива. Если б я вернулся, а в Циггорне меня кто-то ждал: расскажи, как съездил, как это было, в Польше-то? Или: папа, расскажи, какие были интересные случаи? Но при возвращении домой меня окружала та же немота, что и в крохотном номере многоэтажной гостиницы на Круче, возведенной еще, надо думать, при жизни Лучшего друга польского народа.

Какие же были случаи? Самолет советского производства, румынской авиакомпания, совершающий спецрейс в Польшу над территорией Чехословакии, поскольку ГДР «не дала» какой-то коридор. Я боюсь показаться вольноотпущенником — нуворишем свободы, отводящим душу среди бесправия своих же собственных, в прошлое отбрасываемых, теней. То же относится и к восприятию явлений чувственного мира. Гвоздь, натуральный гвоздь, зачем-то вбитый в подлокотник моего кресла. По выходе из самолета (на эту планету) запах, «знакомый до слез», о котором, однако, никогда прежде не подозревал, — советского бензина. Впрочем, счастье узнавания длится полторы секунды, после чего воздух уже не воспринимается как своего рода инопланетный газ. Цвет, вернее, его отсутствие — к нему зато глаз отказывается привыкать. Если б только речь была о дорожных знаках, полиграфии, расцветке кофточек. Но сама листва, казалось, подержи еще с мгновение палец на соответствующей кнопке дистанционного переключателя — сама листва сделается вот-вот черно-белой (может быть, этому есть объяснение «экологического характера?»). На центральной площади Глодного Места вроде бы даже прибрано, и все равно грязь. Это не пестрый мусор Запада, это грязь, заметаемая по углам нерадивыми рабами.

Во-от. Их рабство и делало нас в этой стране абсолютными господами, рабство, а не бедность — чего никто из моих соработничков не понимал. Даже побывавшие в *той* шкуре проявляли поразительную забыв-

чивость. Несопоставимость правовая, социальная прокладывала дорогу той несопоставимости материальных возможностей, которой господа артисты из Западной Германии пользовались всюду, хотя и с чувством, что совершают что-то противосущественное. Но безнаказанно. Отсюда та странная антипатия к собратям по скрипкам и тромбонам из местного оркестра, когда те подходили к нам лизнуть руку, — отсюда, а вовсе не потому, что такие уж они бедные и голодные, как сами наши же пытались себе это объяснить. Словно готовились увидеть жителей Биафры — а недостаточно отощавшие поляки чувствовали, как на них смотрят, и про себя думали: вот, немцы-сволочи, тем не менее привезенный им кофе — каждый получил пятисотграммовый кулечек — хватало, как если б в этих кулечках заключалось спасение их жизни: благодарили, кланялись, прикладывали руки к груди.

Наши суточные равнялись их десятидневному заработку. А за сотню марок пугливые — впрочем, только с виду, согласно каким-то своим правилам игры, — спекулянты готовы были пролить на тебя дождь из злотых. Поставленные перед необходимостью во что бы то ни стало опустошать содержимое своих бумажников, «немецкие мужчины» (о, Кумико!) робко косились — но не более того — на захудалых польских проституток. А так — предавались обжорству. На этой почве были заболевшие.

Я наблюдал за неким Шойбле — то был экстраординарный скупец, который к деньгам относился как иные к хлебу. Всякий расход был для него глубоко нравственным переживанием, причем, добрый христианин, чужие копеечные убытки он принимал к сердцу так же близко, как и свои собственные. Этот польский разврат его убивал.

Отправившись в первый же вечер на прогулку, я где только мог высматривал приметы постылого советского социализма. Это не представляло большого труда, и, видимо, часа через полтора вокруг меня образовалось мощное антикоммунистическое поле: когда, стоя на черной

пустынной улице, я рассматривал в окне государственного учреждения стенд с совершенно невероятными хаями и надписью над ними: «Изберем в Сейм достойнейших» — сзади слышались шаги, и меня попросили предъявить документы. Глядя в противоположную сторону той, в которую протянул паспорт, я ожидал, пока этот лингвист кончит его поворачивать вокруг своей оси (человек в гостинице «Гавана» был куда сообразительней). Есть вопросы? (По-прежнему в сторону.) На польского милиционера русский язык в сочетании с израильским паспортом действует как водка с шампанским. Отдав честь, он покачиваясь удалился.

Вопреки напутствиям, даваемым советским гражданам перед отбытием в Речь Посполитую, — что лучше плохой польский, чем хороший русский, — я ко всем исключительно обращался по-русски. И ничего, не побии. Даже не всегда презирали — зато говори я по-немецки, ненавидели бы всегда. Я же человек слабый, предпочитаю ненависти презрение (и если какой-нибудь психолог позволит себе в этом усомниться, то мой ему ответ: не у всех потребность в реванше берет верх над защитной реакцией).

Сыграв и спев перед глоднемястинцами «Ариадну на Наксосе», мы автобусами польского туристического бюро «Орбис» уехали в Варшаву. По прибытии сильно поскандалили — отель не понравился, хоть и считался для иностранцев. Наверное, для других иностранцев. Действительно, у входа стояли два летчика в знакомой форме — сперва я решил, что товарищи работают на линии «Улан-Удэ — Варшава», но, взглядевшись, увидел большие красивые значки с Ким Ир Сеном. Между тем администрация «Орбиса» в лице суперэлегантной пани, у которой шляпка, пальто, платье, чулки и туфли были «в тон» — одинакового лиловато-сиреневого цвета, — принесла нам свои извинения. Сиреневая пани долго объясняла, почему так вышло (я еще забыл упомянуть перчатки сиреневого цвета и темно-сиреневые волосы на ногах). К двум кимирсеновским соколам присоеди-

нилось еще столько же, потом еще столько же стюардесс, что не помешало им поместиться в подыхавшую «Волгу» с дипломатическим номером и уехать. Мало-помалу кольцо вокруг представительницы «Орбиса» редело. Другая дама какое-то время энергично прогуливалась мимо компании оркестрантов, уныло расположившихся в креслах и на диване. Не достигнув желаемого результата, она наконец воскликнула, поддев кулаком воздух: «Ну что же вы, мужчины!» Так культработник, желая расшевелить своих подопечных, предлагает спеть хором что-то бодрое.

Чуть позднее я испытал то же, что Робинзон Крузо, обнаружив след человеческой ноги на своем острове. Позади меня (а я стоял перед прилавком с сувенирными безделушками — в основном Шопеном, но также и серебряными ложечками в виде сирен) произошел диалог по-русски (шепотом): «Послушай, а туалеты здесь бесплатные?» — «Нет, но у них здесь на сознательности все. Блюдце стоит, и никто не проверяет». Когда восточной, то есть в данном случае кавказской наружности дама ушла в направлении заглавной литеры D (wie Deutschland), я поинтересовался у другой откуда они. Другая смутилась вначале, но потом доверчиво поведала, что «они» — музыкальная делегация на фестивале «Варшавская осень». От Советского Союза состав многонациональный: есть и русские, и армяне, и из Средней Азии — кто хочешь. Они с мужем — это он вообще-то в составе делегации, а она туристка — так вот, они из Харькова.

Так неожиданно я повстречал своего училищного преподавателя музлитературы Эдуарда Петровича Совенко. Затем на протяжении нескольких дней разыгрывалась очередная версия гоголевского «Ревизора». Руководительнице группы я был представлен Совенко как его бывший студент — без лишних комментариев. На вопрос о месте моего проживания я, помывшись, ответил, что, ну, в настоящий момент здесь. Эта неопределенность направила мысль партийной чиновницы по ложному следу. Не забудем, что мы находились в Варшаве, где бдительность

требовалась иного рода, нежели в Мюнхене, где страшны местные, а незнакомец, заговоривший по-русски, от которого в Мюнхене следовало бы шарахнуть как партизану от полиция, — к нему здесь, в Варшаве, было как раз полное доверие: свой. И если этот «свой» уклонялся от ответа на какой-то вопрос, значит, *так надо*. А тут я угостил всю честную компанию билетами в кино — они рвались на фильм ужасов с Катрин Денев в роли вампириши. Партийная амеба вконец разамебилась: так сорить иностранными деньгами мог... Не берусь судить, что она думала — кто я, но вела себя со мною после этого точно как городничий с Хлестаковым. Степень их материальной стесненности не поддавалась никакому описанию. Поляки были их западными немцами. Какое это безрадостное чувство: великану свести знакомство с лилипутами, минуя промежуточную инстанцию — Гулливера. И даже не великану. Лилипуту-мутанту.

Но это был «народ, что на моем говорит языке» (это, кажется, цитата из Гете: «Das Volk, daß meine Sprache spricht»). Я провел с ними в качестве почетного гостя, принимать которого одно удовольствие — там винцом угостит, там эскимо купит, — два дня, даже съездил в Желязову Волю. Лично я никому не лгал, просто меня никто ни о чем не спрашивал, все — «понимали». Супруги Совенко все понимали тоже и хранили тайну, справедливо полагая ее уже не столько моей, сколько своей: все-таки я не мог бывшего учителя, харьковчанина, оставить на три недели с одной тысячей злотых в кармане; теперь таких карманов у него стало двадцать.

Не обошлось и без «немой сцены» — все по Гоголю. Чета Совенко захотела побывать на западногерманской опере, мало того, на Рихарде Штраусе, который в Советском Союзе на сцене не ставился, наверное, в течение полувека. Польша в этом смысле недалеко ушла от России: «Саломея» последний раз исполнялась в Варшаве в тридцать пятом году, «Ариадна» — никогда. Билеты были распроданы. Члены советской делегации, которым доставались лишь контрамарки в полупустые

залы, даже мечтать не смели о том, чтобы попасть на наш спектакль. Я попросил Ниметца устроить мне два билетика. До сих пор немцы только хитро поглядывали на меня, внедрившегося в русское общество, но «не узнавали», хорошо понимая деликатность ситуации. Умение вести себя в деликатных ситуациях — черта сугубо западная. Поэтому я никак не ожидал, что Нимецц пожелает лично вручить билеты на «Ариадну», да еще с таким церемонным видом, будто закладывал основание грядущей русско-немецкой дружбы. Он рад пригласить друзей своего коллеги по циггорнской опере господина Готлиба на сегодняшнее представление.

Немая сцена. Жрица от идеологии близка к обмороку. Остальные в порядке идейной дисциплины следуют ее примеру, но видно, что больше симулируют. Супруги Совенко, не растерявшись, изображают людей, оскорбленных в лучших чувствах. Они не знали! Они же, сй-Богу, ни о чем не знали! Это не мешало им побывать в театре и после спектакля не без смущения передать от их слабонервной атаманши пятьдесят злотых. Она возвращала мне стоимость ее билета в кино — она просит сказать, что такие большие деньги не может принять от иностранца.

Больше мы не виделись. Наутро их увозили в пятидневную экскурсию по стране: Краков и т.д. Вот будет о чем в дороге посудачить и над чем позлорадствовать. Втык-то за потерю бдительности ожидал не их, а дуру-начальницу. Той теперь надо было поторопиться: успеть самой на себя настучать, прежде чем это сделает кто-то другой, быть может, тот же Совенко. «Иеффай» уже в Варшаве был исполнен (удостоился ожидаемой рецензии), «Ариадна» тоже. Оставалась «Котка Польска» Жуликовского — без участия скрипачей. Их, то есть нас, не дожидаясь окончания гастролей — ждать пришлось бы еще несколько дней, — отправляли поездом (через Берлин) в Циггорн, совершенно одичавший, надо полагать, за двенадцать дней без оперы. Ехали сутки, больше, коротая время гедезоровским пивом, картами, мечтами о

скорой встрече с родными и близкими, а кто пива не пил, в карты не играл, родных и близких не имел, тот занимал себя разными мыслями, вернее, это только так говорится: «разными» — одной-единственной мыслью, ибо за два часа до нашего отбытия (17.40) я уже знал, зачем понадобилось меня тащить в Польшу (такой страшной ценой: концертмейстер из Либснау отправился к своим древним германцам даже раньше, чем я был приглашен — на другой день по возвращении из Варшавы, — сыграть вместо него оперетту «Марица». Тогда же мне рассказали обстоятельства несчастного случая: он не остановился на «треугольнике», и его протаранила машина. А что тот, второй шофер? Оказывается, разбил себе фару и бампер помял, вот и все).

Утром, выйдя из гостиницы: советские люди уже уехали, оставив по себе весьма жалкие воспоминания; до отхода берлинского поезда было полдня. Куда себя деть? Тут я вспомнил, что сегодня, кажется, *йом кипур*. Кто мне это мог внушить — может быть, включил вчера польские последние известия? Случайно увидел в руках одного из наших немецкую газету, а там заголовочек? Не знаю, но я вспомнил, что сегодня Судный день, — и проникся элегическим чувством. Не спеша обогнул гостиницу, обменялся приветствиями со вчерашним валютчиком, у которого купил двадцать тысяч для Совенко. Интересная деталь: прежде чем совершить сделку, этот тип довольно испуганно попросил меня перейти с ним на немецкий. Я же говорю — у них какие-то свои правила игры. Еврейские ангелы по-прежнему кружили над моей душой. *Йом кипур*... Варшава, Германия, Израиль, Харьков. У меня вдруг задрожали губы, я взял такси и поехал к памятнику гетто.

Я был не так уж и оригинален. Каждые четверть часа к памятнику варшавского гетто — о художественных достоинствах его лучше умолчать — подъезжал западный автобус. Присев в некотором отдалении на скамейку, я дожидался, пока очередная группа, на сей раз американских дядюшек и тетюшек, очень клетчатых, все время

сморкающихся, отбудет, выслушав объяснения своего гида. Или это был просто местный старожил, случайно оказавшийся здесь: маленький человечек в берете, с палкой, которой он по ходу своей лекции тыкал в пространство. Да, конечно, они здесь встретились случайно. На прощание все полезли в карманы, в портмоне... И разошлись. Одни, не переставая сморкаться, сели в свой автобус, другой, налегая на палку, побрел прочь.

Я подошел к монументу. Человечек появился снова. Вначале он меня не замечал, просто пришел в *этот* день на *это* место. Постоять, помолчать. Потом встретился со мной глазами: аид? Я кивнул — и был вознагражден рассказом о том, что выпало ему пережить во время войны. Отец, мать, двенадцать братьев и сестер... а он уцелел только благодаря... Сам он женат на католичке, жена очень болест.

Я понимаю, что он говорит это всем. Подкарауливает туристов, и те, как я, дают ему что-то в твердой валюте. (Странно, что их даже не несколько таких, пять-шесть человек, скажем, все с палками, все рассказывают историю своей жизни. Может быть, они установили очередность.) Но я знаю и то, что рассказ его — сущая правда. Это действительно было. И было с ним. Ибо куда было ему деться. Русского он не понимал, и говорили мы — он на идиш, я по-немецки. А откуда я? (Из Израиля.) А что я здесь делаю? (По работе.) Ага... Я упомянул, что до войны моя мать жила в Варшаве, Бернардинская семнадцать. Ах, совсем рядом с ним, он живет на Радомской, Бернардинская семнадцать — это где прачечная. А что, разве эта улица вообще сохранилась? Сохранилась, да, и дом тоже. До войны там жили небедные люди. А он живет на Радомской восемь, это рядом.

Подъехал голландский автобус. Я сказал «шалом» и ушел — чтобы не мешать ему побираться именем десяти колен Израилевых. На месте еврейского гетто стояли построенные в пятидесятые годы бстонные коробки. Больше здесь делать было нечего. Я сел в покорно ожидав-

шееся меня такси: Бернардинская семнадцать, это недалеко от Радомской. Znam, znam*.

Я знал, что у них был длинный чугунный балкон. Вот он, на втором этаже. Прачечной же почему-то не оказалось — да и трудно себе было ее представить в этой мрачной, до кирпичного мяса ободранной трущобе. Кто и как еще мог здесь жить? Впрочем, можно подумать, что сам я рос в Сен-Жерменском предместье. Еще как могли жить — и жили. Почему бы, собственно, не подняться на второй этаж и не зайти в квартиру. Маме было четыре года, когда они сюда въехали (Эся была еще меньше). В этом доме они прожили ровно двадцать лет. Я знал, сколько у них было комнат, как выглядел кабинет отца, какая комната была ее, какая Эсина, где была «людская» (комната для прислуги — все это время у них служила русинка из Галиции, ее привезли из Вены). Мне много чего рассказывалось об их варшавской жизни. Все было, конечно, идеализировано, представлялось как земной рай. Меньше я знал о своей бабке. По существу, только то, что ее звали Верой и что она умерла в год их переезда (1919). Мама ее совсем не помнила. Так вот он, этот дом. Так же, с этого места, лет сорок назад на него могла смотреть мама. Или наоборот — смотреть на меня с этого балкона.

Я поднялся на их этаж. В потемках, не найдя звонка, я громко постучал по листу фанеры, заменявшему отсутствующее стекло в двери, еще старой — ручаюсь, здесь еще можно было отыскать их следы.

Какая-то бабка открыла мне — и давай пятиться: пан профессор, пан профессор... не... не... Крестьясь при этом. С перепугу едва ли не готовая умереть. Не-с... пан профессор... не-с...

Такое со мной уже во второй раз, меня уже однажды за привидение принимали — теперь, по крайней мере, я знаю за чье. Очень твердо, очнь четко выговаривая по-русски каждый звук: меня зовут Иосиф Готлиб, я

* Знаю, знаю (*польск.*).

внук Юзефа Готлиба, профессора скрипки, сын его дочери Суламифи. Мне вспомнилось вдруг имя русинки: Галина? Вас зовут Галина, моя мать рассказывала о вас. Вы ведь приняли меня за своего старого хозяина? Я похож на него?

Полный рот воды — провела лишь рукой по лбу. Тот же самый жест! Тот же самый жест был у Доротей Кунце!..

В квартире еще кто-то жил, в России бы здесь точно ютилось несколько семей. Из глубины донесся резкий голос: кто там? Это к ней — старуха подтолкнула меня в свою комнату. Маленькая, значит, это и есть «людская». Так и прокуковала в ней всю жизнь. В комнате было посветлей, аккуратно застеленная кровать под тюлевой занавесью с горкой подушечек, стол, шкаф, в углу православный образок.

Пусть она не пугается, я всего лишь внук. В Варшаве по делам, и захотелось взглянуть на дом, где мать росла. Мама умерла несколько лет назад. А что пан Юзеф? Погиб в войну... только неизвестно точно как. А она-то думала, слава Богу, пан Юзеф с дочкой в России схоронился. Ой, что тут они с жидами делали. А пани Эся что — как коза была шкодливая, сама до Парижу уехала... В Ерузалеми! Боже мой... А пани Сулю, значит, Бог прибрал — крестится.

Я повторяю свой вопрос: что, так уж я похож на своего деда? Сейчас она покажет мне его фото — я сам увижу.

Сохранились, выходит, еще фотографии, кроме той, — «расстрельной». Беру, смотрю. Фотография, как снимались когда-то — не стесняясь позировать. Во фраке, со скрипкой, строгий взгляд, в ответ требующий серьезности. Обратная сторона была типографским способом разлинована под почтовую карточку. Косая надпись в две строки по-русски: «Галине Куковаке, с пожеланием счастья в жизни», дата (27 г.), подпись и скрипичный ключ — из-за которого минувшей зимой весь сыр-бор разгорелся. Но это все детали, главное не

это. Теперь мой черед наступил падать в обморок: в точности как мой — шрам на лбу!

Описание охватившего меня ужаса нуждается в самых простых и самых банальных выражениях: мороз подрал по коже, голос пресекся, дыхание перехватило. Пока я смог взять себя в руки и издать хоть слово, пошла банальнейшая вечность.

...Я этого не знал. Как это так может быть? У меня... у меня это несчастный случай... на военной службе.

Этот след у пана Юзефа — значит, это так было. Когда случилось у него это несчастье с супругой, в Вене, она ведь была уже, дай Бог, на шестом месяце. Это было на Пасху, католическую Пасху. В среду или в четверг. Пана профессора не было, принесли письмо в середине дня. Супруга его как прочитала, так сразу велела вызвать извозчика. А пана-то Юзефа нету и нету. Вечер уже, я сама. Появляется наконец — и лица на нем нет. Он спрашивает, где фрау Вера, а сразу: где детки! А детки были у одной фрейлейн — он забыл. Я тогда ему сказала, что фрау Вера... он только рукой махнул и пошел в кабинет. Я не знаю, накрывать на стол или нет. Прямо как подсказало что-то — пошла спросить. Постучала, открываю дверь. Мне тогда восемнадцать лет было, молодая совсем. Открываю и вижу: он стоит с револьвером у виска. Я закричала — он и промахнулся. Но после долго был плох. Все лежал с завязанной головой, кто к нему ни приходил — никого не хотел видеть. Только как успокоился да получше ему стало, сказал, что уезжает в Варшаву и если я хочу, то могу тоже ехать. Ну, к деткам я привязалась уже, работы другой все равно не было...

А что произошло, что она умерла? Отчего умерла? Умерла — кто? Фрау Вера? Она не умерла, она ушла. Оставила мужа с двумя деточками, сама на шестом месяце будучи, только от другого. К нему и ушла.

Согласитесь, мне было о чем подумать в поезде. Полностью переписывалась наша семейная история. И мама и Эся, они-то все знали (теперь я понимаю, что значило

Эсино «тебе *тоже* крикнули под руку?». Воображаю себе ее состояние, когда она меня увидела). Конечно, ревностно оберегаемой семейной тайной это, строго говоря, назвать было нельзя. Какая тайна, когда в свое время пол-Вены об этом знало. Просто в доме повешенного никогда не упоминалось о веревке. Дочери об этом не говорили, как поздней мама не говорила об этом со мной, а других источников, в Харькове... Кроме того, между катастрофой в масштабе одной венской семьи и моим рождением пролегли гекатомбы Освенцима и Гулага, сгорела Европа. Может быть, мой харьковский учитель — ученик деда — об этом что-то и слышал из третьих рук, еще до войны. Но там, сообщая с мамой, деду воскурался фимиам, совершенно несовместимый с пересудами такого характера. То, что бабка умерла в Вене молодой, оставив деда с двумя крошечными дочерьми, для меня было фактом столь же несомненным, как существование этих самых малюток, деда, Вены. (Интересно, как сложилась ее жизнь, кто был счастливым соперником, — может быть, она действительно умерла в том же году, например, от родов? Это было бы весьма литературным выходом из положения и не очень бы противоречило тому, что говорилось мне. Старая служанка тоже ведь литературный образ: Эвриклея, узнавшая Одиссея по шраму, ничего не знала. Уехали, и все, больше она в Вене не была.) Вообще-то обман исходил от мамы — не от Эси. А вдруг Эся была уверена, что я все знаю, мы с ней не так уж и часто встречались в Израиле, чтобы обо всем успеть переговорить.

Сквозь стук вагонных колес и звуки немецкой речи, так славно себя не стеснявшейся, мои мысли фильтруются. Доротей Кунце... И она утверждает, что не была знакома ни с каким Йозефом Готтлибом? Впрочем, что она лжет, было с самого начала ясно. Просто все стало на свои места — этот ее шок при виде головы в зеркале, во мраке прихожей... Варшавская старушка ведь тоже увидела меня не в лучах юпитеров. А шрам — это облегченная редакция («*ossia*» пишут в нотах) зияющей кро-

вавой раны, без которой уважающему себя привидению стыдно показаться.

Поразительно параллельны наши судьбы с дедом, словно я обречен был мистическим образом повторить его жизнь. Продолжить прерванные розыски, чтобы узнать свое будущее? Оно того не стоило. Оно представлялось настолько серым и пресным, насколько в былые годы виделось ослепительно-радужным, головокружительно-праздничным, Парижем духа. Для того чтобы я вновь подрядился играть «Эркуюля Пуаро и Агату Кристи в одном лице», положительно требовалось нажать на другую клавишу, как это и случилось на вокзале в Берлине.

Не знаю, как у кого, но в моей жизни — я не устану это твердить — все подстроено. На первой западной станции, «Берлин — Зоологический сад» (эвфемизм для обозначения капиталистических джунглей) поезд стоял минут двадцать. Я вышел на перрон — порадоваться перемене обстановки. Дошел до газетного киоска, где за нормальные деньги, на которые польская семья могла бы кормиться три дня, купил газету. Называлась она «Русская мысль». Если не считать симпатичного шрифта, которым это название было набрано, больше всего мне нравилась в ней светская хроника: «Союз русских кадет во Франции рад сообщить своим членам и членам их семей, что традиционная чашечка чая состоится в этом году на кладбище Сент-Женевьев де Буа». Или объявления — меж которых уже, правда, не встречалось гениальное «Даю уроки рояля за право пользоваться ванной», но все же из номера в номер кто-то с настойчивостью судна, терпящего бедствие, предлагал за умеренную плату уроки русского языка плюс несложные услуги по хозяйству (т.е. сетку с продуктами тяжелее полутора килограммов бедняга уже поднять не мог). А редактировал эту газету не какой-нибудь иванов-петров-семенов, но княгиня Беловежская-Пущина.

Но и помимо всех этих эмигрантских виньеток, в «Русской мысли» могло попасться что-то занятное. Ну

вот хотя бы... «Свободная трибуна» (рубрика), на целый разворот. Я еще стоял на перроне — кто-то повернулся спиной ко мне (в окне), освобождая путь пробирающемуся по коридору пассажиру с чемоданом. Говорю это к тому, что, увидя, о чем и кто со «свободной трибуны» вещает, я еще мог под предлогом, что «встретил знакомого» («Как, снова знакомого!» — воскликнет сосед-кларнетист, намская на мой, уже всему оркестру ставший известным, гоголевский опыт в Варшаве), перебраться в другой вагон, от всех подальше, и там прочитать — в обратном переводе с английского — статью Валерия Лисовского. Наверное, тоже сперва ее Ирине читал... Прилагается фотопортрет автора, парящего над миром с закрытыми глазами, ухватившись одной рукой за дирижерскую палочку.

«Нам не надо представлять любителям музыки Валерия Лисовского. За короткое время имя этого дирижера, выпускника Московской консерватории, приобрело громкую славу. «Роберт-Дьявол» на сцене и он же за дирижерским пультом», писала торонтская «Дейли Мейл» после его выступления в Мейлитоуп Хауз. «Со времен Бруно Вальтера венцам еще не доводилось слышать столь совершенного исполнения «Линцской» симфонии. Невроятно, но композитор и дирижер на сей раз встретились как два равноправных партнера», — замечает критик газеты «Винер Музикцайтунг». Не так давно на страницах популярного израильского еженедельника «Джерузалем Тауэр» появилась статья Валерия Лисовского по вопросу, давно уже вызывающему горячие споры среди израильской общественности: быть или не быть в репертуаре израильских концертных залов сочинениям таких композиторов, как Р. Вагнер, Р. Штраус и Г. Кунце. Уже из названия статьи следует, что высокоодаренный музыкант говорит «нет» в самой категорической форме (статья называлась «Не быть»). Напоминаем нашим читателям, что эту нелегкую проблему, стоящую сегодня перед израильянами, решать со временем предстоит и нам. И у нас были, да и продолжают быть, свои Кунце,

свои Рихарды Штраусы — во всех сферах культурной деятельности. Какая судьба ожидает их произведения в грядущей, неподсоветской России?

Не быть. (Сокращенный перевод с английского Иды Каминки я сокращу еще в полтора раза.) В государстве евреев — народа, давшего миру бесчисленное число выдающихся музыкантов, — не звучит музыка трех немецких композиторов (...). Нет закона, который запрещал бы ее к исполнению. Однако попробуйте поставить в программу концерта любое сочинение любого из вышеперечисленных композиторов, и вся страна вскрикнет, как от боли. Зальется краской стыда — как от плевок. Сегодня раздаются голоса: игнорировать во имя некой абстрактной культуры болшевы рефлексы нации. Но боль, как известно, защитная реакция любого живого организма, притом реакция произвольная, так что доводам рассудка не поддающаяся. Можно, правда, вызвать усиленные наряды полиции. Другими словами, связать, привязать к стулу вопящего от боли, одновременно просвещая: нам (полиции, муниципалитету, правительству) не по душе желание этих господ исполнять «Траурный марш» из «Гибели богов», но мы готовы умереть за их право это сделать. Потому что мы — свободное демократическое государство. Да... свободное демократическое государство — как и любое другое, даром что еще немногим больше четверти века назад эти самые марширующие «боги» за нами не признавали права на жизнь. Теперь нам позволено стать «как все». Станем? Будем? Будем как ни в чем не бывало слушать «Путешествие Зигфрида по Рейну»? «Культурный альтруизм евреев заслуживает похвалы», — писал Ницше — превратимся в сверхчеловеков, для которых есть только одна мука — быть отлученными от некой абстрактной формулы прекрасного?

Довольно! Нет абстрактной красоты, красоты для сверхчеловеков, — вернее, мы знаем, какой ценой за нее приходится платить. Дело не в личностях реальных носителей этой надзвездной культуры, пребывающей по ту

сторону добра и зла, хотя их безнравственность глубоко симптоматична. (Следует тем не менее основательный пересказ расовых тсорий Вагнера и отдельных эпизодов из дневников Козимы Лист.) (...) Дело отнюдь не в характере и не в поступках этих людей, а в том, что притягательность их музыки для человечества — притягательность огня; «Ах, Вагнер велик», — толкуют на все лады его апологеты. «Ах, Кунце пленителен». Ясно, если б Вагнер не был «велик», если б Кунце не был «пленителен», если б они были посредственностями, они не принесли бы в мир и малой части того зла, которое истребительный механизм нацизма сумел так чудовищно и так полно реализовать. Что, если бы нищий художник и заурядный антисемит Шикльгрубер не ходил в Вене, как маньяк, на все подряд представления «Тристана и Изольды», до одурения, десятки раз, — валяясь потом на диване и заходясь от восторгов, — может быть, ничего бы вообще не было? По мне так это совсем не исключено. Мой тезис: не Гитлер убил шесть миллионов евреев, а Вагнер сделал это его руками. Мелодии из опер Кунце запоминались его современниками как «Love story» или «Yesterday», а с ними в душу западал и текст: «Привет тебе, мой рыцарь! Но если меч твой обогрен еврейской кровью, то тысяча тебе приветствий». Антисемитизм Кунце отличала особая изощренность: к старой католической выучке, к новейшей немецкой фразеологии прибавлялись еще замашки декадента. Если угодно, в нем было что-то от сексуального убийцы, в отличие от обычного убийцы, стремящегося любовно обладать своею жертвой. Отсюда женитьба на еврейке, женитьба, которой предшествовала многолетняя дружба с ее первым мужем — сврсем-скрипачом Йозефом Готлибом. Неофитский пыл его перешедшей в католичество жены граничит с безумием (по слухам, на Страстной неделе у нее появлялись стигматы). Ее экзальтированный антисемитизм позднее позволил всяким гиммлерам и розенбергам начисто забыть о происхождении этой видной нацистской гранд-дамы (между тем как ее первый

муж в 1941 г. будет расстрелян). Погибший на восточном фронте сын Кунце успешно сотрудничает в «Штюрмере», страшно умиляя этим своих родителей. «В «Штюрмере» и только в «Штюрмере», мать, мое место, — сказал мне Клаус. — Он вылитый отец: утонченный предельно и при этом не боящийся прослыть вульгарным среди тех, кто, прячась в клозетах, читает панегирик убийце Шиллера». Так пишет Вера Кунце своей приятельнице Матильде Глинке (внучке Менцеля). Поверившая, как и многие в те годы, что Гете убил Шиллера, она имеет в виду запрещенный в нацистской Германии роман Томаса Манна «Лотта в Веймаре». И далее с нарочито геббельсовской интонацией восклицает: «Долой эстетику художников-педерастов!» Кунце боготворил эту женщину: считал своей музой, поощрял ее экстремизм, ее дурную экстравагантность — питая этим собственное творчество. Она пишет для него либретто «Медси». Счастливая детоубийца Медси — это она сама, отрекшаяся от своих детей от первого брака. Убийство детей для Медси — акт разрыва с соплеменниками, поклоняющимися лишь золотому руну. Старая песня, да и исполнена не очень оригинально — слишком уж явная аналогия с золотом нибелунгов. «Медси» не immoralна, скажет Кунце. Это таинство рождения новой морали. Как из хлеба и вина рождается новая сущность, так восстает, пройдя очищение кровью, изменой та мораль, что возвещена нам со страниц Нового завета: «Не мир Я принес вам, но меч. Этот меч и куем мы сегодня — меч Христа-Зигфрида». (...) Как и Вагнер, Кунце прекрасно отдавал себе отчет в деструктивности своего гения — не в пример тем, кому хочется представить его сочинения таким иносказанием добра и красоты в модных по тогдашним временам экспрессионистских одеждах. Может быть, не будем притворяться и назовем вещи своими именами: сторонники исполнения Вагнера и Кунце в Израиле — под флагом ли борьбы с обскурантизмом, по причине ли их «художественных достоинств» — суть те же медси, пожелавшие любой ценой освободиться от своего еврей-

ства. Пускай освобождаются, это их дело. Но не у нас. Непотребно, кощунственно проводить подобные сеансы в Израиле — Израиль еще и дом для шести миллионов погибших. (...) Талант, даже самый великий талант, — еще не индульгенция. Наоборот, это тяжкая ноша, которая не каждому по силам. И потому при мысли об ином гении вздыхаешь: лучше б он не родился. Вагнер и Кунце из их числа».

В рубрике «Свободная трибуна» обычно помещалось и контр-мнение. Оппонировал Лисовскому его земляк — в прошлом и настоящем — какой-то инженер из Хайфы. «Русская мысль», всегда скорая на редакционный комментарий, в данном случае держала строгий нейтралитет, как бы говоря: этот спор славян между собою, домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос, которого не разрешите вы. И так постоянно, когда дело касалось Израиля: казенный дифирамб — или молчок, чтобы, Боже упаси, русскими устами не ляпнуть чего. Воображаю, что на самом деле думала обо всем этом, и вообще и в частности, княгиня Беловежская-Пушкина, умудрившаяся когда-то написать, что во время погромов в России не погиб ни один еврей. Ведь она была в этом искренне убеждена — любопытно, в чем еще. Не скажет, боится...

С другой стороны, чего хотеть от несчастного русского эмигрантского официоза, когда — это было перед летом — смотрю большую передачу: на смерть одного знаменитого метафизика, который в тридцатые годы не хотел упускать свой шанс стать вторым Аристотелем при втором Александре Македонском. Смотрю и вижу: на роль плакальчиков приглашены еврейка и испанец. Наоборот, «горькую же правду» говорил с экрана человек с баварским акцентом. Психологически еще похлеще Версальского мира: откармливать нацию как каплунов и чтобы при этом изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие — из минуты в минуту! — нация твердила о том, как она сама себе отвратительна. Поглядим, чем это кончится на сей раз. Во всяком слу-

час, когда на месте «стран народной демократии» раньше или позже возникнет новая Австро-Венгрия, а Германия — воссоединится, о, она еще это припомнит.

Я отвлекся. Верней, попытался себя отвлечь. Возражения инженера из Хайфы были беспомощны до того, что казалось, сам Лисовский их и написал. То есть я хочу сказать, что они ему играли на руку: «...надо уметь отделять реакционное мировоззрение композитора от созданных им шедевров, каковые уже более не есть собственность определенной идеологии, ибо мировая культура — процесс неделимый, она наше общее достояние, евреев как раз всегда отличала широта взглядов, восприимчивость к, казалось бы, чуждой эстетике, чем и объясняется непропорционально огромный вклад их, то есть наш (спор-то домашний, между своими), в мировую культуру, которая — процесс неделимый, она наше общее достояние...» Тут инженер попадает в заколдованный круг, из которого вырваться ему удастся, только заявив, что мы не какие-нибудь там коммунисты, это они все запрещают у себя.

Купе, где я думал уединиться, выбрано оказалось неудачно. Его делили со мной два кувейтских студента. Мой израильский паспорт в сочетании с газетной кириллицей вызвали у них горячее желание со мной по дискутировать. И я, только чтобы меня оставили в покое, поспешил со всем согласиться: да, я русский, перешедший в иудаизм, да, мой израильский паспорт — комедия, да, не бывает в культуре незначительных явлений (это уже явное издевательство над моим чтением, прямо как во сне), для антрополога культура бушменов представляет не меньший интерес, чем французская. А я в этот момент читаю: «Русская культура для еврея была не менее дорога, чем собственная».

Хотел у них спросить по ходу чтения: а как у антропологов, боль — это рефлекс? Но они бы не так меня поняли и все бы перевели в сферу арабо-еврейских отношений.

7

В любой этой истории (текста, народа, любовной) более всего я доверяю датам(...)

М.Каганская

Полдень, за окном проплывают кровли домов, городской пейзаж густеет. Вот и шпиль церкви святой Амалфеи. С возвращением в Циггорн! Перрон, вокзал, вокзальная площадь. Немецкие буржуа одеваются в дорогу как коммивояжеры — и не в дорогу тоже. Золотой-багряный-черный — цвета осени, урожай собран.

Такси — и домой. Девятнадцать дней как не бывало. Как будто никуда не уезжал из этого холостяцкого гнездышка — все еще ожидающего возвращения, но не моего, а Эриха, в чье затянувшееся отсутствие я просто поддерживаю им заведенный порядок. От меня — яблоко на столе. Съел и ушел бродить по центру. Пока город не наскучил, надо этим пользоваться.

Почему Лисовский, посторонний, знает такую вещь, а я нет? Он и здесь меня с легкостью кладет на обе лопатки. «Почему»... Он, верно, никаких америк не открыл. Вера Кунце — моя бабка, это настолько элементарно, что у той, ее невестки Доротеи, даже в мыслях не было, что это для меня тайна. Великий сыщик... Все... все переворачивается. Но и сходится же! Вместо того чтобы испытать, однако, по сему поводу чувство удов-

лствования, я, напротив, страдал: было оскорбительно *об этом* узнавать *от него*. Смесь старого оскорбления и нового, старой ревности и новой (тоже ведь совпадение) меня захлестнула. Вот когда я докажу, чего бы мне это ни стоило, что Вера и Готлиб Кунце спасали Юзефа Готлиба — докажу им всем назло! «Им» — под доспехами множественного числа скрывается единственное число: «ей».

Я кипел от клятв, сильных чувств, взад и вперед расхаживая по Циггорну. Сперва следовало весь скопившийся пар присовокупить к облачности и только потом думать о чем-то конкретно. Я подкрепился в ресторане «Тайбей» комплексным обедом номер десять: «супом пекинским» и «уткой гонконгской», и, надо сказать, на уровне желудка спор между Чан Кай-ши, Мао Цзедуном и Британской короной решен был прекрасно. В честь такого дела я еще зашел в кондитерскую Книгге (названную так по имени хозяина-кондитера, который был всего лишь однофамильцем знаменитого немецкого просветителя по части хороших манер, или, в лучшем случае, его опростившимся потомком — о том свидетельствовал портрет маслом над кассой: «Придворный кондитер Лоренц Книгге»).

Сидя над рюмкой грушевого ликера («Вильямсбирне», у меня вкус младенца), я вдруг потерял ощущение места, времени года... Мне казалось, что я на застекленной веранде где-то на Зюльте, за окном кричат чайки и ветрено. Женщина в вязаном берете, краснолицая, разомлевшая от тепла, ест в одиночестве свой торт так сосредоточенно, как будто это часть ее моциона. Но навяждение рассеялось. Чайки наклеены на стекло — что уместней было бы в детском саду, нежели в пощаженном английскими бомбардировщиками кафе «Книгге». Несуразную одинокую курортницу полукрестьянского вида (может, и она была как птицы: всего лишь приклеена к спинке стула?) заслонили от меня два абитуриента, два долговязых очкарика, из тех, что во время ходьбы при каждом широченном своем шаге еще привстают на

цыпочки. Я приложил ладонь ко лбу — не горит ли? Я еще помню, когда при этом прикосновении под ладонью было абсолютно гладко. Лоб мой был прохладен и влажен, как свежий вечер, опустившийся на большой европейский город вместе с морозящим дождем.

А зачем, собственно, он это написал? Обыкновенно музыканты в Израиле думают как раз наоборот: они «за». Людям, готовым перед Гейхал-ха-тарбут устроить костер из партитур Вагнера, Штрауса и Кунце, всегда недоставало поддержки музыкантов-профессионалов. Теперь они ее получили, и весьма авторитетную... Кстати, со Штраусом у Лисовского вышло как в «Египетских ночах» (Пушкина), где тоже обещаны трос — ценою жизни покупающие у Клеопатры ночь, — а представлены лишь двое: «Флавий, воин смелый» и «Критон, молодой мудрец». Нет, я решительно отказываюсь понять, что может заставить музыканта, молодого преуспевающего музыканта — будем надеяться, что в личной жизни он тоже счастлив — желать, чтобы *что бы то ни было было запрещено!* Это может быть только одно: скверный характер. А что, если... Я представил себе встречу — мало ли при каких обстоятельствах, в том же Гейхал-ха-тарбут — встречу Ирины и Эси. И Эся рассказывает о моем письме, а Ирина передает это своему маэстро, и тот: ах так! Нет, не стал бы он из-за меня, из-за пигмея, притом уже раздавленного раз, стараться. С другой стороны, может, и стал бы, из-за Ирины, если чувствует, что я в ее воспоминаниях не совсем пигмей.

...Ничего страшного, ничего страшного, что я не знал о Кунце и о моей бабке — что, казалось бы, азы кунцеведения. Азы доступны любому и каждому. А я до азов снизойду с высоты своего открытия. Судьба, я принимаю твой вызов! — как поется в оперетте «Нищий студент», — она же «Polnische «Götterdämmerung»; правда, эта реплика у меня прочно связана с неким тенором, у которого в голосе всегда возбужденно-истерическая нотка, и к тому же он страшно потеет на сцене — но я ведь люблю себя помучить.

А что, если они правы — вот такая мысль. Не приходило ли мне это в голову? Сейчас оставим все эмоции: оскорбленное самолюбие, комическую ревность (комическую, как зубная боль), и спокойно разберемся — не хочу быть по привычке на стороне того, от чьего лица ведется рассказ. Итак, моя позиция — ибо, помимо разболевшихся зубов, у меня еще есть позиция.

Немцев и русских связывает — если не считать общей границы, пролегающей через Польшу, — особая... «духовная честность»: сопереживания эстетические выдаются за сопереживания нравственные, из которых затем делаются практические выводы. Те произведения, где подмена эстетического образа этическим невозможна, отвергаются как легковесные, безыдейные, чуждые национальному духу — в силу своей правдивости требующему, чтобы ни в чем, включая и произведения искусства, *слова не расходились с делами*. В итоге крах — как раз в том, на что каждый уповал превыше всего. А упования были: у одних на *святость*, у других на *идеал*. Уже опыт показывает: использовать катарсис в земных целях — это губить свою душу. Как, впрочем, и цели. Другими словами, уподоблять эстетические ценности нравственным — то же, что вершить земной суд именем Бога (главное занятие ханжей). И если Равель к этому не располагает («легковесен»), то Вагнер, Чайковский, Достоевский — сколько угодно! (На страницах романа преступление, а на площади наказание.) Я не стремлюсь к парадоксам типа: такое искусство морально, которое аморально. Любое художественное произведение есть исключительно художественное произведение, не больше и не меньше. Кто выходит с ним как со знаменем, тот в любом случае поступает довольно подло. И решительно все равно, вознесено это знамя над головой или брошено к подножью Мавзолея. Нет, сй-Богу, даже говорить об этом больше не хочется — запрещать Вагнера или Кунце... А почему бы не запретить «Игру воды» — в память о всех не вернувшихся с купания? (Знаю, знаю, «Игра воды» не является сочинением идейно-содержа-

тельным, т.е. зовущим купаться. Что? Ах, сравнение кошунственнос...)

Долизав свою рюмочку, я ковбойским жестом — соответственно превращавшим задним числом ликер в бренди — метнул на столик монету в пять марок и вышел, не дожидаясь официантки.

Часы на Бирже показывали полшестого — «стрелки стали на пуанты». До городской библиотеки было недалеко. По дороге я сделал маленькое открытие, которое отстаивать не имеет смысла, если с ним кто-то не согласится. Чем западный город отличается от своего несчастного собрата по ту сторону Берлинской стены (и далее) — если темно и все кошки все равно серы (а ведь для многих вечерний город — он-то и есть *город*)? В этом не отдаешь себе отчета, но отличается он отблеском полировки на машинах: марки автомобилей в темноте не так бросаются в глаза, только повсеместное мерцание — инос, чем на Востоке.

А теперь к делу. Я возвратился домой с двумя книжечками: «По ту сторону любви и ненависти. Готлиб Кунце» и «Г.Кунце. Очерк жизни и творчества» — двух, предположим, между собой не знакомых авторов, одного зовут Стивен Кипнис, другого Вольфганг Франтишек. И вот что я, в частности, вычитал.

Готлиб Кунце рождается на свет двадцать третьего ноября (следовательно, Скорпион) тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года, опередив на несколько минут свою сестру Агату. Отец — Готлиб-Алоиз Кунце, оперный тенор. Мать — Алина, в девичестве Кугльбауэр, родом из Граца, хорошо играла на рояле и даже сама в концертах аккомпанировала мужу. Место рождения — Аугсбург. Кунце растет в атмосфере, по тогдашним понятиям, вседозволенности. Звук музыки его окружает с детства, по преимуществу второсортной музыки. Человеческие отношения тоже оставляют желать лучшего: мелкое интриганство на службе, в обществе жеманность, дома вылавливание тараканов из щей. У сестры Агаты красивый голос, и она поет мальчика-

раба в «Последнем дне Помпеи» — комической опере Зуппе, — но также и одного из трех гениев в «Волшебной флейте». Уроки рояля берет у матери и маленький Готлиб, но, несмотря на свою музыкальность, даже некоторое упорство, игра на инструменте ему дается чрезвычайно плохо.

Зимой тысяча восемьсот семьдесят девятого года Готлиб-Алоиз Кунце заболевает гнойным ларингитом и теряет голос. В поисках иных средств к существованию и даже в надежде разбогатеть он решает отправиться в Аргентину — там проживает друг его детства, которому это удалось. Жена отказывается ехать с ним. Семья распадается.

Одиннадцатилетний Готлиб с матерью и сестрой оказывается в Вене, под покровительством дяди Кристиана. Кристиан Кугльбауэр, как принято говорить в таких случаях, незаурядная личность: сочиняет стихи, пишет маслом (бесконечные вариации на тему Аполлона и Гиацинта), для непрофессионала недурно играет на рояле, профессионально же дядя Кристиан этими роялями торгует — он управляющий большим музыкальным магазином при нотном издательстве «Герцль и сыновья». (Оба автора, и Кипнис и Франтишек, при этом не устают повторять, что привязанность Кристиана Кугльбауэра к племяннику если и усиливалась под влиянием неких предосудительных эмоций, то именно благодаря необходимости их в себе подавлять. «И пусть здесь прозвучит тристанов аккорд», — многозначительно пишет Кипнис — ладно, пусть прозвучит, но уж что-то больно настойчиво меня в этом убеждают.)

Как-то племянник показывает дяде нотный листок с записью собственного сочинения: «Марш хайнбюндлеров». Так начинается путь Готлиба Кунце — композитора. Кристиан Кугльбауэр позаботился о том, чтобы с первых же шагов обучение племянника шло под руководством музыкальных звезд первой величины. Сам Брукнер, неговорчивый старик, одержимый лишь контрапунктом и

католичеством, проэкзаменовав мальчика, согласился заниматься с ним композицией. По его рекомендации, себя совершенно в данном случае не оправдавшей, Готлиба Кунце принимает в число своих учеников Теодор Лешетицкий. Вскоре они расстанутся, Кунце поступит к другому, менее известному виртуозу, но первоклассному учителю Адольфи, — впрочем, желаемых результатов это тоже не принесет. Кунце так никогда и не выучится сколько-нибудь сносно играть на рояле. Я даже не могу понять, почему — учитывая, с какой настойчивостью он к этому стремился.

Иное дело — его композиторские успехи. Брукнер настолько ценит своего ученика, что нередко поручает ему разучивать с оркестром свои новые произведения, не доверяя маститым дирижерам (скандал по этому поводу с Мальке). Приняв участие в ежегодном конкурсе на завершение «Неоконченной симфонии» Шуберта, девятнадцатилетний Кунце удостоивается главного приза — Моцартовской стипендии, на которую отправляется в Италию. Там он изучает старых итальянцев, какое-то время живет в монастыре близ Виченцы, пишет «Большую фугу для мужского хора, органа и симфонического оркестра на тему Григория Великого» (в память о решении Тридентского собора — благодаря гению Палестрины примирившего католическую церковь и многоголосное пение), пишет «Послание к Титу» — на стихи 9 — 16 из первой главы вышеназванного послания апостола Павла — для мощного унисона басов. И заболевает довольно редкой формой нервного расстройства. Он спит трижды в сутки, ровно по два часа с четвертью, засыпая через равные промежутки времени. И при этом ему постоянно мерещится присутствие где-то поблизости Алессандро Страделлы. Какое-то наваждение! Правда, он активно занимался Страделлой, отчасти еще и потому, что в девятнадцатом веке это имя было окружено романтическим ореолом: Страделла был застрелен или заколот вместе с женой, которую некогда отбил у одного венецианца.

Все завершается трехдневной каталепсией. Оправившись, Кунце уезжает из Италии — но не в Вену, а в Мюнхен, там он совершенно меняет композиторскую манеру: из ригориста превращается в несбужданного сладострастника гармонии. Хотя уроков Брукнера не забудет никогда. Но и в Вене тоже больше не появится — покуда жив Брукнер († 1896 г.).

Восемь лет, проведенные в Мюнхене, чрезвычайно важны для молодого Кунце и чрезвычайно плодотворны. За эти годы он становится европейской величиной. Взять хотя бы его оперу «Император Максимилиан», где вагнеровское золото неожиданно соседствует с золотом инков; где надменное арийское *maestoso** пропавается латиноамериканскими ритмами — ничего общего не имеющими с той стилизованной «Иберией», которую так любят выпускники Парижской консерватории. Скоро Ромэн Роллан назовет Кунце «Прометеем новой немецкой музыки». Другой иностранный писатель, подвизавшийся в это время на поприще музыкального рецензирования, откликнется на лондонскую премьеру «Императора Максимилиана» статьей под названием «Вагнер умер — да здравствует Кунце!» (Бернард Шоу в 1897 году).

Четырьмя годами раньше, как раз в год загадочной смерти Чайковского в Петербурге, приходит известие из Вены: Кристиан Кугльбауэр спешно перебрался за океан. Другое известие. Уже из-за океана, из Буэнос-Айреса: в возрасте сорока семи лет от рака горла скончался Готлиб-Алоиз Кунце. Судьба вернула ему голос — видно, не могла допустить, чтобы отец Готлиба Кунце улучшал породу аргентинских коров где-нибудь на границе с Парагваем. Он даже выступал перед публикой, но это была отсрочка платежа, причем под убийственный процент: гортань исцелилась от ларингита, чтобы быть затем пораженной раком.

Вместе с Рихардом Штраусом, Зоммером, Решом и

* Величественно (*um.*).

другими известными музыкантами Кунце основал общество по охране авторских прав композиторов.

Еще до отъезда в Италию Кунце приобрел навыки дирижирования. Теперь ему представилась возможность проявить себя как дирижеру, исполняя не только свои партитуры, но и многое из сокровищницы мировой музыки. Он концертирует по всей Европе, одной Вены избегает — как зачумленной. Короткое время он исполняет обязанности первого капельмейстера в Аугсбурге — где его еще многие помнят ребенком — и снова возвращается в Мюнхен.

И вдруг совершенно невероятное приглашение: тридцатилетнему музыканту, хоть и стяжавшему уже огромную популярность в Германии и за ее пределами, предлагают занять должность музыкального директора Венской оперы, должность, которую он вскоре уступит Густаву Малеру — как то впоследствии будет им объясняться — под нажимом еврейских кругов.

Но пока еще до подобных объяснений далеко. На Парижской Всемирной выставке тысяча восемьсот девяносто восьмого года (со стыдом узнаю, что русская музыка была там представлена Николаем — язык не сломайте — Фсопемтовичем Соловьевым) с громадным успехом исполняется струнный октет Кунце. Помимо автора, восторги относятся и к игре первого скрипача — шестнадцатилетнего вундеркинда из Мемеля Йозефа Готлиба. Завязывается дружба «Готлиба большого» с «Готлибом маленьким». Йозеф Готлиб станет первым исполнителем многих сочинений Кунце: скрипичного концерта, С-dur'ной сонаты, квартетов, трио. На исходе века, в октябре-ноябре 1899 года, они совершают совместное путешествие в Испанию и Португалию. Из впечатлений этой поездки рождается симфония-концертанте «Дон-Кихот и Дульсиня», программное сочинение для виолончели, скрипки и симфонического оркестра. В том же 1900 году пишется «Рог изобилия», оркестровые вариации на тему неизвестного миннезингера XIV века (в моей жизни первое услышанное сочи-

нение Кунце, еще в Харькове). Вещь встречает довольно прохладный прием, Кунце ее переделывает, правда, потом снова возвращается к первоначальной редакции.

Зато в тысяча девятьсот втором году пользуется триумфальным успехом «Баллада Редингской тюрьмы» для альта (певицы) и симфонического оркестра, посвященная памяти «К.К.» — скончавшегося незадолго до того в деревеньке Урбана, Иллинойс. После первого парижского исполнения этой вещи Парижская академия избирает Кунце своим членом-корреспондентом. (Дальнейшие академические титулы Кунце: в 1909 году Бреславльский университет присваивает ему степень доктора философии *honoris causa*; в 1934 году Оксфордский университет присуждает ему степень доктора музыки — в книге «По ту сторону любви и ненависти» приведена фотография, которую я уже однажды видел: Кунце в оксфордской мантии.)

В девятисотых — девятьсот десятых годах Кунце создает основные оперные сочинения: «Анабелла» (1904), «Обмененные головы» (1905), «Болтуня» (1907), «Покинутая Дидона» (1912), «Женщина в тени» (1919), «Медся» (1920).

В его личной жизни никаких видимых перемен не происходит. Одно время идут разговоры о его помолвке с некой Зисси Вермут (Wermuth), но, как шутили тогда, Кунце все же предпочитает остаться абстинентом. Лето тысяча девятьсот восьмого года он проводит на Бодензее, где от чрезмерного увлечения греблей у него развивается заболевание сердца. Врачи предписывают «режим»: Кунце полгода дышит сосновым воздухом в окрестностях Кенигсберга — и болезнь бесследно исчезает.

В 1910 году Кунце, которому сорок два года, впервые покидает европейский континент и отправляется в Соединенные Штаты дирижировать своими операми. Тогда же его отношения с Йозефом Готлибом, проникнутые до сих пор «настоящей сердечной близостью», на-

чинают охладевать и завершаются полным разрывом (1912 г.).

Я ожидал другого. Я думал, что это случилось намного позже — когда уже «пан профессор» стоял в своем кабинете с пистолетом у виска и повторилась история из чеховской «Дуэли». Ничего подобного. Черным по белому написано: полный разрыв с «Готтлибом маленьким» в год написания «Покинутой Дидоны». (В этот год мой дед Йозеф-Юзеф женится на рижской еврейке Вере Шелогге. Двадцатидвухлетняя Вера Шелогге, подобно многим молодым русским художникам, посещает в Мюнхене школу Абс («большая бревенчатая изба в псевдорусском стиле с петушками на Георгенштрассе», я в Мюнхене ни разу не был — наверное, не сохранилась). Йозеф Готтлиб оказался в Мюнхене по делам. Они познакомились, возвращаясь с одного концерта вместе в трамвае... Мне вспоминается, как в Харькове распевали: «Шел трамвай десятый номер, в том трамвае кто-то помер, тянут-тянут мертвеца, умца-дрица-цаца». Это и впрямь могла быть «десятка», ходившая тогда мимо концертного зала, мимо университета, в сторону Швабинга. Я это знаю, потому что как раз именно в этом самом десятом номере трамвая — в Мюнхене они были голубые, в отличие от Берлина — некая пассажирка разрядила свой пистолет в господина, сидевшего, «зажав между коленями футляр со скрипкой». Но это уже из другого романа.)

Первая мировая война совпадает у Кунце с периодом тяжелого душевного упадка. Он почти безвыездно живет в местечке Шпитак (Верхняя Австрия), ничего не пишет — «занимается на рояле». Отчасти это следствие шока, вызванного гибелью Агаты (сестры, утонувшей со всем своим семейством в самый канун войны, — действительно, «Титаник» в миниатюре), ну а отчасти... Кто может знать, что творилось в его душе.

Повод пробудиться, выйдя из затянувшегося кризиса, представился, когда из Буэнос-Айреса пришло приглашение: Кунце предлагали принять участие в большом

фестивале современной музыки, одновременно совершив концертное турне по ряду городов и стран Южной Америки. Он соглашается неохотно: «Что ж, съезжу на могилу отца» (он ее не найдет).

Пятого мая 1918 года Кунце на пароходе «Диаманте» отплывает из Киля в Рио-де-Жанейро — с заходом в Кадис и на Острова Зеленого Мыса (где его чуть не интернировали). Плавание длится более месяца и, если не считать инцидента с португальскими властями, проходит исключительно благоприятно. Стоит дивная тропическая погода: глубокий синий цвет воды и такое же темно-синее небо с белыми кучевыми облаками. А по ночам все ниже к горизонту опускается Большая Медведица и все выше и выше сияет Южный Крест. Свечение ночного океана поражает воображение, рождается замысел симфонической поэмы «Светочи моря». Десятого июня показался бразильский берег. Скала, называемая Сахарной Головою, указывает на вход в рио-де-жанейрский залив.

Негры всех оттенков черного цвета, чопорные бразильцы в черных костюмах и шляпах, а вокруг апельсины, мандарины, бананы, обезьяны, попугаи, крошечные мухи-птицы, летающие слоны-бабочки. Южное полушарие, тропическая зима в июне — Кунце окончательно воспрянул к новой жизни.

Турне растянулось на семь месяцев: Рио-де-Жанейро, Манаос — детище каучукового бума с его невероятной красоты оперным театром (посреди джунглей Амазонки!), снова Рио — в оба конца шесть тысяч километров, но Кунце это не смущает — Сан-Паулу, оттуда пароходом в Монтевидео. И наконец — Буэнос-Айрес. Полторамесячное пребывание в столице Аргентины отмечено, среди прочего, заминкой в отношениях со Стравинским, также гостем фестиваля. Но стоит ли считать этот эпизод однозначно «досадным», когда в результате возникает такая опера, как «Крещение Руси»? (Кстати, единственное произведение Кунце, которое Стравинский не бранил.)

Неожиданно он получает приглашение из Сантьяго: дать несколько концертов с Национальным симфоническим оркестром, недавно созданным. Следующая остановка Кунце — Лима. О выступлениях в Лиме никаких сведений не сохранилось, они, скорее всего, не состоялись по техническим причинам. Зато в качестве пианиста Кунце выступает в Гуаякиле (Эквадор), в том же самом зале, где Сен-Мартин торжественно передал полномочия верховного главнокомандующего Боливару. (Это малоинтересное само по себе событие навсегда останется в нашей памяти, наравне с Троянской войной или сдачей Бреды, благодаря семи страничкам, которые написал Борхес и назвал «Гуаякиль».) За Гуаякилем следует Богота — и неуспех. «Император Максимилиан», исполненный в концерте, не отвечал спросу, царившему среди тогдашних либералов — поздней вспыхнувшая между «консерваторами» и «либералами» война («виолентсия») уменьшит население Колумбии на двести тысяч человек.

Между тем в Европе война подошла к концу. Это известие застает Кунце в Каракасе, где, помимо концертов, он еще читает публичные лекции. Венесуэла — последняя страна в его латиноамериканском *tour de force**. Отсюда он отправляется назад в Европу, куда попадает точно на Рождество: 24 декабря «Морской гез» входит в гавань Хук-ван-Холланд. Но только пятью днями позже Кунце оказался в Вене. Причина: бумажная волокита, бесконечные военные проверки и в придачу первое за четыре года мирное Рождество.

Итак, Кунце приехал в Вену двадцать девятого декабря тысяча девятьсот восемнадцатого года. Он полон творческих планов, в Шпитале он больше заточать себя не намерен. Источники не сообщают, при каких обстоятельствах у него завязывается роман с моей бабушкой Верой (язык не поворачивается выговорить, но тем не менее и мама и Эся уже были на свете, и это была их

* Усилие (*фр.*).

мать). Классический треугольник просуществует, пока Медея не найдет в себе силы «убить своих детей» — то, что под сердцем она уже носит ребенка Кунце, придаст ей решимости. Кунце, по словам Стивена Кипниса, похищает Веру — как Ясон Медею, как Анд Персефону, как Страделла — неведомо кого; я решительно протестую против слова «похищение» — похитить можно лишь то, что лежит за закрытой дверью, а когда оно собственными ножками встает и уходит и риска никакого, разве это похищение? Но им нравится так, слово дышит любовной отвагой. Хотя вряд ли бы Йозеф Готтлиб пустился за ними с пистолетом. О его неудавшемся самоубийстве упоминается вскользь, дальнейшая его судьба и вовсе выпадает в сноску не длиннее строки. Правда, знаменитая фотография, иллюстрирующая эту сноску, воспроизводится в обеих книжках, но это уже не о нем, это уже обобщение, а на него самого плевать хотели.

Похищение предполагает бегство. И вот, никем не преследуемые, они укрываются за Пиренеями. Но это можно назвать и свадебным путешествием. И попыткой, уже совместно с любимой женщиной и в более доступной форме повторить лингвистическое переживание недавнего концертного турне. Наконец, попыткой расквитаться с прошлым: свадебное путешествие проходит по тем же самым местам, что путешествие с другом... Нет, все это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

В Португалии, в церкви, где похоронены король Педро и несчастная Инесса де Кастро — лишь бранным останкам которой было суждено принять королевские почести, — они становятся мужем и женой. При крещении Вера второе имя тоже получила — Инесса (Агнеса), но, кроме Кунце, ее никто не имел права так называть. В Португалии же рождается их сын: Флориан-Михаэль-Николаус Кунце родился в городке Эспириту Санту третьего ноября 1919 года — в первую годовщину прекращения огня.

Они еще почти год живут там, в Эспириту Санту написаны были «Женщина в тени» и «Медея». Но уже двадцать первого января 1921 года Кунце дирижирует в Вене премьерой «Медеи» — успех грандиозный. Двадцатые годы — странное время в истории Европы. У Кипниса имеется на сей предмет следующее рассуждение (он вообще болтун): 20-е годы — это несостоявшиеся 50-е. Та же осознающая себя спортивной и удобной «современность» — она же синоним прогресса, в противоположность старорежимному сословному кряхтенью. Жизнь в малогабаритных квартирках, оснащенных бытовой техникой и обставленных функциональной мебелью, кажется невероятно симпатичной. И при этом все как один в новых купальниках и плавках. Но в двадцатые годы это носило поверхностный характер, массовый лишь с виду. Потребовалось более солидное научно-техническое обеспечение (моря синтетики) плюс атомная бомба над головой; потребовалась еще одна война, с которой возвращаться было бы не то что некому, а неоткуда — чтобы наконец мещане устремились в конструктивистский рай, а не романтический.

Я же говорю, что Кипнис был болтун, а у болтунов всегда концы с концами сойдутся. По нему выходило, что немецкому традиционному романтику Кунце — несколько иронически-гофмановского склада — в двадцатые годы просто некуда было податься, кроме как в консервативно-шовинистический лагерь. Ибо альтернативой консерваторам были «пускающие колечками дым французы, не говоря, разумеется, об этом чудовищном Шенберге и его клике» (Кунце).

Франтишек здесь больше видит влияние Веры, которая таким образом искупала свой «второй первородный грех». Кунце был околдован этой женщиной, приобретшей над ним совершенно необъяснимую власть, — а в сущности достаточно невежественной и простой, кидавшейся из одной крайности в другую. Короче, Франтишек, по-моему, хороший антисемит — такого перца он задал бабушке Вере.

В двадцатые годы Кунце предстает перед нами степенным отцом семейства, педагогом, за которым ходит выводок маленьких кунце, правым радикалом и композитором, начинающим впадать в грех самоэпигонства (2-й фортепианный концерт, «Андреас Гофер» — но и «Крещение Руси»).

С победой национал-социализма Вера совсем теряет голову — по Франтишеку; а по Кипнису, они ее оба теряют — настолько, что перебираются в Германию. (Лето тридцать третьего года, солнечно, жарко. Средневековые города с их древними готическими соборами опустели, все разъехались на каникулы. По голубым — от незабудок — лугам идут счастливые дети с сачками:

Средь них был юный барабанщик,
Он песню веселую пел.
Но пульей вражеской сраженный,
Допеть до конца не успел.)

15.9.1935 г. — принятие «Нюрнбергских законов». В этот день Вера и Готлиб Кунце вывешивают нацистский флаг с надписью: «Мы говорим: да!» Какой-то театр абсурда.

Особой приязнью проникается к Кунце Геббельс — после скандала, повлекшего за собой уход Штрауса с поста президента Имперской музыкальной палаты. Геббельс лично утвердил программу одного чрезвычайно торжественного концерта — концерт должен был состояться на стадионе в Нюрнберге, транслироваться по радио, и прочая, и прочая — мы все это видели в кинохронике. Музыка исключительно вагнеровская: антракт к 3-му акту «Лоэнгрина», «Полет валькирий», «Прощание Вотана и заклинание огня», вступление к «Тристану», «Liebestod» (пауза, все подкрепляются пивом с бретцелем), вступление к «Тангейзеру», «Путешествие Зигфрида по Рейну», «Траурный марш», заключительная сцена из «Сумерек богов», вступление к «Мейстерзингерам». Штраус, которого предполагалось «установить» за дирижерским пультом, скорее всего,

уязвленный отсутствием своего имени в программе, нашел ее «несбалансированной»: как так, почему с ним заранее ничего не согласовали, он может и отказаться. На что последовал ответ, что у нас незаменимых нет. Однако равноценная Штраусу замена — дело нелегкое, а для Геббельса это уже был вопрос престижа. И Кунце без капризов, без всяких условий соглашается стать «штрейкбрехером». В точности как и сам Рихард Штраус — к своему вечному позору заменивший в тридцать третьем году отстраненного от концерта еврея Бруно Вальтера. Спустя несколько месяцев при встрече со Штраусом, вдруг налившимся — как это бывало с ним прежде чем дать ауфтакт, — Кунце спросил: «Что с вами, вы, кажется, сердитесь?» — «Милостивый государь, так не поступают». Кунце: «Это вам Бруно Вальтер сказал?»

После этого концерта Кунце единственный раз в своей жизни виделся с Гитлером. Томас Манн, сам при этом не присутствовавший, так описывает их свидание: «В течение какой-то позорной минуты Гитлер сверлил своим тупым взглядом, взглядом василиска, его маленькие, блеклые, совсем не «гетевские» глаза и прошагал дальше».

В тридцать шестом — тридцать седьмом годах Кунце иногда печатает статьи в газете «Дас Шварце Кор» — «особенно отвратительной, ибо она обладала известной литературной хваткой и бойкостью», по словам того же Томаса Манна. (Одну из этих статей процитировал Лисовский: «Медея» не immoralна. Это таинство рождения новой морали. Как из хлеба и вина рождается новая сущность, так восстает, пройдя очищение кровью, изменой та мораль, что возвещена нам со страниц Нового завета: не мир Я принес вам, но меч. Этот меч и куем мы сегодня — меч Христа-Зигфрида.)

В тридцать восьмом году торжественно отмечается семидесятилетие Готлиба Кунце. В Мюнхене проходит фестиваль его опер. Но вот в Париже — и этот факт своей боевой молодости с гордостью вспоминает Эся —

сорвана премьера «Le Baptême de la Russie». Член-корреспондент Французской Академии Кунце вернулся в свои пенаты провожаемый взамен оваций лишь извинениями да сожалениями, которые не устал ему приносить, даже через окно вагона, мосье де Капистан (директор оперы).

Прежде чем вспоминать о другом турне престарелого маэстро, более удачном — хотя и несравненно более драматическом, если с моей колокольни смотреть, — я замечу, что был озадачен фразой Франтишека, что, дескать, гомоэротизм носил в жизни Кунце характер эстетический и платонический. Раньше меня предостерегали даже от «самой мысли» (в связи с дядюшкой Кристианом), чем эту мысль подали. Теперь оказывается, что был все-таки «платонический гомоэротизм». Что я еще узнаю в ходе этого стриптиза — что «Готлиб маленький» оставил «Готлиба великого», тот всю первую мировую войну протерпел, а после отомстил, но, видимо, плохо управлялся с орудием мести, каковое по этой причине и возымело над ним «совершенно необъяснимую власть».

1940 г. — в программе гастролей Берлинской филармонии в Москве скрипичный концерт Кунце, в своей позднейшей редакции посвященный жене. (С.Эйзенштейн тогда ставил в Большом театре «Валькирию» к приезду Риббентропа.) Сам Кунце с супругой — имя которой не всегда стояло на титульном листе партитуры — здесь же в зале. А я знаю с маминых слов, что она с отцом ездила в Москву зимой сорокового, и им с большим трудом удалось тогда достать два билета на Берлинскую филармонию. Значит, они там были... Нет, разумеется, они не встретились. Даже глазами. Но теоретически — могли. Не только Суламифь Готлиб, Суля могла пожирать глазами в тот вечер свою мать вживе — но и та могла скользнуть по ней равнодушным взглядом. А что творилось тогда в душе Юзефа Готлиба... под звуки концерта, который впервые был *им* исполнен, для *него* писался, *ему* на самом деле посвящен. Соло играл до-

вольно хороший немецкий скрипач Рен (он сегодня живет в Гамбурге). Мне почему-то очень неприятно все это описывать. Даже не досадно, а именно неприятно.

К этому времени Доротея фон Клюгенау уже стала Доротеей Кунце. Несколько месяцев спустя Кунце напишет «Триумфальную песнь» — наши войска в Париже, унижение, которое ему пришлось испытать в этом городе, отомщено. Кунце не забывал обид, в них он черпал вдохновение (инцидент со Стравинским). И потом, в 1871 году одна «Триумфальная песнь» уже была сочинена по аналогичному случаю, почему, спрашивается, не потягаться с Иоганнесом Брамсом?

Страшный удар — гибель Клауса в сорок втором году. Однако здесь я ничего принципиально нового для себя не нахожу: супруги Кунце все больше впадают в мистицизм, у Веры даже наблюдаются признаки душевного расстройства, в начале сорок третьего — визит Геббельса. К сожалению, постоянно встречается: «Доротея Кунце вспоминает», «Доротея Кунце рассказывает» — а я знаю, что рассказам этой дамы верить нельзя.

29 февраля 1944 года. Накануне закончен «Плач студизуса Вагнера». Вспоминает уже не Доротея Кунце, а доктор Гаст, живший по соседству (наверное, в одной из вилл, мимо которых я проходил), случайно оказавшийся в то утро свидетелем, как говорится, разыгравшейся драмы:

«(...) Я согласился позавтракать с ними. За столом были Готлиб Кунце, его жена Вера — как всегда в трауре; их невестка, в свои двадцать два года ставшая вдовой, казавшаяся скорее мраморным изваянием, нежели живым человеком — а ведь я помнил ее совсем другой... (опускаю благую мысль о том, что людям надо жить в мире, а не убивать друг друга). Из сада доносился смех Инго, прелестного маленького толстячка, который постоянно — и не всегда безуспешно — порывался удрать к взрослым из-под опеки своей няни. Вера Кунце велела

убрать пятый прибор, что предназначался для гостившего у них одного молодого офицера. Демобилизованный в связи с ранением, изувечившим ему руку, он частый гость в семье своего погибшего друга и к тому же, кажется, дальний родственник вдовы. (Ах, так это, наверное, тот самый, который должен был передать Клаусу письмо от родителей. Как же его звали? Неважно. Я вспомнил: это письмо в альбоме, навсегда оставшееся нераспечатанным. Сомнительная символика. Зато не худший способ хранения писем... Вилли, его звали Вилли — Вилли Клюки фон Клюгенау.) Мне объясняют, что по утрам до завтрака их гость совершает пятикилометровую пробежку по лесу. Сегодня он проснулся позже и потому просил его к завтраку не ждать — он потом позавтракает сам.

Было неуютно. Кунце, если не считать нескольких глотков кофе, к еде не притрагивался. Его жена, напротив, ела жадно и неряшливо и говорила странные вещи: «Если б Наполеон не был импотентом, русская императрица не имела бы причин не выдавать за него свою дочь. Гибельный поход на Москву не состоялся бы. Россия, став естественной союзницей Франции, помогла бы той поставить Германию на колени, и по сей день Европа наслаждалась бы миром и благоденствием».

Доротея Кунце не подымала глаз, избегая смотреть на свекровь. Кунце извинился и сказал, что идет работать. Фрау Кунце прокричала ему вдогонку: «Так ты не думаешь, что все наши беды происходят от того, что Наполеон был импотентом?»

Тягостная сцена. Я попытался придать этой явно болезненной эскападе шуточный характер: «Вы говорите так, словно не было *Кольберга*, а между тем тысячи французских рабочих наполняют кинозалы своими аплодисментами, болея всей душой за каждый произведенный с нашей стороны меткий выстрел...»

Прогремел выстрел. На какое-то мгновение мы замерли на своих местах. Первой опомнилась Доротея и

как мать, пекущаяся прежде всего о своем ребенке, кинулась в сад — сделать необходимые распоряжения насчет Инго. Фрау Кунце и я поспешили наверх, в кабинет ее мужа — но легко сказать поспешили. Подняться в кабинет можно было только лифтом — эта несколько курьезная попытка великого артиста отгородиться от внешнего мира обернулась для нас мучительным топтанием перед дверцей в ожидании, пока спустится кабина. Что могло быть нелепей! Когда естественным побуждением было скорей броситься на помощь, моля Бога, чтобы эта помощь еще как-то была возможна.

Готлиб Кунце был распростерт ничком на полу. Пуля попала в сердце, пистолет валялся рядом. Мне не оставалось ничего другого, как констатировать смерть и подумать о бедной фрау Кунце. Она была в шоковом состоянии: не произнесла ни единого слова, глаза закрыты, только слегка покачивалась. Могло показаться, что она под воздействием гипноза. Но когда я прикоснулся к ее плечам, чтобы помочь ей сесть, она посмотрела на меня своим обычным пронизывающим насквозь взглядом и ледяным голосом спросила: «Вы не ошиблись, в сердце?» Я подтвердил. «Тогда надежды нет, и черед за мной». Признаться, смысл этих слов до моего сознания дошел только днем позже.

Вызванный снизу лифт поднялся, вошла Доротея. Едва окинув взглядом комнату, в которой в глаза бросался огромный портрет Адольфа Гитлера, она сняла телефонную трубку: «Полиция? Говорит фрау Кунце. Только что у себя в доме застрелился Готлиб Кунце».

Фрау Кунце, точно выведенная этими словами из оцепенения, вдруг вбежала в лифт — еще прежде, чем мы успели опомниться. В этот момент она уже безусловно не отвечала за свои поступки: в них проявилось не столько горе, сколько, я бы сказал, панический страх человека, одержимого манией преследования. Так, она не дала захлопнуться внизу дверце лифта, специально загородив ее, и мы потеряли изрядное количество минут, спускаясь по узкой винтовой лесенке,

которая вела во двор позади дома. Хорошо еще, что у Доротеи оказался при себе ключ от двери, обычно запертой. Но за это время бедная женщина успела скрыться. Попросив меня дожидаться полиции и все объяснить, Доротея в автомобиле отправилась на розыски. Когда прибыла полиция, я оказался в роли хозяина — ее разделил со мною чуть позднее вернувшийся с прогулки фронтовой товарищ Клауса Кунце. Сняв с нас показания, полицейский чин приказал увезти тело. После недолгого обсуждения, как лучше его снести вниз, лифту было отдано предпочтение перед узкой винтовой лестницей.

Доротея, возвратившаяся ни с чем, очень просила комиссара помочь ей в поисках свекрови — о чем тот немедленно распорядился по телефону(...)

Вспоминал доктор Гаст.

Несмотря на это, злосчастной Вере Кунце удастся никем не узнанной сесть в поезд и добраться до Ротмунда. Там, с ротмундского перрона, вечером того же дня она бросается под поезд. (Перрон в Ротмунде... еще как его знаю. «Добро пожаловать в Ротмунд, на родину поггенполя!»)

В этом месте Стивен Кипнис пускается в рассуждения о том, какой след в душе Веры все же оставила ее русская юность вообще, русская литература в частности, а если совсем конкретно, то «Анна Каренина».

Вольфганг Франтишек, человек европейский (судя по фамилии, даже восточно-европейский), не удостаивает Веру сравнения с Анной Карениной. Это за океаном все так или иначе связанное с Россией валят в одну кучу.

Готлибу и Вере Кунце были устроены государственные похороны, к тому же с воинскими почестями. Я раз видел в старой хронике нечто подобное и представляю, как это выглядело; между прочим, сидеть в седле в каске вермахта — то же самое, что пить шампанское из пивной кружки.

О том, как будет выглядеть их могила, супруги Кунце

заблаговременно позаботились, еще чуть ли не когда венчались в Португалии в виду трогательной усыпальницы Дона Педро и Агнесы де Кастро — «венчанных вопреки закону и монарху» (Камозэнс). «Боги меня пощадили, смертный меня сразил» — по воле Кунце должно было высечь (тоже «Лузиады») на плите белого мрамора; надгробие Веры должно было быть безымянным, из черного камня.

Вот и вся сказка.

8

А собственно говоря, почему я всегда представлял, что это было двойное самоубийство, когда он вовсе не собирался «брать ее с собой»? Потому что Кунце — оголтелый нацист, а в конце войны оголтелые нацисты, по примеру своих вождей, как писали в Союзе, «из страха перед справедливым возмездием...» и т.д. Вот почему.

Теперь я прочитал две книги о Кунце — их написано больше, но не думаю, чтобы их авторы открывали Америки: эта категория людей кормится, как правило, тем, что *интерпретирует* чужие открытия. Боже упаси, я им не враг, потому что сам не сверхчеловек; это хорошо, когда есть бесплатные обеды. Я лишь констатирую: для меня, краем уха слышавшего о самоубийстве мужа и жены Кунце в конце войны, естественно было предположить, что совершено сие из фанатизма, в четыре руки. Что могло быть иначе, что не всякое самоубийство на исходе войны в Германии имело идеологическую подоплеку — такое даже в голову не приходило. Разве не так поступят и Гитлер с Евой Браун, и супруги Геббельс...

Так же и Кипнис с Франтишеком — видят только то, что и собирались увидеть. В результате их одинаково обвели вокруг пальца. А ведь небось сравнивают свои работы, каждый находит у себя преимущества.

Я согласен с вышеприведенным (в эпиграфе) высказыванием: «... в любой этой истории (текста, народа, любовной) более всего я доверяю датам — этим дорожным знакам времени». Правда, дальше мысль развивается в несколько свободном направлении: «Хронология, конечно, не есть ни доказательство, ни утешение, но она хотя бы избавляет от тупикового чувства обманутости и обиды». Не знаю, как насчет утешения, но именно доказательством-то хронология и может быть, а доказанное с ее помощью кого-то утешит, кого-то наоборот. К этому я еще вернусь, можно не сомневаться.

Другое — несколько слов тем не менее в защиту обоих биографов Кунце. Их положение было худшим, нежели мое, и мне, как говорится, вольно над ними смеяться. В том, что им не попался «экслибрис» Йозефа Готлиба на одной из нотных партий в ротмундской опере, их вины не было. Как и не было моей заслуги в обратном. А там, где мы оказались информативно на равных, — там мы одинаково были слепы. Я имсю в виду «семейный альбом», по словам Петры, предназначавшийся для гостей. Кунцеведы, как и я, бесспорно, листали его — они путешествовали «в поисках материала», ссылаются же они постоянно на Доротею Кунце. Итак, альбом они этот видели — а значит, и то единственное, что в нем надо было увидеть; с другой стороны, как и я — отныне, — они знали, что у Кунце (наверное, все же не последнего бездаря в музыке) были серьезные проблемы с игрой на рояле, хотя всю жизнь он над собой работал, пытался превозмочь свою природу... Повторяю, и я и они здесь оказались слепы, слепы как Глазенапп — у которого я, к стыду своему, вдобавок был незадолго до того, как рассматривать снимки в альбоме. Был — и такой подсказке не внял.

Ладно, всему свое время. Как и обещал, я не собираюсь все держать при себе до финальной сцены. Но и в другую крайность впадать не стану: сообщать читателю что-либо, прежде чем об этом «узнаю сам». Для этого все же я не настолько в себе не уверен. Ибо «интригую-

ще» забегать вперед означает продолжать «зазывать» читателя — тогда как он уж и без того тебя читает.

Пришла пора снова наведаться в Бад Шлюссельфельд. Если в тот раз я сделал это без предупреждения, взял виллу хитростью, то нынче сам Бог велел застигнуть Доротею Кунце врасплох. У меня снова был сюрприз для нее (вероятно, действительно сюрприз). Между прочим, ее тогдашняя, мягко говоря, снисходительность к моему натиску — еще удивившая Петру — получала дополнительное объяснение: я не просто принес весть о спасении супругами Кунце Йозефа Готлиба (отвергнутую с порога в таком страхе, который и на «вестника» не мог не переноситься), я, как ни крути, имел основания претендовать на «родство».

А как теперь меня встретят в Бад Шлюссельфельде? Но странная вещь — человеческая природа: мне вдруг захотелось увидеть там Петру, с которой мы расстались при обстоятельствах, исключающих дружеские объятия при встрече. Ее колючий стриженный затылок я ощутил покоящимся на моей ладони. Это было нехорошо, и боюсь, что мои дела вообще плохи, раз я даже в святые Антонии больше не гожусь. Как бы подгадать с приездом, чтобы застать ее там? Я прикидывал. Я по-прежнему обучал Дэниса Рора — известного велофигуриста — чему-то вроде собачьего вальса (впрочем, мы продвинулись, он играл «Му Воплу», первый такт левой рукой, второй такт правой и потом как сначала — мы уже были близки к тому, что скоро он оставит позади своего учителя). Я мог выудить у Дэниса, когда его друг Тобиас поедет — как Красная Шапочка — к бабушке. Конечно, соблюдая все же известную осторожность.

Не понадобилось. Налетели осенние каникулы, и фрау Рор, отправившаяся с сыном на Мальорку, пожаловалась: она предлагала присоединиться к ним и Тобиасу с матерью (а то Дэнис один будет маяться), но те, как всегда, уезжают к бабушке (а известно ли мне, что эта бабушка — дочка (?) Готлиба Кунце, и Тобиас — его правнук?).

Щютценвальд осенью роскошен! Зимой, в сумерках, идти вдоль реки, мостиков, вилл было непередаваемо грустно и прекрасно. Однако осенняя роскошь притягивает километры стихотворных цитат — и, повторяюсь, в осени, особенно сейчас, идя желтым и красным лесом с его чернеющими стволами, я вижу цвета немецкого флага. Памятник древнему германцу — я о нем забыл...

В поезде пассажиров было меньше, чем на Рождество. Я, сидя, — а не в подвешенном состоянии, как в прошлый раз, читал «Цигторнер Штимме» (в подвешенном состоянии я, как помнится, пытался читать роман об овдовевшей лесозаводчице Доротее, но так и не добрался до коллизии — ей, конечно, надо было бы влюбиться в молодого эколога, протестующего против варварского обращения с родными дубами).

В «Цигторнер Штимме» я успел прочесть, при моих темпах, только об убийстве среди бела дня в Трахтенберге (злачный район Циггорна), да еще большую слюнявую статью о работе израильской разведки. Сейчас, после Энтеббе, Израиль опять внушал всем восхищение вперемешку с легким ужасом — как канатоходец, в рекламных целях балансирующий между двумя небоскребами. В городских кинотеатрах конкурировало между собой одновременно несколько боевиков на тему Энтеббе, на днях стали известны — или их выдумали — еще какие-то детали, ранее, как сказано было, сохранявшиеся в тайне. Снова пошла волна произраильских телевизионных передач. Израиль в этом смысле как Моисей в пустыне: должен был постоянно показывать человечеству какие-то фокусы, чтобы на короткое время привлекать его на свою сторону. Будем думать, что правомерно сравнение с Моисеем — а не с Сабба-таем Цви.

От «древнего германца» до виллы Кунце — пряничного домика ведьмы — рукой подать. За узором ограды знакомый мне «фольксваген» с ухмыляющейся по-плетейски бумажной сарделькой («Вольный имперский

город Цвейдорферхольц»), бросающей тень на интеллект водителя, — как потом выясняется, напрасно: интеллект что надо.

Все повторялось, но не совсем. Вместо того чтобы в ответ на звонок услышать голос Тобиаса, или его матери, или, на худой конец, «дочки Кунце», я увидел высунувшуюся из-за дома плешь — потом ее обладатель, настороженно поглядывая на меня, сделал шаг вперед и остановился. Что мне угодно?

Это была, очевидно, мужская половина той супружеской четы, охранявшей покой фрау Кунце, о которой мне говорила Петра.

Чистокровный еврей, по заверению мамы, я отвечаю вопросом на вопрос: а что, гнедиге фрау нет дома? На это (дурной пример заразителен) следует вопрос, существует ли у меня предварительная договоренность о встрече (к забору он не приближается), потому что, если нет такой договоренности, фрау Кунце меня не примет. Ну, это уж мое дело, если ее нет дома, то я подожду — предпочтительней внутри, но можно и снаружи.

Я могу, продолжает он, оставить записку... в почтовом ящике. Но ждать мне незачем, фрау Кунце так не принимает. Я сослался на недостаточное знание немецкой грамматики и сказал, что все-таки подожду — как я понимаю, либо она сама, либо ее гости, прибывшие в этом автомобиле, все же появятся в обозримом будущем, во всяком случае, у меня времени достаточно.

На этом переключка наша закончилась. В десяти метрах от забора рос священный ясень: его ствол окружала скамейка, и на ней я собрался продолжить чтение газеты. Заметка: у Петера Т., больше года как находящегося в коме, рождается ребенок — может ли такое быть?

Я встрепенулся, заслышав приближение автомобиля. Но автомобиль оказался радостно зеленого цвета — с белой спинкой и надписью «Полиция». Мой миролюбивый вид на лавочке с газетой, наверное, не совсем соответствовал описанию, данному по телефону, и потому, как мне кажется, двое полицейских проявили не-

которую нерешительность перед тем, как попросить у меня документы.

Это был слабый оттиск в реальности одной моей фантазии девятидесятилетней давности, когда, стоя почти на этом же самом месте, я представлял себе, как в иные времена чудесным образом извещенное о моем происхождении гестапо в лице двух своих агентов в одинаковых пальто и шляпах заталкивает меня в автомобиль (автомобиль с подножками, с глазными яблоками наружу и с запасным колесом за правой «щекой»).

Я протянул мой нуждающийся в срочном продлении темно-синий паспорт — размером со сберкнижку — и визитную карточку «концертмейстера циггорнской оперы»... господа могут оставить ее себе. Я понимаю, что их вызвал в приливе бдительности этот ужасный тип, стерегущий дом. Но это, сй-Богу, недоразумение. У меня срочное профессиональное дело к фрау Кунце, которая должна скоро вернуться, ибо не могла надолго уехать: у нее сейчас гостят внук Тобиас и ее невестка Петра, вот их машина. Я с ними со всеми прекрасно знаком. Я надеюсь, что, занимая эту лавочку, я не нарушаю порядка. Нет, визитную карточку они могут действительно себе оставить.

Полицейские в радующих глаз зеленых пиджачках смиренно извинились, я их от души простил, и мы расстались еще даже большими друзьями, чем встретились. Я взял газету, но не мог читать, так дрожали руки — почему? Полицейских испугался? Смешно, как присхали без меня, так и уехали без меня. С гестаповцами была лишь игра... Дух этого места на меня взъелся в облике доносчика — вот уж кому, видно, не впервой набирать номер, а может, и похуже — отвечать на звонки (только сейчас я понял, насколько в первый раз, когда я сюда пришел, мне были «подложены руки»). Чтобы успокоить нервы, надо было задать этому духу хорошую взбучку.

Я позвонил снова. Да, да, это я, нечего прятаться, я его вижу. Пусть выйдет сюда. На два слова. Потом — я ему гарантирую — живым и невредимым он вернется

туда, где стоит. И она тоже может выйти — дама, которая высовывается, я ее тоже вижу. Вы верные слуги, ваша госпожа может быть вами довольна... Да подойдите вы ближе, я хоть и говорю с русским акцентом, но мы не в сорок пятом году, нечего труситься... Ну, стойте там, только учтите, полиция уже больше сюда не придет, я им одну бумагу предъявил. Они ее прочесть не смогли, потому что она даже не по-русски написана, а еще хуже — по-древнееврейски (я прекрасно отдавал себе отчет в постыдной дурости такого поведения, но все эти годы, все эти годы мне было не на кого поднять голос, и во мне накопилось много крика, и уж я безоглядно отводил душу), а древнееврейского ваши мусора боятся. Едва только буквы завидят — уже боятся. Их так в полицейской школе учили. А вас чему в школе учили — что, когда видишь свреся, надо снять трубку и позвонить в полицию? Я расскажу вашей хозяйке, какие у нее преданные слуги, может, это ее утешит. Она сейчас будет очень нуждаться в утешении — я вам это обещаю — после того, что узнает от меня...

Я выдавил последнюю каплю гноя (есть такой вид мелкого сладострастия: давить белые головки прыщей) и, тяжело дыша, с чувством скорес опустошенности, чем удовлетворенности — как после чего-то постыдного — возвратился под священный ясень к оставленной газете — а в ней: Мухаммед Али снова чемпион мира, китайцы все еще оплакивают своего Великого Кормчего, в то время как мумию Рамзеса Второго привезли из Египта во Францию — «подлечиться», отец казненного на электрическом стуле Луиджи Лажи: «Если вы спросите, чего же я, собственно, добиваюсь, то я отвечу: правды, ничего кроме правды» (а я что отвечу? Может быть, положу руку на сердце, я признаюсь, что не настолько бескорыстен?). Не говоря о предстоящих выборах в бундестаг восьмого созыва.

У Доротеи Кунце был скучный дородный «мерседес» водорослевого — как и ее пальто — цвета. Стоя сзади, я поздоровался с ней как раз в тот момент, когда ее левая

нога в немецкой осенней обуви и голова кинодивы сороковых годов оказались снаружи. Она поворачивает ко мне свое лицо Зары Леандер. Я снова здороваюсь. Из глубины двора к ней торопится (ах, он инвалид, оказывается), как катер по бурным волнам, то ныряя, то выныривая, лысый человек. Я не знал, что он калека, — естественно, он меня испугался, у меня же на одну ногу больше. Он на ходу палкой тычет в меня и хочет что-то рассказать, от возбуждения он весь красный — но фрау Кунце одним движением пальца выключает его.

Она не очень-то расположена со мной встречаться сегодня... как, впрочем, и в другие дни тоже. (А Петра, она больше не «Мэкки», она отрастила волосы, колючий стриженный затылок отныне переключает в область фантазмов.)

Я закивал: этот стойкий оловянный солдатик как словно почувствовал это и даже вызвал полицию — поступок, уместный, может быть, лет сорок тому назад при появлении здесь еврея — скажем, Йозефа Готлиба... И замолчал, сам пораженный своими словами. А-а, Тобиас, привет. Тобиас немедленно отослан «к себе».

Она вынуждена меня попросить оставить ее в покое. Но, фрау Кунце... Иначе она сама позвонит в полицию. А я — в газету. Возможный перелив чувств в душе наружно никак не выразился, только пауза — три секунды на размышление. Которым я, правда, не дал истечь: фрау Кунце подозревает с моей стороны какие-то козни — я сказал про газету, потому что полиции я тоже не заслуживаю. В конце концов, разве я первым делом не к ней обратился — когда заподозрил, что мой дед во время войны обретался в этих краях. Я ни с кем кроме нее об этом не говорил, если не считать... В общем, практически ни с кем. Если не считать?.. Если не считать моей тетки Эстер, проживающей в Израиле. Но это неважно.

Я перевожу взгляд с Доротеи Кунце на Петру и чувствую, как против моего желания выражение моего лица меняется. Про себя я теперь ощущаю его как томно-насмешливое.

Петра вспыхивает и уходит: она у Тобиаса.

Хорошо. (Мне.) Она меня не ждала, у нее немного времени, и она просит быть покороче. Это означает приглашение войти; идя за нею, я подмигнул стоявшему поодаль инвалиду. Так что же моя тетка?

Она ведет меня не в гостиную, а в свой кабинет, или библиотеку, мы садимся в кресла блестящей черной кожи, слегка потрескавшейся от времени. В отличие от кабинета Кунце, это помещение очень мужское; еще одна дверь — что за ней, ее спальня с железной наполеоновской кроватью?

Да нет, моя тетка — это как раз неважно. Она живет в Иерусалиме, работает в «Яд вашем», это мемориал и при нем институт, занимающийся историей уничтожения евреев немцами, — словом, фрау Кунце сама может догадаться, как относится моя тетка и к Готлибу Кунце, и к немцам. Она, тетя Эстер, даже слушать не желает о том, что Готлиб Кунце — проклятый нацист, любимец Геббельса — и мог вдруг спасти ее отца. Тетя всегда активно боролась против исполнения музыки Кунце в Израиле. В этом вопросе — я имею в виду судьбу моего деда — тетя Эстер и фрау Кунце проявляют поразительное единодушие. В первом случае от большой любви к немцам, во втором — от неменьшей любви к евреям. Я никого не сужу... даже антисемитов. Антисемитизм — чувство общечеловеческое. В этом, наверное, что-то есть. Почему нельзя не любить евреев? А вот убивать тех, кого не любишь, — это уж нельзя.

Она просит избавить ее от нравучений, и если я не имею ей сказать ничего конкретного... Она встала. (А она куда менее гостеприимна сегодня — наверное, считает, что нет особенных причин со мной церемониться.)

А как же письмо, о котором я ей рассказал... Или она так и не связалась с Боссэ?

С этим музыкантом? Он не мог его найти. Но она убеждена, что это фальшивка, если только оно вообще когда-либо существовало. Впрочем, лет через сто этот

мнимый автограф Кунце, возможно, и обнаружится — чтобы пополнить коллекцию музея подделок в Брюгге.

Привстал и я, ошеломленный совершенно неслыханной наглостью, с которой был бит один из главных моих козырей. Боссэ... продать письмо... Интересно, сколько она ему заплатила? Как гнусно, однако, зары леандер могут улыбаться тебе в лицо, — видно, я все же попортил ей крови.

Фрау Кунце! Я хочу быть с вами откровенен. О том, что мой дед бывал здесь, вы знаете лучше меня. Когда вы в полумраке вдруг увидели мое лицо со шрамом, вам дурно стало, вам показалось, что вы видите призрак моего деда. Что за глупости! Тем не менее это так — почему она скрывает правду? Я же все равно до нее доберусь. Главное, если б я пытался опорочить Кунце или оскорбить: например, выставить гомосексуалистом — мысль, к которой прямо-таки подводят своего читателя авторы некоторых монографий.

Кунце — гомосексуалист? Ха-ха-ха! (Женщины всегда так неловко произносят это слово.) Старые басни. Смешно. Это абсолютно беспочвенная болтовня. Абсурд. Он — отец ее покойного мужа...

Он не отец вашего покойного мужа.

Вот та бомба, с которой я к ней приехал. Я полагаю, что взял реванш за письмо. Она становится белес снега. Еще бы! Это для нее действительно может быть неожиданность, а она уже на собственном опыте убедилась: во-первых, я знаю, что говорю, во-вторых, если я впи-ваюсь во что-то, то меня не оторвать. Отец ее мужа — так же, как и отец остальных детей Веры Кунце, — мой дед, Йозеф Готлиб. Я очень сожалею.

Вы шутите с огнем, молодой человек. Конечно, это неприятно, и я ее понимаю: с генеалогическим древом полная катастрофа, ее муж происходит и по отцовской и по материнской линии от каких-то прибалтийских евреев. Ее сын, ее внук больше не смогут называть Кунце своим дедом и прадедом. А ее как надули! Тридцать пять лет она считалась вдовой немецкого офицера, большес —

павшего на войне сына гениального немецкого композитора. Что теперь будет с ее терновым венцом? Тем, кто готов был в ней видеть олицетворение немецкой верности, ее фигура отныне покажется нелепой.

Нет, она не требует от меня никаких доказательств — как будто боится их получить. Такое ощущение даже, что, когда я сейчас эти доказательства начну приводить, она попытается зажать уши.

Она меня слышит? Я ездил недавно в Польшу. И там отыскал служанку, которая проработала в нашей семье, то есть в семье моего деда, двадцать лет, с восемнадцатого по тридцать девятый год. Ее зовут Галина Куковака, она русская из Галиции, нянчила мою покойную мать и поныне здравствующую тетку. При ней, на ее глазах и разыгралась семейная драма в доме деда. Она подробно описала мне, как это было в тот день, когда мой дед попытался покончить с собой... да, чтоб ее не смущал мой шрам: это память о войне Судного дня, случайное совпадение, если только в этом мире что-то бывает случайно. Собственно, только благодаря этой старухе, тогда восемнадцатилетней девушке, дед и остался жить. Она случайно увидела его, уже готового спустить собачку, и крикнула — дед промазал. Как известно, это было в апреле, в канун Пасхи, день она точно не помнит — не то в среду, не то в четверг. Все правильно, не так ли? Ее барыня ждала ребенка, это общеизвестно — задним числом служанка, как и все, считала, что от любовника. Но при этом барыня была уже на шестом месяце. Свидетельство невежественной женщины может быть недостоверным — и даже, скорей всего, будет недостоверным — в чем угодно, но в этом вопросе я на нее полагаюсь. Спрашивается, как можно уже шесть месяцев быть беременной от человека, если тот приехал в Европу на Рождество, а сейчас только Пасха? Чтобы это скрыть, чтобы подлинная дата рождения ребенка осталась никому не известной, новоиспеченные супруги Кунце и скрываются в глуши, в Португалии, целых два года — а отнюдь не спасаясь от преследований бывшего мужа, как это

намеренно представлялось. Сам «грозный преследователь» — третий, кто знал эту тайну, — ее не выдал. Наверное, между ними была договоренность, вроде того, что она обязуется никогда не искать встречи со своими дочерьми, а он забывает о третьем ребенке. Ведь Йозеф Готлиб был невменяем только в какой-то момент, самоубийство — это не цель, а средство, сильнодействующее болеутоляющее. Человек, который произвел в себя выстрел, даже если пистолет дал осечку, уже своей цели достиг, ему полегчало. После этого с ним можно разговаривать.

Фрау Кунце, однако, не сдается и успокаивает себя. Это все выглядит очень убедительно — если б еще имело под собой какое-то основание. Я так уверенно заявляю, что Клаус не сын Кунце, как будто имею какое-то бесспорное тому доказательство. Только у меня источники все как на подбор — по своей сомнительности: слепой флейтист, неграмотная старуха, живущая в Польше, сказавшая, что ее хозяйка была тогда якобы на шестом месяце беременности. Да кто ей поверит — настолько, чтобы... ну, прибавится к слуху о гомосексуализме еще один слухок. Нет ни одного великого человека, чью биографию не оплетали бы всякие грязные слухи — только кто из порядочных людей им верит?

Боюсь, что фрау Кунце себя зря успокаивает. Разумеется, болтовня какой-то старухи ничего не стоит. Просто я лично, я уже объяснил, в *этом* абсолютно ей доверяю, в *этом* она грамотная. А потому не поленюсь и — не поскуплюсь: поеду в Португалию, отыщу деревеньку или городишко Эспириту Санту и в тамошнем приходе попрошу выписку из церковной книги о крещении младенца Флориана-Михаэля-Николауса Кунце.

Фрау Кунце подошла к двери и открыла ее, затем к следующей. — тоже открыла, и так, пока, как по системе шлюзов, я не очутился на улице.

Оказывается, я — охотник. Оказывается, я могу быть одержим страстью к преследованию. Вот чего за собою не ведал, ассоциировал себя скорее с дичью, с мишенью.

Удивительное чувство — идти по следу. Уже неважно зачем, с чего все началось. Это может стать суррогатом творчества. Враг пытается петлять, выискивает лазейки — тщетно. Ты его медленно, но верно настигаешь.

С таким чувством я шел назад к станции, сильный, уверенный в себе человек. Напрасно из-за поворота предостерегающе вылетел автомобиль: мол, помни, — и, преследуя, будь начеку! Я проигнорировал. Не обратил внимания, что позднее тот же белый «ягуар» (их не Бог весть сколько в Бад Шлюссельфельде) стоял припаркованный на привокзальной стоянке. Я читал газету, местный «Тагесблатт» — ту я позабыл на лавочке. Между тем кто-то уже за мной наблюдал. Я ведь был меченый, меня легко было опознать. До поезда оставалось больше часа.

Так... снова матч века между Мухаммедом Али и, наверное, судя по результатам, Томом Сойером. Заметка об очередном генерале, ставшем очередным президентом: генерал Иенеш. Большая градирия нуждается в ремонте. В Доме Зайтца выставка рисунков вьетнамских детей, посвященная первой годовщине установления народной власти в Южном Вьетнаме. (Я релятивист — в том смысле, что зло бывает большим и меньшим. Интересно было бы послушать западных энтузиастов Вьетконга лет через десять, с другой стороны — возьмут на воспитание вьетнамскую девочку...) В Бангладеш в речку упал автобус, двести семьдесят человек утонуло, остальным удалось спастись.

Вот о чем писал местный «Тагесблатт» — не говоря опять же о предстоящих выборах в бундестаг восьмого созыва.

Генерал Иенеш — это к поездке в Португалию (как сказала бы гадалка). Эта страна для меня белое пятно. Слово «Португалия» отдает какой-то редкой породой, добываемой в недрах Испании, — а ведь уже сама по себе Испания с ее каравеллами, кастаньетами и гражданской войной окружена романтическим ореолом. Иногда португальский корабль декоративно проплывал на горизон-

те приключенческого английского романа. Годами для меня, советского жителя, Португалия политически была то же, что и географически: Испания, доведенная до крайности, последний тыл реакции. Крайне фашистская, крайне правая, крайне антикоммунистическая. Дальше отступать уже будет просто некуда — «за нами океан». Словом, полуостров Крым двадцатого года в европейских масштабах. А еще в Харькове показывали шпионскую кинокомедию в середине 60-х, где герой, поневоле агент всех разведок, после всех европейских столиц на десерт попадает в Лиссабон... В другом фильме, «Касабланка», герои мечтают только об одном: улететь — в Лиссабон. Как и в Испании, в Португалии были мараны, была инквизиция, и, лишившись своих евреев, подобно Испании, Португалия вскоре утратила свое могущество и мировое значение. (Где-то я об этом читал, скорее всего, у Фейхтвангера — а он, о чем бы ни писал, думает только о Германии. Не поленись, приведу цитату целиком: «Еврейская опасность» — это реально, только антисемитизм слишком самонадеян, чтобы верно ее интерпретировать, она — в невозможности обойтись без евреев после того, как что-то хоть раз не обошлось без них. Антисемит смотрит на евреев как на бутылку, отвадить от которой, по его мнению, можно и должно. И видится ему уже нация, вернувшаяся к своему доеврейскому величию, — любое прошлое величаво, включая и «доеврейское». Еврейская опасность — это искушение антисемитизмом, который для гонимых в целом меньшее зло, чем для гонителей. Последних в случае успеха ждет не просто бесчестие, оно кратковременно, но и полный упадок — чуть ли не на века». Конечно, он думал о Германии.)

Вроде бы у Израиля не было дипломатических отношений с Испанией — значит, с Португалией и по-давно, и требовалась наверняка виза. Мой паспорт был уже при последнем издыхании, до поездки в Израиль ни о каком туризме — с моим паспортом — и речи быть не могло. Но на обратном пути из Израиля завернуть в

Лиссабон было соблазнительно — чем летать туда-сюда, опять туда-сюда. Может быть, личные связи нашего интенданта с местным люфтвафзейским начальством, которыми он еще похвалялся, облегчат мне финансовое бремя, строго говоря, не совсем обычного маршрута: вряд ли между Тель-Авивом и Лиссабоном существовали, после того, что случилось в 1497 году, прямые рейсы, — следовательно, мне предстояла дополнительная пересадка в Афинах, Ларнаке или Риме. (Забегая вперед, скажу, что билет мне был оформлен по маршруту: Циггорн — Мюнхен — Тель-Авив — Стамбул — Лиссабон — Циггорн — и, казалось бы, совершенно невероятно: мне же еще выплатили какую-то разницу. Великая вещь — связи!) Я договорился с Ниметцем, договорился с Шором, договорился еще с концертмейстером из Ротмунда: он играет несколько спектаклей за меня, я по возвращении воздаю ему тем же; можно было бы и ротмундцу заплатить, но деньгами своими я все же дорожил больше, чем временем. В моем распоряжении три недели: пятнадцать дней на Израиль (в посольстве мне сказали, что в десять дней я тоже уложусь, но верить израильским чиновникам...), остальное — Португалия.

Ах, я позабыл! В Португалии происходит действие «Феликса Круля», которым я когда-то зачитывался. Вот еще откуда у меня эта отзывчивость на «Лиссабон». Я решил, что непременно куплю в дорогу «Круля», — и купил, за несколько марок, в мягкой обложке, на которой был воспроизведен прелестный плакат Иво Пухонного: девушка в малиновом платье с книжкой на коленях. У другого моего кумира, Набокова (в моей кумирне нескончаемые драки), в «Лолите» есть такая сцена: Гумберт из своего автомобиля разглядывает высыпающих на улицу школьниц, заставляя при этом Лолиту себя ласкать. Я не думаю, что мне будет хуже, чем ему: сидя в кафе на площади О Рочо, лжемаркиз Веноста украдкой разглядывал восемнадцатилетнюю Сусанну с какой-то там птичьей фамилией.

«Господин Аксель Рор с супругой имеют честь пригласить Вас 16 октября на домашний концерт. Начало в 20.00» — помещалось внутри тисненной золотом лиры.

Такое приглашение получил и я — на память. Вопреки моему же желанию, я был для них неуловим: в отпуске я в Баденвейлере, затем не успел вернуться, как уехал в Польшу, теперь через две с половиной недели снова уезжаю на три недели. Остальные исполнители квинтета «Форель» чувствовали, как идут насмарку усилия целого года, и жаждали, пока не поздно, увеселить их публичным выступлением — до моего отъезда. Я улетал семнадцатого. А концерт (с последующим небольшим возлиянием) происходил, как явствует из приглашения, прямо накануне вечером.

Герр Рор страшно извинялся, что так вышло, но по мне это было даже занятно: не «с корабля на бал», а наоборот — с бала на корабль. Как бы отвальная в мою честь.

Как безумцы, репетировали мои концертанты в последние две недели. До таких высот мы, пожалуй, еще никогда не поднимались. В нотах первого пюльта «Летучего Голландца», в финале, против слов «до самой смерти» какой-то замученный дирижером человек приписал «репетировать». Я им это рассказал, они засмеялись «шутке музыкантов», но никаких выводов из этого не сделали.

Я спросил фрау Рор, много ли будет у нас слушателей. Сто человек. Девяносто девять из них меня не интересовали. Пришлось схитрить. Дэнис будет? Как же иначе. И не скучно ему будет, бедняге, в этом море взрослых? Нет, его приятель Тобиас тоже придет вместе с родителями.

Я задумался. Вернее, размышлялся. Признаться — хотя она и выставила меня из машины, словно попавшегося на шулерстве! — я все же не ждал, что почти год спустя при моем появлении она повернется и уйдет. Не ждал и был уязвлен. И вот я выходил со скрипкой. Конечно, мое инкогнито летело к черту, зато какой эффект!

Я уговаривал себя, что игра все равно уже близится к концу — не уточняя, к какому именно — и что первые узелки можно начинать развязывать. При этом присутствие ее мужа меня больше интриговало, чем смущало.

Как, разве не она, не фрау Рор сама мне говорила, что родители этого мальчика — Тобиаса, правнука Кунце — в разводе или, во всяком случае, близки к тому?

Она такое говорила? Не-ет...

Я поймал себя на том, что в последнее время стал чаще заниматься перед зеркалом, чего раньше почти не делал. Не принципиально — теоретическая сторона вопроса меня не интересовала — просто мешало играющее отражение (согласно теории, привычка постоянно себя созерцать могла стать помехой на эстраде, куда трюмо не втащишь). Теперь мне понравилось любоваться «со стороны» автоматизмом движений рук, пальцев — не знаю, содействовало ли это их совершенствованию (или было просто блаженно-бессмысленным, по примеру иных литераторов, «перечитыванием собственных сочинений»), но факт: в такой хорошей скрипичной форме я не был никогда.

Я все сложил в дорогу. В Израиле уже стояла осень, в Иерусалиме мягкая, в Тель-Авиве жарче — но все же не настолько, чтобы пополнять свой гардероб одеждой, которая в Европе бы не понадобилась. Не скажу, что мне хотелось появиться в Израиле богатым дядюшкой, да мне бы и в голову не пришло дразнить Эсю своим преуспевающим видом. Но как-то хотелось перечеркнуть (анонимно, для себя) какие-то бытовые унижения: от вульгарного презрения улицы и тотальной недоступности *всего*, что на ней продавалось, до — порой — физического голода. У меня был вместе с билетом заказан номер — в одной из тех гостиниц на набережной, мимо которых я прохаживался как Чарли Чаплин. Мы прохаживались... (Я не предполагал увидеться с Ириной, тем более не собирался искать с ней встречи, но и совершенно исключить таковую тоже не мог. Если

да — то как это будет? Этот вопрос я, естественно, себе задавал.)

Я сложил вещи, закрыл чемодан, приготовил паспорт, билет, трэвелсчески «Немецкого банка», где у меня был счет, и уехал к Рорам. Их дом был освещен как пассажирский корабль ночью, только музыка не играла. Пока что.

Музыканты, к которым, минуя уже полную гостиную народу, меня провела фрау Рор, волновались: сперва что я не приду; поскольку с моим приходом волнение не унялось, а даже наоборот, ему надо было подыскать другую причину. Подыскали, теплее: в такой-то цифре на последней репетиции виолончель вступила на такт раньше — а что, если и сегодня... Контрабасист вдруг стал жаловаться на боль в руке. Я предупредил: если что-то случается, как ни в чем не бывало идем дальше, никакой паники — это была моя ошибка, это слово, «паника», нельзя было произносить.

У Рора отстегнулась бабочка — черный набоковский аполлон... или томасманновская *hetaera esmeralda* — и пальцы так дрожали, что пришлось мне ее застегивать. Пока я колдовал над беззащитным горлом хозяина дома, виолончелист рассказывал про какого-то виолончельного героя, который не признавал «фальшивых» бабочек, говоря: «Настоящий артист начинается с умения завязывать себе бабочку». (Подобными историями он был нашпигован — я еще помню дорогу в Ротмунд в его компании.)

В конце концов их психоз начал передаваться и мне. Я поймал себя на этом — и стыдил: где? перед кем? Но волнение иррационально, мандраж, бывает, охватывает и при самой невзыскательной аудитории. Или, например, в ответственных ситуациях держишься молодцом — на то они и ответственные. Но кто знает, что в жизни ответственно, а что не очень — не хватает только опозориться сейчас: та-та-та, концертмейстер... И бывают ли неотчетливые ситуации?

Таким вредительским рассуждениям, которые ве-

дешь помимо воли с самим собою, срочно надо было преградить путь. Моя «Берлинская стена» против неугодных мыслей воздвигалась мгновенно — тоже из мыслей, из воспоминаний, и вообще если б вы знали из какого сора.

Нарядная, причесанная в парикмахерской фрау Рор, уже несколько раз к нам заглядывавшая, спросила нас раз, готовы ли мы, потому что гости — готовы. (У моей команды в груди ухнуло, как перед расстрелом.)

Никакого подиума не было — несколько цветочных вазонов изображали Эдем и одновременно его ограду, за которой мы, пять грешных Адамов, творили Осанну в вышних, как умели. Умели мы так себе — по сравнению с теми, кто получал за это гонорар, но Шуберт и не предполагал за собиравшимися по вечерам пятью или четырьмя мужчинами профессионального умения фехтовать. Уступая мастерам клинка, через вечер устраивающим показательные сражения под тысячную овацию, мы тем не менее с нашим неуклюжим домашним музицированием были ближе к оригиналу — только остальные четверо об этом не подозревали. Они привычно боготворили харизматических виртуозов, питая надежду хоть немного походить на своих богов. Коль скоро отблеск этой божественности лежал и на мне, я на этот счет не распространялся.

Рассматривает ли исполнитель публику? Из очень великих, наверное, не всякий, некоторые демонстративно предоставляют публике право в одностороннем порядке рассматривать себя. Но другие все видят — не важно, что они с головою, казалось бы, погружены в волны музыки: и под водой можно плавать с открытыми глазами. Я, например, очень скоро увидел и Тобиаса, и Дэниса с каменными лицами пай-мальчиков, и Петру — что было написано на этом лице я, к сожалению, прочесть не мог — и даже не смог позволить себе вчитываться. Ее муж — неожиданно с усиками; я очень люблю этих господ, которые, слушая музыку, сидят как чурбаны, сведя перед собой крышей кончики пальцев. Ти-

пичный врач — всегда у врачей, у хирургов, бываст такой покровительственный вид. В данную минуту он покровительствует Шуберту... Они с Петрой должны были ладить как кошка с собакой...

Нам аплодировали, мы кланялись, нам еще больше аплодировали, мы еще больше кланялись — когда аплодисменты стихли, мы пошли складывать инструменты. (В Харькове, да, наверное, и повсюду в Советском Союзе считалось бы неприличным уходить с последним угасающим хлопком. Концертмейстер вставал, и оркестр уходил прежде, чем это начинала делать публика. А здесь? Однажды — игрался какой-то симфонический концерт — я помню, Шор увел оркестр, ну, может быть, не с последним, а с предпоследним хлопком. Какой Лебкюхле устроил скандал! Ведь он мог еще раз выйти поклониться. В чем-то Россия, очевидно, провинциальная скромница: на людях там стесняются до конца доедать, капельку всегда оставляют в тарелке.)

Это было прекрасно, они меня все благодарили, я тоже не скупился на комплименты: мы ни за что, ни за что не должны прерывать нашей работы, надо и впредь устраивать такие концерты...

Подразумевалось: ...с последующими party (где бы я отвечал, как сейчас, улыбками и поклонами на всевозможные реплики и лестные тирады, увиливал бы от бесед с двойниками нашего виолончелиста или поражал бы своей неосведомленностью по части каких-то интриг в цитгорнской опере, о которых моя собеседница читала в газете).

Пока я пребывал в некоем броуновском движении, трое чернявых официантов (итальянцы) расчищали место для столов. За какие-то четверть часа концертная зала превратилась в банкетную. Я прикинул, во сколько Рорам обошлась эта «Форель» — в две тысячи? в три тысячи? На столах, которые уже были в осаде, стояли тарелки, а в них то, что так любила в своем немецком детстве Марина Цветаева: колбасный «ауфшнит»; официанты с застенной насмешкой подливали гостям вина — я не знаю,

может, мне только чудится, что с насмешкой? Я в своей жизни не был лично знаком ни с одним официантом. О чем они думают? Так же пытаются влезть в мою шкуру (разумеется, не догадываясь, что и я, в сущности, род прислуги)? Или никаких классовых эмоций, клиент — и клиент. А как же психология, Достоевщина? Их знаменитое умение разбираться с ходу в клиентах — зауважать одного, презирать другого? Или это только встречается...

Петра шла прямо на меня. Так, выходит, я и есть *проницательный учитель Дэниса*, о котором ей когда еще рассказывали. Вот откуда моя осведомленность — тогда, при первом нашем знакомстве навлекшая на меня самые нехорошие подозрения... Хорошо все же, что я навлек их на себя в черте города, а не на автобане, с нее ведь, наверное, стало бы меня высадить в чистом поле.

На какие-то полсекунды, что мы оба смолкли, наше рукопожатие обнажилось, перестав быть невинным. Она должна мне кое-что сказать, обернулась — и тут же с кем-то поздоровалась. Нет, здесь неудобно, здесь любопытных и сплетников — пол-Цвейддорферхольца. И ваш муж, между прочим, тоже — не собирается ли она меня с ним познакомить? Ее лицо выразило что-то вроде: ну вот, опять за свое. Во-первых, она не знает моего имени, как она меня должна представлять? Как — Йозеф Готлиб... Ах да, она забыла, это мое настоящее имя? Ну, конечно... Во-вторых, ее муж прийти не смог, у него какие-то дела — какие, она не интересовалась, благо не ревнива и не пуристка... как некоторые.

Нам пришлось переменить тему — все время мы оказывались частью разных групп, кружков, которые рассыпались, образовывались в видоизмененном составе, но обязательно втягивали нас в свои разговоры.

Появились Дэнис с Тобиасом: можно, Тобиас будет ночевать у них — мама не возражает, ну, пожалуйста. Фрау Рор: а-а, мы познакомились — прекрасно; я тот самый музыкант, о котором она рассказывала. А насчет Тобиаса — почему бы и нет — пусть останется ночевать.

Ладно, пусть остается. Ликование в лагере Тобиаса и Дэниса: йо-хо! Как жаль, однако, что ее муж не смог быть, неотложная операция? Большой, большой ему привет.

Петра Кунце моложе Гудрун Рор на целые тридцатые годы. Дэнис, в отличие от Тобиаса, поздний ребенок — не говоря о младших отпрысках семейства Рор: Юли и малолетнем Тобиасе (11 и 9). Не водись Тобиас с Дэнисом, их матери, наверное, и парой слов бы не перемолвились — не из-за разницы в годах, конечно, а вследствие своей сословно-стилистической несообразности. Рор — банальная сорокапятилетняя наседка, чей крестьянский здравый смысл скрыт под глянцем женских журналов. Вот у кого все «не хуже, чем у других» (в соответствующей социальной клеточке). Такие на мужчин, на мужей смотрят как на зверей редкой породы, полусознательно подчиняя свое житейское превосходство их драгоценной стати. Только не надо представлять их бесформенными толстухами-хлопотуньями — в круг их домашних забот входит также тщательный уход за собой.

И Петра, с ее упругими рефлексамии интеллектualiки — на Израиль, на мое «соглядатайство», на Готлиба Кунце, как достопримечательность рода, и уж само собой — на немецкое прошлое и западногерманское настоящее.

Я ей предлагаю: теперь, когда все наши недоразумения разъяснились, подбросить меня домой — это единственная возможность для нас спокойно поговорить. Тобиас ведь ночует здесь. Разве что ее муж...

Она слишком легко согласилась — чем не могла меня не смутить: да не нимфоманка ли она, не помещанная ли она? Типичная логика неуверенности: если она действительно только со мной так — тогда другое дело, но этого же не может быть — кто я? что я? Значит, со всеми так — а этого я не желаю. (Я утрирую немножко.) Она не понимает: я что, в Израиле жену оставил, что так озабочен ее нравственностью?

Уехав и скоро возвратившись с Тобиасовыми пижамой и зубной щеткой, Петра сразу стала прощаться. Уже

еще кто-то благодарил хозяев за чудесный вечер. Улетавшему в восемь утра мне тоже пора было домой. Уже не в сторону ли центра она направляется, громко спросил я у Петры. Мне к центру? Она с удовольствием меня подвезет. Она как раз хотела посоветоваться со мной по поводу Тобиаса: мальчик страшно музыкальный, но...

Чета Рор пожелала мне счастливого пути.

Разве я куда-то уезжаю? (Мы в машине — уже знакомой мне изнутри.) Да. Мне необходимо продлить паспорт, посольство больше не продлевает. Завтра лечу в ее любимый Израиль. Ее любимый — с чего я взял, что она любит страну, которая строит свое благополучие, делая несчастным другой народ? Все эти одноглазые израильские генералы сй так же отвратительны, как и мне. Мне стоило труда сдержаться по поводу «одноглазых израильских генералов»: еще бы! то ли дело феодалные князьки, вооруженные советскими ракетами. (Со мной это всегда — и не со мною одним: сам — Израиль могу поносить последними словами, но попробуй то же самое сказать посторонний.)

Если она и впрямь хочет поговорить со мною о Тобиасе, то я к ее услугам, но прежде мне хотелось бы знать, что все-таки она собиралась мне рассказать — это связано с ее свекровью? Это связано со мной, я что-то знаю. То есть как это — «что-то знаю», я же сй сказал, что именно: мой дед — Кунце его спасал, а это из всех сил отрицается. Петра качает головой: нет, значит, что-то другое. А что — она сй не сказала? Она сй вообще ничего не говорила, но сразу после моего ухода... Я уточнил: изгнания. Неважно — сразу примчался ее друг... Снова? Как и в первый раз? С которым мы еще чуть не столкнулись? Она сказала про него тогда «бой-френд» или «плейбой». У него «ягуар»... Я остановился, потому что вспомнил: точно, мимо меня, как сумасшедший, пулей пронесся белый «ягуар». Ну, это известно, как Вилли ездит. Я перебил ее — вдруг еще что-то вспомнив: послушайте, а ведь он недолго пробыл у вашей свекрови? Нет, недолго, а что? А то, что он следил за мной.

белый «ягуар» потом стоял возле вокзала. Он поехал выследить меня — в таком случае и в поезд должен был за мной сесть, так-так. А с вокзала я прямо домой пошел — да, можно твердо сказать, что одну свою визитную карточку на этом приключении я сберег. Она смотрит на меня лукавой Мессалиной: две. Вторую благодаря сегодняшнему концерту — а я хорошо играю на скрипке.

Спасибо, Петра... Немного рук, немного колен, немного дыхания. Но так как исполнение этого желания никуда от меня не денется (здесь я не боюсь сглазить — максимум одним грехом будет на земле меньше), я возвращаюсь к началу: и что же, приехал этот Вилли... Да, приехал этот Вилли, и Петра своими ушами слышала, как Доротея ему сказала — обо мне: он все знает. Вилли переспросил: все? Ну, не все... и тут дверь закрылась — больше Петре ничего услышать (а я так думаю, что подслушать) не удалось. А потом он действительно быстро уехал. А Доротея поднялась наверх в лифте и потом долго там оставалась.

Вывод: для Доротеи Кунце отнюдь не сюрприз — то, что я счел для нее сюрпризом. Она и раньше знала, кто настоящий отец Клауса. Но что еще, что еще? «Он все знает. Все? Ну, не все...»

Петре, которая на меня вопросительно смотрит — ей интересно: что подразумевала Доротея Кунце, говоря «все знает»? (Мне же интересно противоположное: что подразумевала она, добавляя, что «не все»?) Я не представляю, что имела в виду ее свекровь, но она и сама видит, что дело нечисто.

Сказать Петре, что ее сын не правнук Готлиба Кунце, с моей стороны было бы жестоко — раз и неосмотрительно — два. Пускай она на словах какая угодно либералка, антифашистка — пока ей это позволительно. Но, выяснив, что Тобиас никто великому Кунце, и что об этом все узнают, и что больше нельзя будет иронизировать над столь славным, хоть и с горчинкой, родством, — боюсь, она окажется союзницей своей свекрови быстрее, чем я успею моргнуть глазом. Кунце — это их общий капитал.

Но даже если я несправедлив к ней — есть ведь сумасшедшие немцы: идеалисты, праведники — те, о которых Набоков восклицал: где же ваши косточки! Тем более не хочу тогда лишать мальчика привилегии считаться потомком Готлиба Кунце. Мне что надо было — только подтверждение, что Готлиб Кунце, на словах нацист из нацистов, на деле спас от рук гестапо — или пытался спасти — еврея. И все. И мы бы расстались с Доротеей Кунце хоть и с чувством взаимной неприязни, но без драки. А уж теперь... Хотя и теперь я еще готов был к компромиссу, но на более жестких условиях: я лично должен был знать все.

Жаль, что она отрастила волосы... Мне нравилось?.. Да, я представлял, как она меня будет колоть ими... Она подстрижется к моему приезду... и тому подобный словесный орнамент (обыкновенно скрашивающий такое общее место как чувственность) приводить здесь ни к чему. А он-то и пресобладал в этот вечер.

Я узнал, впрочем, одну вещь — одну вещь, ясно показавшую, с чем я имею дело в лице Доротеи Кунце. Власть этой дамы над Пестрой основывается на элементарном шантаже, об этом нетрудно догадаться; разоблачения, грозившие Петре, тоже не представлялись неразрешимой загадкой: не раз, надо думать, ее головка покоилась, как сейчас, на чьей-то чужой груди. В наши дни, когда писем не пишут, орудием шантажа могут стать снимки или магнитофонные записи. Доротея наняла кого-то, и ей отщелкали небольшой порнофильм (почему Петра так вспыхнула тогда: незнакомый человек вдруг оказывается в курсе каких-то ее сугубо домашних дел). И что же, теперь она грозитя показать все ее мужу? Мужу? Великое дело, мужу — сыну. Тобиасу.

Наутро Петра отвезла меня в аэропорт и пообещала встретить.

9

Из окошка самолета острова Эгейского архипелага выглядят как спины переплывающих море животных (культурная аллюзия номер один: Зевс, похищающий Европу, — несмотря на то, что самой Европы вооруженным глазом не видно). Потом сверкающее полднем золотом Средиземное море — и в салоне раздается «Хава нагила», а под нами не просто израильский берег, а с ходу тель-авивский пляж.

Я был спокоен и деловит. Перешел на иврит, совершенно не забыл — правда, нечего было забывать: мой иврит — примитивный говор улицы и казармы. У израильских таможенников, как и некогда у их немецких коллег, моя персона интереса не вызвала — целым и невредимым миновал я эти Сциллу и Харибду, тогда как тучная женщина, толкавшая в полуметре от меня тачку с пятью чемоданами, застряла, бедная...

Было тепло, но не более того. Только яркость света превосходила европейскую в миллионы ватт. Ханыга-таксист, выуживая в ручейке пассажиров легковерного иностранца, крикнул мне: «Сорти долларс — Тель-Авив!» — «Сколько?» — переспросил я на иврите — он окинул меня неприязненным взглядом, упрямо буркнул то же самое и отошел, не дожидаясь ответа.

Приподнятая, праздничная атмосфера окружает при-

бытие — также и в том смысле, что ты прибыл в особое место и за это изволь платить. Вот почему подстерегающий тебя на каждом шагу неожиданный расход скорей вписывается в общую картину праздника, чем наоборот. В луна-парке тоже по любому поводу лезешь в бумажник и за все платишь вдвойне. Это повелось, наверное, с того времени, когда в представлении «галута» жить в Израиле стало подвигом, неучастие в котором, однако, может быть возмещено — а посему: прямо у входа в отель тебя ловит пейсатый еврей и просит пять долларов на «добрые дела»; таксист, вместо того чтобы включить счетчик, называет цену, из косой явствует, что он о тебе думает. В придачу всем своим видом и таксист, и пейсатый, и десятки других вымогателей показывают: давать им то доллар, то пять, то пятьдесят, короче, заботиться об их благополучии в твоих же интересах, и это они еще делают тебе одолжение тем, что берут. (Правда, не могу представить себе детей в Израиле, на детский лад промышлявших бы тем же, — как в Португалии, например, где нормальные детишки при виде туриста в каком-то спортивном азарте принимались выклянчивать у него — у меня, у тебя — деньги. Для этого израильские дети — родились они в Шхунат-Атиква или в Савионе — слишком самостоятельны, слишком «пахнут апельсинами».)

Итак, я попал в Израиль не с черного хода, как в прошлый раз, а с крыльца. Все было как будто то же, но попытка пройти по своим старым следам не удавалась. Не то чтоб я очень старался, но все-таки съездил посмотреть в тот же вечер на наш дом в ***: автобусная остановка, основательно прогретые мусорные баки — место кошачьих сходов, киоск за углом (мне ненавистный: помню, как, прежде чем наконец заплатить, я долго пересчитывал мелкие монеты в горсти — с видом младшеклассника, покупающего что-то штучное и липкое). Окна нашей квартиры — как раз над остановкой. А здесь стоял красный автомобиль Лисовского.

Я был и как бы не был тем, прежним; я даже припомнил какую-то физиономию, но у меня сделался другой

размер ноги — если уж говорить о следах. Но коли я здесь, как не подняться и не посмотреть, что стало с этой квартирой. Вспомнился запах лестницы. Когда передо мной предстала молодая грузинская еврейка в косынке с большоголового грузинским младенцем на руках, я не придумал ничего лучше, как спросить: а что, такой-то «руси» здесь больше не проживает? Одновременно я зорко всматриваюсь в открывшуюся мне часть интерьера. К моему замешательству, нанкосок отворяется другая дверь, и мой вопрос переадресовывается человеку, который меня узнал и которого я узнал... Гордиев узел конфуза я разрубаю тем, что пускаюсь бежать. Хорошо, что на остановке автобус, и он увозит меня «Прочь от места катастрофы» (название чего-то, но чего, убей меня Бог, не помню). О том, что в этот момент говорилось обо мне и — пуще того — что думалось, лучше не гадать, а инцидент забыть.

Только раз еще за эти пятнадцать дней я был опознан (я не говорю, понятно, о встрече с Эсей). «Алан — как дела, где ты?» Дуби — или Лаки? — подтолкнул в рот последний кусочек пиццы и вытер губы бумажкой. Уж не благодаря ли ему я получил у смерти отсрочку — они все на одно лицо. Он повзрослел — а может, был без униформы, которая не просто нивелирует, но молодит. Как и у всякого уважающего себя израильянина, брюки у него сползают. Где? Бе-Германия? Его лицо сразу приобретает почтительное выражение. Для марокканских евреев вроде него Западная Германия это место, где делают «мерседесы», — все прочее пускай волнует ашкеназийских евреев, «вус-вус», которым североафриканские сефарды и сами могут предъявить кой-какой счетец. Быть может, поэтому я увидел как-то новенький «шевроле» с наклейкой под стеклом

I ♥ GERMANY

Подумал было: вот они, сефардские обиды — но потом сообразил, что в машине могли ехать арабы (как оно, вероятно, и было).

Израиль — с его южным белым хлебом (но при соблюдении ООНовской диеты не шире шестнадцати километров в талии), с его живыми и мертвыми морями, цветущими долинами, пустынями, горами, сотней политических партий, мозжечком святых мест, с его замороченно-хорошенькими солдатками, с его диковинной армией — для воюющей страны еще вполне человекоподобной (что б там ни говорили разные «петры») — Израиль был, в сущности, многонациональным государством. С момента своего провозглашения это государство билось неистово, куда яростней, чем с арабскими армиями, над одним проклятым вопросом: «Кто еврей?» — словно не понимая (или, наоборот, понимая), что, решив этот вопрос, человечеству уже больше нечего будет решать. Поэтому забота о долголетию народов, всего рода человеческого, подсказывает удовлетворяться *неправильным*, но благоразумным суждением на сей счет, почерпнутым мной из того же источника, что и прошлая цитата — относительно евреев среди нас (нас среди вас). В той говорилось о «подлинной еврейской опасности», в этой — об Израиле как об отдельном шарике, «куда нанесены в миниатюре те же материи, те же государства — филиалы России, Америки, Индии, заселенные израильскими русичами, израильскими англосаксами, израильскими сикхами, повторяющими в общении друг с другом привычную схему сожительства межнационального... Возникает вопрос: что же делало их евреями в метрополиях и что заставляет их при всей их этнической разнородности по сей день выступать на арене международной в столь единообразном качестве — ведь даже на «немой» политической карте Израиль угадывался бы как затесавшийся в толпу еврей. Еврейство не есть какая-нибудь определенная черта или совокупность черт, оно — знак нашего смещения как относительно отдельных народов, так и всего человечества в целом (сдвинулась калка). Ergo, причины, по которым г. Готлиб и г. Дуби являются евреями, сокрыты не в них, а в тождественности этого смещения. Не будучи

типом расовым, еврейский тип вырабатывается всякой нацией самостоятельно — как печенью вырабатывается желчь...»

Хорошо сказано! Русский Израиль (мой Израиль) встречался мне неоднократно. Он внутри себя тоже не однороден, как и Россия, — это известно; но я не о пятнадцати советских республиках в Израиле — я о том, как мало общего между развеселой бронзовокожей компанией в кафе на Дизенгоф и кубанским казаком, разложившим на солнышке матрешек и чешский хрусталь, и как еще меньше общего между ними — всеми — с одной стороны, и мной. Я прислушивался иногда к вспыхивавшему то там, то сям родному говору и — не угадаете! — бросался покупать в ближайшем киоске «Шпигель». Грустный феномен: привыкший слышать русский лишь внутренним слухом, я воспринимал его извне как какое-то неприличие. Как правило, они — под прикрытием «Шпигеля» я прислушивался сейчас к диалогу на другом конце скамейки — как правило, они уснащали свою речь ивритом примерно моего уровня. Это в фильмах обычно мексиканцы, русские и другие экзотические иностранцы постоянно говорят местным жителям: «грации», «спасибо», «амиго», «товарищ». В жизни — прямо противоположное: между собой они и то все чаще используют термины чужбины — и для наглядности, то есть не без иронии, и — потому что так уже легче.

На утро второго дня я занялся паспортом — все занятие свелось к двухчасовому стоянию в очереди, других проблем не было, а так как при этом требовалось заполнить анкету на иврите, то два часа пролетели незаметно. Через неделю горничная принесла мне в номер заказное письмо: паспорт, действительный еще сроком на три года. Я смело мог, как мне и сказали в посольстве, ограничить свое пребывание в Израиле десятью днями.

На утро третьего дня я поехал к Эсе. Зачем? У нее, понимаете ли, кроме меня никого больше нет (почти по

Набокову: первое — в цепи многочисленных — примирение Лолиты с Гумбертом). Зачем это *мне* надо было? Видимо, по той же причине. И потом, я хотел поставить ее в известность, что своим звонком она ничего не добилась, я продолжаю, хоть и после девятимесячного перерыва, то, за что взялся. И безуспешно.

На центральной автобусной станции — этой клоаке, с успехом противопоставлявшей себя отелям на набережной и фонтанам на площади Царей Израилевых — нашли бомбу или полагали, что нашли. Зазмеилась сирена, народ расступился, образуя вокруг сомнительного предмета пространство, вполне достаточное, ну, скажем, для эшафота. Чудовищно, по-азиатски, зловонные нищие, подхватив свои лохмотья, протезы, грыжи, костыли, попрыгали в разные стороны. А вскоре все задвигалось, центральная автобусная станция, на три минуты затаившая дыхание (впрочем, привычно), столь же привычно ожила. Красно-белые «лейланды» стали расползаться: на юг — в Беэр-Шеву, на север — в Нагарию, на восток — в Иерусалим, куда транспортировалось полным-полно черных грибов — шляп, веками отличавших обитателей гетто. Настолько же с тех пор не изменились и лица под ними? И мысли? Судить не мне. Однако было в этих отчужденно мигающих взглядах что-то бизонье. Нынче отстрел их, правда, запрещен — зато раньше славно поохотились, и это заметно.

В Иерусалиме свежий горный воздух, автобус медленно берет последние метры подъема — ну вот, посмотрим, что мне скажет Эся *не* по телефону. Время было рабочее: начало двенадцатого. Набрал ее домашний номер, дабы убедиться, что она на работе, я поехал в «Яд вашем». Не быть дома еще не означает непременно быть на работе, но я подумал: где ей еще быть? К тому же я должен был как-то убивать время в Израиле — а встречаться с ней у нее дома, честно говоря, мне страшно не хотелось.

Если «мысль изреченная есть ложь», то что же можно сказать о всякого рода мемориалах? К счастью, у свреев,

при том, что нас постигло, нет тяги к монументальному выражению скорби, в отличие от русских, например; не осуждаю, но не люблю ни «вечных огней», ни изваяний высотой с пирамиду Хеопса — да еще на горе; ни вообще какой-либо локализации «народной печали», в чем всегда есть привкус капища. В конце концов Стена Плача потребность в таковом с избытком удовлетворяет. Тем более, когда всем известны фото- и кинокадры: посмотрел их разок (лучше так, чтоб тебя самого в этот момент никто не видел), узнал в этих людях себя, так что же еще? А иначе получится «Памятник чумс» — произведение искусства.

Мемориальный комплекс «Яд вашему» я обошел стороной и в здании, явно не несшем никакой эмоциональной нагрузки, справился о местонахождении гевсерет Эстер Готлиб, добавив для пущей важности, что я приехал из-за границы. Мог и не добавлять, из местонахождения Эси здесь, очевидно, не делали тайны. Я, постучав предварительно, просунул голову в дверь, за которой в окружении стеллажей с папками, книгами, короче, всем, что можно увидеть в любой конторе, машинистка что-то печатала. Это за одним столом. А за другим я увидел Эсю: в руке у нее была телефонная трубка, и она говорила в нее что-то, листая попутно какую-то брошюру. Обе подняли на меня глаза. Эся не хотела — или не могла — прервать телефонный разговор, и минут пять я простоял у двери переминающимся с ноги на ногу просителем; еще пять минут — после того как Эся дирижерским жестом указала мне на другую дверь — я просидел в кресле в ее кабинете, типичном кабинете чиновницы, которой по рангу или по роду деятельности даже положен (в миллиграммах) уют и глянец, — ведь здесь бывают приезжие из-за границы.

Я наверняка в чем-то не прав: Бен-Гурион смотрит на меня со стены так лукаво, снаружи такое синее небо... Но во мне все так привычно черно — как в трубе крематория, которую должен стилизовать виднеющийся за окном каменный столб. Первые фразы, произнесенные

Эсей с ее чопорной польской дикцией, были словно взяты с кассеты для изучающих русский язык — наговоренной одним из хорошо его изучивших. Здравствуй. Добро пожаловать к ним. Надолго приехал? Как поживаю? Не женился ли? (Свинья.) Я, как и требуется на уроках иностранного языка, давал развернутый ответ. Здравствуй. Спасибо на добром слове. Я приехал на пятнадцать дней, чтобы продлить мой паспорт. Нет, я не женился (хотел спросить: а ты?). А как она поживает? Какие новости у них в стране? Как выборы?

Тут Эся разволновалась — иди знай, что у кого болит. Выборы?! Она всегда говорила, что антикоммунизм рано или поздно толкает в объятия к нацистам — за примерами далеко ходить не надо! Этот ваш антикоммунизм Израилю дорого обойдется.

Интересно, оказывается, что из-за «нас, русских» на следующих выборах победит фашист Бегин, — интересно, ибо по логике израильских экспертов по Советскому Союзу евреи первого в мире пролетарского государства суть верные голоса за рабочую партию. Теперь эти знатоки Эйзенштейна и Маяковского чувствовали себя подло обманутыми: единственной политической партией, отвечающей убеждениям основной массы приезжающих из СССР, мог быть только ку-клукс-клан.

На этом светская, то есть ни к чему не обязывающая, часть разговора подошла к концу. Я спросил у Эси, помнит ли она то, что говорила мне по телефону? Конечно (с вызовом), а что такое? И ни о чем из сказанного не жалеет? Ни о чем решительно. Что ж, по странному совпадению, чтобы я перестал совать нос не в свое дело, хотела и невестка Кунце, по имени Доротея — хорошая компания для Эси. С этой дамой я встречался дважды: лгала, изворачивалась, утверждала, что ничего подобного никогда не было. А во второй раз просто указала мне на дверь.

Или я действительно ничего не понимаю, или очень ловко прикидываюсь. То, о чем я ей писал — что папа

не был расстрелян в Харькове, потому что я отыскал какие-то свидетельства, — чушь несусветная. (Вот и Доротея Кунце о том же.) Эсино терпение на пределе. Когда есть фотография... да что она и впрямь будет обсуждать со мной эту тему! (Я согласен, у меня пока еще нет никаких объяснений...) Нет, не будет это со мной обсуждать, повторила она. Кунце — патологический антисемит, нацист до мозга костей, вообще по омерзительности личность исключительная даже для немца. О нем прекрасно написал в «Джерузале́м Тауэ́р» Лисовский.

Я читал. Признаюсь, для меня это был сюрприз: жсна Кунце — моя бабка. Я, когда писал ей письмо, ничего об этом не знал. Она тогда позвонила мне... я понимаю, ей доставляет удовольствие в разговоре со мной вспоминать Лисовского, это такое химическое оружие против меня — так вот, после ее звонка я действительно отключился. Все позабыл, на все это дело махнул рукой. Пока неожиданно из статьи мужа Ирины (ты водишь перед моим носом каленым железом — так на же, гляди!) — пока неожиданно из статьи мужа Ирины не узнаю, кем приходится мне Вера Кунце. Теперь уж я понимаю, у Эси есть свой резон проклинать Кунце. Сперва-то я подумал, что это типичный случай идеологического самоуправства: в «Яд вашем» сами решают, кому прилично спасать евреев, а кому нет. И ошибся. Допустить, что Кунце каким-то чудом отвел этот автомат от этого еврея, — означает не просто перемешать привычные краски. Для Эси в плане личном это потеря большого количества очков... (сейчас самое время напомнить, что меня уже раз выгоняли из дома при сходных обстоятельствах: точка зрения Доротеи Кунце удивительно близка к Эсиной — не хватает еще, чтобы способ отстаивать ее у них был одинаков). Я только расскажу то, чем вывел из равновесия невестку Кунце, — и сам уйду. Прошу минуту терпения. Когда Эся меня отчитала тогда по-родственному в телефонную трубку, я решил: что мне, больше всех надо? Тетя твоя не хочет знать, как

же на самом деле сложилась судьба ее отца, госпожа Кунце даже мысли не допускает такой, что ее незабвенный свекор мог запятнать себя спасением еврея-музыканта. Баста! Махнув рукой на это, я вновь всецело отдаюсь музыке. Проходит скандальных девять месяцев. Я в Варшаве вдруг узнаю, что их дом на Бернардинской уцелел. Еду туда — посмотреть, и кого, она думает, я там встречаю? Их старую служанку... Гальку? Да, все эти годы она там жила. При виде моего лба она чуть Богу душу не отдала — со страху. Я-то не знал, что у деда был... такой же. А она мне показывает фотографию, которую дед ей когда-то подарил. Как видишь, сохранилась еще одна его фотография — вот она. Я заплатил за нее сто марок, старуха вполне была счастлива.

Эся берет фотографию своего отца. Я сквитался с ней за мамин обморок в Одессе пятнадцать лет назад. Все стало симметричным. Эся тоже плачет. У меня чувствительное сердце: Эсинька, давай помиримся — смотри, нас только двое осталось. Она не отвечает. Я продолжаю про Галину Куковаку: ...рассказала, как вы с мамой находились в каком-то — я не понял — пансионе, у какой-то мадемуазель, и как барыня была на шестом месяце уже, и как она, эта Галина, увидела барина одного в комнате с пистолетом и закричала ему под руку (Эсины же слова: тебе *тоже* крикнули под руку? Я не обратил тогда на них внимания).

Может ли она оставить себе это фото? Да, я специально ей привез — для себя я переснял. А вот на обороте тот самый скрипичный ключ — в виде человечка, — который мне однажды встретился в нотах с припиской: 43-й год — но потом он исчез как фата-моргана. На обратном пути из Варшавы (этот снимок уже у меня, значит) я неожиданно читаю статью в эмигрантской газете, перевод из «Джерузалем Тауэр». Читаю и понимаю: это дело я не могу так оставить — потому что статья писалась Лисовским или не потому, но, Эся, — не могу. И к какому же я очень скоро прихожу выводу: ребенок, родившийся у Веры Кунце в Эспириту Санту, не был

сыном Кунце, как все считали. Кунце возвращается из своего семимесячного турне по Южной Америке двадцать девятого декабря, а по словам Галины, их служанки, ее барыня в канун католической Пасхи была на шестом месяце беременности. Подлинную дату рождения ребенка ничего не стоит установить, для чего я и лечу сейчас прямо из Израиля в Португалию.

Эся сидит как громом пораженная: я этого не знала... Ничего, зато Доротея Кунце, которая меня с треском выставила после такого сообщения, — знала. Эся сжимает свои красивые маленькие руки в кулачки: я этого не знала... И круто меняет тему — трудно сказать, может, даже без злого умысла она интересуется: а с Ириной я что же — так больше и не встречался? Нет. И не хочу встретиться? Дело в том, что тридцать первого Лисовский дирижирует Тель-Авивской филармонией, у Эси абонемент, она ходит на все концерты, и, когда Лисовский дирижирует, Ирина всегда в зале.

Эся предлагает мне пойти с ней? Совсем назойливая вышла бы аналогия: Берлинская филармония в сороковом году выступала в Москве и Кунце дирижировал своим скрипичным концертом, а Вера сидела в правительственной ложе — дед тогда специально ездил в Москву, вместе с мамой они были в зале. Дочь впервые в жизни издали видела собственную мать, а муж по прошествии двадцати лет — свою бывшую жену.

«Вот почему евреи должны иметь свою страну!» — вдруг стала кричать Эся. — «Вот почему мы должны жить на своей родине! Чтоб никогда больше не испытывать тех унижений, быть сильными, гордыми...» — «Эся!» — взмолился я.

Расстались мы мирно, без благословений, но и без проклятий. Даже, я бы сказал, на лирической ноте: пиши, только не об этом, она об этом ничего не хочет знать, для нее отец был расстрелян в Харькове в сорок первом году.

Так и не узнаю, хватило бы у меня благоразумия и в самом деле не пойти тридцать первого на концерт

Тель-Авивской филармонии — в этот день я улетал. Накануне вечером вышел в последний раз прогуляться по набережной с мыслью — типичной для «отбывающего»: завтра в это время буду в Лиссабоне. За две недели сытого израильского безделья — назовем это «эпохой второго Храма» — я *заел* горечь и невзгоды времен «первого моего Храма»; а не наоборот, не разбередил раны — что приятно констатировать. А может, остаться, ассимилироваться в Израиле — все гадаешь, подобный соблазн исходил бы от Ангела или от Сатаны? Толпа, красочная, дышащая всеми порами своего смуглого тела, всегда словно с мокрыми волосами; не смотря на поздний час, по-южному изобилующая детьми, — прощай! Где мы еще свидимся? Где-то поблизости был убит Арлозоров (и кто только не выходит гулять на набережную!). Это убийство останется нераскрытым, как и всякое убийство, когда друзья наравне с врагами заинтересованы в сокрытии тайны. Может быть, даже жена... (Меня никогда не интересовал ни сионизм, ни его святые. Я не перевариваю официоз ни в каком виде. Но, живя в Израиле, невозможно было не поинтересоваться, кто же такой Арлозоров. Как во Франции в каждой дыре есть рю Женераль Леклерк, а в Германии, всячески подчеркивающей свои гражданские добродетели в отличие от ищущей воинской славы Франции, нисмыслим никакой город без Ратенауштрассе, так и в Израиле ни один центр или центрик города не может обойтись без рехов Арлозоров. Мне объяснили: это был русский еврей, вождь еврейского рабочего класса Палестины, изрядно поживший в Германии, в которую был влюблен, — даже связан какими-то персональными узами с Гсббельсом: чья-то любовница стала чьей-то женой. Его предполагаемый убийца — 1933 год, набережная Тель-Авива, — оправданный ненавидевшими Арлозорова и ненавистными ему, германофилу, англичанами, был тоже убит. Жена Арлозорова чего-то всю жизнь недоговаривала. Так, по крайней мере, мне было сказано.)

Все как и намечалось. Я не сглазил, говоря: завтра в это время я буду уже в Лиссабоне. На следующий день к этому часу я уже шесть часов как был в Лиссабоне. Цвет, запах, вкус — все другое и новое. Оказывается, этот город вовсе не вымощен индейским золотом — на что я, правда, и не рассчитывал, однако такого обветшания под прикрытием настенных революционных художеств я уж точно не ожидал увидеть. Все-таки я предполагал не то — здесь даже не важна окончательная готовность фасада стать руинами, плевать! На руинах еще какой лоск может лежать. А сего-то и не было. Вместо этого была неказистая, на коротких ножках, провинциальность, оправдываемая в своих собственных глазах «честностью, которой *зато* (за что «за то» можно догадаться) напрочь лишены «эти испанцы».

Нет уж, знаете, за честностью я поеду в Финляндию — понятно, я этого не сказал. А разговорился я на руа Аугуста с хозяином обувного магазинчика, когда в ходе топографических наставлений — я все искал эту самую площадь, О Рочо, — попутно выясняется, что симпатяга работал семь лет у некоего Вайса в Дармштадте, даже женился на его дочери. «Якопто», — представился он и стал нахваливать Португалию, да с таким упором на ее национальные добродетели, словно пытался мне сосватать дурнушку.

Я намеренно вел себя по «Феликсу Крулю» (стоя на Елисейских Полях, спрашивал, как пройти к Триумфальной арке — спрашивать, находясь на руа Аугуста, где О Рочо, было тем же самым). Прямо из гостиницы, пообедавший еще раньше, в самолете у турок, в зелено-черном лиссабонском такси я отправился на Прадо до Коммерчо. «Банко до Коммерчо» я там не нашел — чтобы обменять мои королевские мильтрейсы на их республиканские шкудос. Однако почтаamt оказался где и обещано, и интерес его не изменился с тех пор ни капли. Я послал Эсе открытку с изображением памятника маркизу Помбалу — вполне его заслужившему (если верить книжке, что была у меня в руке). «Шлю

тысячу приветов и сообщаю о своем благополучном прибытии сюда, в «Савой Палас». Полон впечатлений, о которых надеюсь очень скоро рассказать в письме».

Затем, следуя моему герою, я прошел под аркой, вышел на руа Аугуста — их было две: «одна из наряднейших улиц города» и торговая улочка, где жителю Германии, например, имело смысл приобрести пару туфель или кожаный бумажник. Я шел сразу по обеим из названных улиц, причем на последней не было и помину о люксембургском посольстве в «солидном доходном доме», где оно занимало бы бельэтаж. Как не было и «щеголеватого мундира» на полицейском, к которому я обратился с вопросом, явно могущим преследовать лишь одну цель: отвлечь его от охраны вверенного ему объекта, помещения агентства южноафриканской авиакомпании (я спрашивал, где О Рочо). Его форма цветом и фасоном скорее напоминала обмундирование польского милиционера, привязавшегося ко мне в Глоднем Мясте, но уж никак не облачение королевского стража, что в этот же самый момент на первой из двух руа Аугуста (по которой я не шел, а плыл — не касаясь искусно выложенного мозаикой тротуара) «отдал мне честь, приложив руку к своему тропическому шлему в знак окончания сего краткого, но обильного жестами и дружелюбного собеседования».

Спустя несколько шагов я повторил свой вопрос, задав его предположительно приказчику, а на деле, как выяснилось, владельцу обувного магазинчика по имени Якоппо. На его вопрос, где я остановился, я не рискнул солгать и сказал правду: в отеле «Лисбоа», что, впрочем, тоже произвело на него благоприятное впечатление. Заранее уж я узнал у него — решив воспользоваться его словоохотливостью и знанием немецкого, — как попасть в населенный пункт, именуемый Эспириту Санту. Эспириту Санту? Гм, он о таком никогда не слышал, где это? Нет, это я первый спросил. Тогда он оставляет меня магазин, кассу, кладку обувных коробок и через пять минут возвращается с автомобильным атласом. Я

на машине? Нет, а piedi. Он засмеялся: а пе. Эспириту Санту — это здесь, в Эстремадуре. Недалеко от Томара, куда я доберусь поездом за час. А оттуда точно должен быть автобус, это как раз по дороге в Фатиму. Это что-то мусульманское? Да, из «1001 ночи» — слабо было ему так ответить. Правда, революция давала все же себя знать. Якоппо «сам был антиклерикал» — как говорится, никакой неловкости не произошло. А я еще купил на прощание у него пару черных туфель — так что мы расстались друзьями.

На «площади, которую портье в гостинице отрекомендовал мне как одну из самых великолепных», я отыскал по описанному ракурсу приблизительно *то* кафе. В отличие от лже-Веносты, пившего чай (или чисты западногерманских туристов, судорожно показывающих официанту, как на кочку посреди трясины, на берлинский пончик среди местных сладостей), я взял маленькое приторно-сладкое пирожное с заварным кремом. («Белем?» — «Си, си».) После чего, как планировалось еще в Циггорне, углубился в чтение романа с ностальгической обложкой: на садовой скамейке на фоне парковой скульптуры барышня в малиновом платье с книжкой на коленях. Много крови утекло с тех пор, как была нарисована эта барышня, как Феликс Круль выдавал себя в Лиссабоне за маркиза Веносту, как Готлиб большой и Готлиб маленький здесь гуляли в преддверии нового столетия.

Я узнал, где вокзал, чтобы посмотреть расписание отправлявшихся в Томар поездов. Согласно Томасу Манну, этот вокзал был построен в мавританском стиле — наверное, все же в «мануэльском».

Бок о бок с ним стояла гостиница «Авенида Палас» — не иначе как прототип «Савой Палас». Но во что она превратилась! От холла, который был перегороджен чуть ли не фанерой, уцелел крошечный уголок, остальное занимал магазин фотопринадлежностей, какая-то «бутербродная», но оставшееся помещение явно «хранило на себе печать» — передо мной был обнищавший аристократ:

благородная лепнина, лампа — ровесница моего деда, бюро в стиле Louis XIV непривычно стояло без цены. Был и лифт, упоминавшийся в романе. Единственное, что смущало: от вокзала до умопомрачительного отеля «Савой Палас» поддельный маркиз Веноста едет какими-то переулками на извозчике, хоть и не долго — тогда как вход в «Авенида Палас» был сразу за углом, в двух десятках метров, которые не то что маркиз, сама принцесса-на-горошине прошла бы пешком. И все же не возникало сомнений в том, что это была гостиница, о которой я читал еще в Харькове: расположена на авениде да Либердаде, «одной из великолепнейших улиц, которую мне когда-либо приходилось видеть: она состояла из элегантнейшей проезжей части, верховой дорожки посередине и двух отлично вымощенных роскошных аллей с цветниками, фонтанами и статуями по бокам». Апартаменты выходят окнами на площадь — у Томаса Манна безмянную, а на самом деле огромную, под стать самой эспланаде, праса дос Рестаурадорес. Причины такой топографической несурезицы, заставившей «Веносту» двадцать метров пропутешествовать на извозчике, понять невозможно... если не допустить, что в те баснословные времена, когда на этот старенький пригородный вокзальчик прибывали еще поезда со всей Европы — и из Парижа, и из Вены (а может, и из Петербурга?), выход с перрона был на противоположную сторону. Я даже думал проверить это по возвращении из Эспириту Санту, но вернулся я далеко не в том благодушном состоянии, что уезжал, — все побочные интересы и настроения отпали разом. Вернулся я ошеломленный... не знаю, немножко испуганный — перспективой замаячившей вдруг борьбы не на жизнь, а на смерть. Ну, слушайте.

Утром я был на вокзале (по-моему, он как-то назывался, вроде бы даже «Рочо», таксист произнес что-то подобное, как бы подводя итог моему «эсперанто»). Поезд отправлялся точно по расписанию. Я-то подозревал, что португальская железная дорога работает как итальянская почта (последняя — притча во языцех). Но

видишь — не будь предвзят. Португальцы, может быть, действительно честный работающий народ, просто вынуждены уже много столетий расплачиваться за неудачный пункт брачного договора одного из своих королей.

Окна вагонов закруглялись по углам как глазницы черепа (или как окошки карет в знаменитом лиссабонском музее). На деревянных скамьях, кроме меня, не было ни души — ну, еще в глубине вагона чернела какая-то голова, и то в Томаре оказавшаяся японской. В этот час транспорт был переполнен коренными жителями, схавшими в Лиссабон, а не из него. Прихватить с собой чтение я забыл и смотрел в окно. Проезжали станции, названия которых мне были ни к чему — и потому прочитывались с особой тщательностью. Я из тех, кто при взгляде на населенный пункт (на совершенную потемкинскую деревню, чьи декорации разберут, едва поезд тронется) все же успевает подумать: а ведь чья-то родина.

Дорога была среди гор, с частыми туннелями — полтора неумолимых часа. Чтобы скоротать их, я представлял себе, как буду объясняться с сельским падре, как объясню, что ищу в церковной книге. Я уже решил: если выписку из нее о крещении такого-то младенца, тогда-то и тогда-то, мне получить не удастся, — так уж и быть, разорюсь на хороший «Никон» — выбор пал на данную марку из-за ее «русского» имени. Тем более я давно подумывал о том, чтобы заняться фотографией, она всегда меня притягивала: как-никак первый удар по божественной монополии на время.

С именем «Никон» тоже связывались литургия, церковь, клубок, хоры трепещущих язычков пламени — первые ростки предстоящей геенны огненной; но латинский патер для меня был фигурой совсем инопланетной: из какого-нибудь французского романа, если не того пуще — из «Декамерона». Он поворачивается: «Я слушаю вас, сын мой». Ловишь себя на том, что до сих пор жизнь так и сводилась к чтению книжек (а в свободное время — к их пописыванию). Вот сейчас читать-писать я перестал, *живу* — посмотрим, что из этого выйдет.

В Томаре сошел и японец — только тогда обернувшись ко мне лицом. Его туристский облик (в руке путеводитель, на шее фотоаппарат, на плече сумка, на мозгах панамы) заставлял предположить, что в городке есть какие-то достопримечательности. Временем я, в конце концов располагал. Помня из литературы, что «кюре» как дежурный врач — принимает в любой момент, я решил задержаться в Томаре на часок. Но прошли все три, пока я, крадучись за японцем, осматривал церковь Santa Maria do Olival, какую-то капеллу XVII века, средневековую крепость.

И вдруг я заторопился, хотя еще не было часу дня. Наскоро пообедал в забегаловке на три столика, сидя напротив мелкого служащего (с виду), насыщающегося в свой обеденный перерыв. Хозяину, подошедшему ко мне, я указал, довольно бесцеремонно, на рыбное филе с картофелем — в тарелке моего визави — и на пузырек с чем-то зеленоватым, из которого он, как факир, то и дело наполнял гораздо больших размеров стакан, а вино все не кончалось. (Надо сказать, что у меня этот фокус не вышел.) Мы сидели нос к носу, с одинаковым вкусом во рту и молчали, как молчало некогда то, что теперь нам пошло в пищу.

Я вернулся к вокзалу, полагая, что поблизости должны быть автобусы, развозящие пассажиров по их родным деревенькам. Но я не учел, что у автобусов тоже могло быть расписание; предыдущий в Эспириту Санту — и далее — ушел полчаса назад, следующий отправлялся только в три. Я увидел такси — наверное, забывшее, когда оно в последний раз ездило. Израильский таксист, он бы уже давно приметил твою вытянутую физиономию, как великое одолжение предложил бы свои услуги за «хандрит доллар» и за четверть этой суммы повез бы тебя, по пути наслаждаясь собственными разглагольствованиями о том, что евреи — соль земли. Но не таков его португальский собрат: когда я сплясал ему пожелание быть отвезенным в Эспириту Санту и назад, он, подумав довольно долго, назвал цену,

более чем приемлемую — в его субъективном представлении, может, он, правда, и заломил, такси-то в Португалии дешевые.

Не прошло и получаса, как я подъехал к старой деревянной igreja* — думаю, более все-таки деревянной, чем старой, и объектом туристского паломничества никак не являвшейся: на такси и на меня несколько человек прохожих уставились с той дикарской беззастенчивостью, от которой, пожив в Германии, как-то отвыкаешь. Церковь была открыта — или католические церкви вообще только на ночь запираются? — и решительно безлюдна. Но долго одиночество мое не продлилось. Отца Антония — мне хочется, чтоб так звали его, — коренастого, короткошеюго, с крупной тяжелой головой и лицом землистого цвета (плоть от плоти народной) — наверное, кто-то известил о подъехавшем к церкви такси, какой-нибудь приходский Квазимодо. Открылась боковая дверь, и священнослужитель приблизился ко мне со словами: «Могу ли я вам быть чем-нибудь полезен, сын мой?» Предположим, что он сказал именно это. Я извинился за беспокойство, добавил о себе — что из Германии, продублировав последнее слово: Alemanha. Физиономия священника сразу обрела любезность экскурсовода: мало того что я был чужой по крови, я еще, вероятно, был чужой по вероисповеданию. Он не говорит по-немецки — ничего иного его слова означать не могли.

Дело плохо, но не безнадежно. Русский в качестве альтернативы предлагать ему было смешно, но, во-первых, какой-то ломаный английский в моем распоряжении все же имелся, а во-вторых, работа в опере плюс обучение с детства музыке, на скрипке (и отсюда особая восприимчивость к этому языку) делали для меня итальянский — *mare nostrum*. В критические моменты в моей памяти всплывали именно итальянские языковые реалии: оперные реплики, нотные обозначения. Мне кажется, попади я в Италию, уже в следую-

* Церковь (португ.).

щую минуту я заговорил бы с местными жителями по-ихнему.

Однако прежде чем пустить в ход мой шарлатанский итальянский и невольничий английский, я все же, для поддержания престижа исключительно, предложил на выбор «руссо» и «иврит» — в сочетании с уже отвергнутым «алемео» это было чем-то. И тут он обнаруживает знание иврита. Я еврей? Ему известно, что многие евреи говорят по-немецки. Далес по моему ивриту он «догадался», что, наоборот, я немец, изучивший иврит, что в наши покаянные времена тоже не редкость.

Он меня слушает... между прочим, не принадлежу ли я к римско-католической церкви? Я развел руками и поднял глаза: ани мицтаэр. Иврит как средство общения беглого харьковчанина с католическим падре где-то в крошечном португальском приходе — такое, наверное, случается нечасто. Правда, раз в жизни случается и не такое; я стал говорить о старых метрических записях, конкретно — 1919 года, в каждом столетии бывает один такой год, в нем есть что-то от телефонного номера полиции, «скорой помощи», пожарной команды. Эти записи должны храниться при церкви, насколько я понимаю. Или я ошибаюсь, с течением времени такого рода документы попадают в некий общий архив? Мною движет сугубо научный интерес. В этом самом 1919 году в Эспириту Санту...

«О.Антоний» поднял руки: он так и думал — запись о крещении младенца, чьи родители из Австрии? Мое изумление было ему приятно (чувство, мне знакомое). Пусть меня не удивляет подобная проницательность, не так давно один мой земляк был здесь с аналогичными целями, он-то и предупредил, что прибудет другой господин, тоже ученый. В ученном мире разгорелся спор о точной дате рождения побочного сына какой-то важной особы... или он неправильно понял?

Я спохватился: нет-нет, все правильно... выходит, был мой земляк, предупредил, что я тоже приеду? Да, этот господин прескрасно говорил по-французски — и

еще оставил свою визитную карточку, но, к сожалению... Отец Антоний совершенно не припомнит, куда он ее положил. Он мне сейчас покажет метрические книги, я сам смогу тогда попытаться отыскать интересующую меня запись. Вдруг мне повезет больше, чем... Что значит больше?! Он что же, не нашел? Отец Антоний развел руками, в точности как я — на вопрос, не принадлежу ли я к римско-католической церкви.

Это был какой-то подвох: запись отсутствует. Как это может быть? Я шел, точнее, спускался по лестнице за квадратной спиной португальца — маран, понимающий уже, что попался, но еще не представляющий, на чем, собственно. Мы остановились. Словно для полноты сходства о.Антоний достал связку огромных ключей, отыскал на кольце тот, что нужен, и отпер им низкую полукруглую дверь. Мы вошли. Вот церковные книги, начиная с семнадцатого века, когда эта церковь была построена.

Пучина веков глянула на меня одинаковыми корешками грубых самодельных переплетов — здесь все века были семнадцатые. 1917—1925, регистрация младенцев, рожденных и крещенных в эти годы в этом приходе, — пожалуйста. Помимо дня крещения и имени, я найду дату рождения, имена родителей, а также восприемников. Он же, с моего позволения, удалится.

Один, в подземелье, при свете электрической лампы, свисающей на витом шнуре без всякого абажура, без всякого колпака, я осторожно открываю сию книгу жизни. Первая запись от 5 января 1917 года. Девочка с тремя именами. Здесь дата рождения, здесь родители, здесь крестные — все понятно. Бумага вроде той, на которой печатало ноты издательство «Рикорди» в середине прошлого века, — очень плотная, серая. «Травиату» и «Риголетто» мы все еще играем по таким нотам, правда, уголки страниц у них замусолены и рассыпаются (каменные, и те бы рассыпались), тогда как сейчас передо мной бумага совершенно девственная, она даже имела какой-то свой запах.

Я открыл в середине. Открылся октябрь 1919 года, рождаемость сильно подскочила — подпрыгнула от радости, что война закончилась (а кто сегодня, не задумываясь, скажет, на чьей стороне Португалия воевала в первую мировую?). Коль скоро я уже в октябре, то загляну в соседний ноябрь: третьего ноября, как меня пытаются уверить, родился Флориан-Михаэль-Николаус Кунце. Если б мой предшественник искал и ничего не нашел в этом месяце, то было бы понятно. Нет, не там он искал (как и следовало ожидать, с третьего и до конца месяца — ничего), не там искал, потому что знал, где надо искать. Вряд ли это был купленный человек, частный сыщик — скорей всего, посвященный во все тайны этой семьи стареющий обожатель стареющей Зары Леандер... В апреле на шестом, в мае на седьмом, в июне на восьмом — в июле должна была родить. Как прикажете понимать «ничего не нашел» — что, вообще никакой записи нет? Сейчас узнаем... Смотри-ка, он поехал сюда немедленно после того, как я там был. Все прежде меня проверил и уехал с легким сердцем? Но разве возможно, чтобы в таком месте, как Эспириту Санту, где к тому же они еще потом долго жили (скажем так: скрывались — скрывали сроки), родившееся дитя не было крещено? Да их бы со свету сжили, хозяин бы им дом перестал сдавать. Не говоря о том, что Вера переживала такой роман с католичеством.

Я даже вскрикнул — увидав собственное имя: Йозеф Готтлиб. В первую секунду я не сообразил, что это была визитная карточка, заложенная между двумя страницами: «Йозеф Готтлиб. А.И.Э. (Ассоциация избравших эвтаназию) Циггорнское отделение» — и далее мой адрес. Вот какую «визитную карточку», оказывается, отец Антоний позабыл, куда сунул. Неважно, эта вторая предназначена для меня, мне недвусмысленным образом угрожали. Причем каков психологический расчет: выстрел с такой меткостью на такое расстояние. Однако ради этого все же не стоило со стрелой в клюве лететь в Португа... Так на полуслове я и застыл, только теперь раз-

глядев окошко в следующую страницу, — прорезанное бритвой (и след от нее на следующей странице — вместе с капелькой крови).

Это акт. Мы перешли Рубикон. Возможно, по здешним законам это серьезное преступление — порча церковных книг. Святотатство. Скорей закрыть, поблагодарить батюшку, на такси, на поезд — и в Лиссабон. Никаких жалоб, никаких дел с местной полицией.

По дороге в Эспириту Санту я с демократической бодростью сидел рядом с шофером; назад в Томар он вез распластавшееся на заднем сиденье тело. Не поражение меня сразило — в тот момент, когда государственная граница Советского Союза осталась позади, в моем сознании совершенно четко определилась граница иная: между законным и незаконным, нечистым. И когда оппонент эту грань игнорирует, уголовничает: режет бритвой церковную книгу, угрожает убить (сам, дескать, «выбрал эвтаназию»), тут я в растерянности. Я не боюсь нападения в темноте, но я боюсь темноты — в которой я слеп.

Теперь они полагают, что спрятали концы в воду (отныне это уже *они*). Доказать ничего нельзя. Ничего, отыщутся другие доказательства, но теперь вопрос, чего именно. Слишком неадекватными становились средства противодействовать моим в общем-то скромным целям — убедиться, что мой дед по крайней мере одну свою смерть пережил; да еще попутно — что у Кунце, к его чести, слова расходились с делами. Нет, я не верю в маньяков нацизма сегодня (не считая умственно отсталых, это могут быть только жулики). И потому не верю в чьи-то попытки любой ценой помешать «денацификации» Кунце. Скорее я допущу, что женщина, наделенная честолубием Фамари, пойдёт на многое, лишь бы скрыть свою неудачу. Но даже это все в конце концов красоты стиля. Фамарь... Первая здравая мысль — что это «пакет». Попытаешься вынуть что-то одно, высыпается сразу все. Что — *все*?

Я не забыл, что Петра подслушала такой диалог: «Он

все знает». — «Все?» — «Ну, не все...». Поэтому повторяю: что — *все*? Я по-джентльменски вел открытую игру. Это было непростительным легкомыслием. Как можно было, рассказав ей про письмо, дать номер телефона Боссе; в результате Боссе «убеждают», что письмо поддельное. А эта церковь? А эта запись в книге? Я же сыграл роль наводчика. Теперь наводчику сказали: «Все. Ты понял, кто ты, — понимай, по логике, и кто мы. И мы шуток не шутим».

Я как-то не верил, что ли, в глубине души, что я *настоящий*, всерьез никогда себя до конца не воспринимал. Не знаю почему, чем питалось это затянувшееся детство, но я так и живу, с чувством, что у других — да, взрослая жизнь, со мной же только игра, все какие-то «крестики-нолики». (Между девятью и двенадцатью — этакий девчоночий возраст в человеке — я занимал себя в трамвае и на уроках тем, что играл — соответственно с собою или с соседом — в крестики-нолики: девятиклеточный квадрат, на котором сражаются крестики — они начинают — и нолики. Цель: заполняя поочередно клетки, крестик — нолик, крестик — нолик, выстроить три своих значка по прямой в любом направлении. У ноликов шансов на выигрыш почти не было — только помешать противнику, свести все к ничьей. Однако зная назубок все ходы-выходы, свой ничтожный шанс на победу, свои «почти» ноликам все же случалось реализовать.)

Я меняю тактику. Еще не знаю, на какую конкретно, но меня вынудили: с волками жить — по-волчьи выть. Никогда не ожидал, что эту прописную истину для господ наподобие Берковича, моего бывшего тестя, придется взять на вооружение мне. Капитулировать я не собираюсь. Есть люди, которых нельзя пугать и нельзя шантажировать, — реакция, обратная ожидаемой. Я из их числа.

Я валялся в своем лиссабонском номере и думал. Город потерял для меня всякий интерес. Я предпринял еще пару вылазок — в музей карет, в Синтру; но разве

это можно было сравнить с туристским гурманством моего первого дня. Теперь, сидя в кафе на площади Камозенса, я вспоминал не Феликса Круля, а Глазенаппа — наблюдая, как ложка с супом гоняется за непокорным ртом малыша. Кормление Глазенаппа было важнее его рассказа, который при всей своей видимой сенсационности многого не стоил. Что-то я увидал — там, в доме, или в самом рассказчике — что мучительно хотелось назвать. Каким-то одним словом. Я осознал это не сразу — когда посмотрел семейный альбом «для гостей» Кунце... Нет. Потемки. И, казалось бы, раз мелькнуло что-то — в странной связи с малыми успехами Кунце в игре на фортепиано? Не понимаю. Вспышка была столь краткой, что я не успел ничего разглядеть.

Три унылых дня провел я еще здесь — по преимуществу в четырех стенах, из которых одну украшала современная топорная литография: беседка, мужчина и женщина в костюмах начала века взирают на раскинувшийся под ними Лиссабон.

Мне бы хотелось еще раз побывать в этом городе — но на сей раз только счастливой тенью. В солнечный день.

10

Не укради.

Петра не пришла меня встречать. Либо не сумела, либо не захотела — третьего объяснения нет. На меня сразу навалилась работа. Как-никак я три недели гулял, необходимо было в первую голову позаниматься. У меня сделались «руки как ноги», а уже завтра вечером предстояло соло в «Сильве», в Ротмунде, в счет погашения долгов тамошнему концертмейстеру. На днях начинались репетиции «Немой из Портичи» — с Лебкюхле, а я еще нот в глаза не видел.

Нашу улицу разворотили. Не реже одного раза в полугодие в нее вгрызались отбойные молотки, она покрывалась траншеями, потом все засыпалось и асфальтировалось. В этой стране люди всегда что-то чинят. Ей не грозит разрушиться *постепенно*. Небольшой «сюр»: по наваленным в кучу коркам асфальта прыгает негр, только что вышедший из кабинета искусственного загара. У Чаплина в «Огнях большого города» точно так же по оживленной улице вдруг деловито проходит слон, а там, глядишь, через перекресток гонят табун ишаков.

Почта, скопившаяся за это время, не блещет разнообразием: рекламки с брызгами каникулярных волн (спасибо, только что вернулся), которые, непрочитан-

ные, тут же отправляются в специально для этой цели поставленное возле почтовых ящиков пластмассовое ведро; отчет из банка, это я на всякий случай просмотрел — хотя никаких сюрпризов быть не могло.

Я позвонил к Ниметцу узнать, что нового, не ликвидировали ли в мое отсутствие оперу. Нет, все идет своим чередом, если не считать, что у шефа тендовагнит и он рукой не может шевельнуть. Вместо него репетировать «Немую» будет Гротеску (первый капельмейстер). Ну что ж, тем лучше, без эксцессов обойдется. Шор небось доволен? Ругнуть Лебкюхле — это комифо. По мне так все равно — что он, что этот румын. Лебкюхле даже удобней — раньше отпускает. А Гротеску еще в своей жизни не надирожжировался — и вечно тянет резину.

Занятия на скрипке, перед сном небольшая доза праздника, который всегда с тобой, — телевидения. Я вновь привыкаю к немецким декорациям — и вдруг почувствовал, что сто лет как не читал по-русски.

Что же предпринять? Я читал: «Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо...» — а думал совсем о другом. Что же предпринять? Кажется, если только руководствоваться принципом «с волками жить — по-волчьи выть», то я знаю что.

Вышло так, что с Боссэ, после той достопамятной встречи, когда он прочитал мне письмо Кунце к Элиасбергу, мы ни разу не виделись. То он был свободен — в те разы, что я играл; то он болел (мне сказали). А с осени он просто ушел на пенсию — пополнил ряды отставных немецких музыкантов. К нам такие иногда тоже навдывались, работавшие еще до моей эры. Источали нарочитую бодрость, каждый раз заново представлялись мне: такой-то — протягивали руку. Боссэ сдал — в тот

вечер, когда я играл у них «Сильву», он зашел. Я обратил внимание, как он стоит в дверях и как его в особо радостном регистре приветствуют, чтобы потом уже больше не подходить.

«Предатель», — подумал я, но все же остановился — спросить, как дела. Как-никак я дважды был у него дома. В его облике, сй-Богу, появилось что-то еврейское, в Харькове человека с такой внешностью точно бы приняли за еврея. Что же там вышло с письмом?

Плохо скрытый укор в моем голосе он принял не на свой счет — наоборот, заглядывая вперед, скажу: он-то решил, что мне все известно, раз я спрашиваю. Откуда — этим вопросом он не задавался. И как с такими мозгами можно целую жизнь прожить? Он смотрит на меня, точно милостыню просит.

Лучше об этом не вспоминать — он даже разболелся на этой почве. Как, он не понимает, *как* это могло произойти. Фрау Кунце позвонила к нему, попросила показать это письмо — и потом... Он вздохнул, я вздохнул — так в кинокомедии двое с пистолетами крадутся вокруг афишного столба друг за другом. Недоразумение разъясняется не раньше, чем один из преследователей прибавляет шаг. Он решил вначале (поясняет Боссэ), что фрау Кунце в туалете, и минут десять еще ждал.

Тут, не подавая виду, что вздыхали мы, кажется, о разных вещах, я прошу снова рассказать, как все было — по порядку.

Ну что, звонок к нему. Фрау Кунце на проводе, Доротея Кунце, из Бад Шлюссельфельда. Ей рассказывали, что у него хранится письмо ее свекра. Ей бы очень хотелось на него взглянуть. Как это можно устроить? Она охотно сама к нему приедет. Это равнозначно посещению небожителем хижины пастуха — для Боссэ, с его чиновничьей душой; а он был типичным немецким служащим, да еще старого образца, разве что, являясь по утрам на репетиции с очиненным карандашом и резиночкой в боковом кармане, не надевал нарукавников,

прежде чем достать скрипку (или что там, альт?). Нетрудно угадать, хотя трудно вообразить, что значило для него имя Кунце. Психология чиновного люда, населяющего немецкий город Петербург, обрела под российским пером бессмертие — сразу припомним всевозможных голядкиных, акакиев акакиевичей.

И вот звонок, на сей раз в дверь. И к такому Акакию Акакиевичу в квартиру входит Доротея Кунце. Он ее усаживает, он вокруг нее крутится. Письмо? Конечно же, сию минутку, оно уже приготовлено. Гостя не спеша его читает, интересуется, как оно к нему попало, не просил ли кто когда-либо для публикации. Потом снизошла до расспросов о прочей его коллекции, выказала интерес к его семье, посочувствовала, узнав, что он живет теперь один. Наконец Боссэ предложил ей чай или кофе. От чашечки кофе она бы не отказалась. Боссэ идет на кухню, а вернувшись с подносом, на котором кофейник, сливки, две чашки, сахарница, вазочка с печеньем, — никого в комнате не застает. Поначалу он решил, что гостю понадобилось в «кло», у него это сразу какходишь — кухня же в глубине. Через десять минут он деликатно идет «посмотреть»... Туалет пуст, входная дверь открыта, только притворена. Письмо исчезло также. И он не знает, просто не представляет, что подумать. Он даже не может никому пожаловаться — невестка Готлиба Кунце была у него и украла?! Даже язык не поворачивается такое выговорить. Да и кто ему поверит — решат, что он... Боссэ постучал пальцем по своему морщинистому лбу.

А не пробовал господин Боссэ с нею как-то связаться, выяснить? Нет, даже не пытался — да и как? Через кого? Что бы он ей сказал — пожалуйста, возвратите мне письмо? А она: какое письмо, вы с ума сошли! И ему не останется ничего другого, как признать, что это в самом деле была не она, а какая-то аферистка, внешне на нее похожая. К тому же он вскоре заболел, да-с, у него случился тяжелый инсульт.

Что можно было сказать ему в утешение? Прямо как

миледи украла у Бэкингема алмазные подвески... я покачал головой. Ну, в «Трех мушкетерах», помните? Нет, он не читал.

Мысль, что с волками жить — по-волчьи выть тактически беспспорная. Другое дело, как раз благими намерениями тактиков и устлана дорога в ад. И все же возьму грех на душу: законными средствами мне с *ними* все равно не сладить — рискну повить по-ихнему.

На этих днях, примерно в течение недели, я трудился в поте лица своего — как в Циггорне, репетируя «Немую», так и в Ротмунде. Что в сущности хорошо: некоторый тормоз. Следовало все идеально продумать. И я вспоминал... Что такое думать — если не вспоминать? Прежде чем принять решение, вспоминай — все-все. Ибо (перевру уже во второй раз эту цитату) кто знает, из какого сора...

В разгар моих «вспоминаний», на третий день по возвращении — я только вошел домой после репетиции — дала знать о себе Петра. Она звонит из Хундштока от своих родителей. Первая реакция: ушла из дому... даже непривычно, что кроме свекрови у нее есть еще кто-то. Извиняется, что меня не встретила — она на серебряной свадьбе. Молчу. (Этого не может быть.) Ах, у сестры... у старшей сестры серебряная свадьба... Они все живут там, в Хундштоке. А у вольнолюбивой Петры, оказывается, здоровые корни. Я спросил, кто ее отец. Боже мой, да он пастор, и у нее пропасть братьев и сестер в Хундштоке.

А у нее для меня сюрприз. Приедет — покажет. Когда? Если я хочу, то сегодня после одиннадцати. Когда я прихожу домой? Отлично, это же как раз по пути, она подхватит меня в Ротмунде, даже здорово — она меня целует... Дома ее ждут только завтра. Doswidanija druschba.

Сюрприз заключался в том, что на ступеньках ротмундского театра меня ждала прежняя, подстриженная как английский газон Петра. Специально для меня, она знает, что мне так больше нравится. Она никак не могла

меня встретить. А что я подумал? Я на это надеялся — в противном случае получалось, что она не захотела меня встречать.

Ее анархистский пошиб отнюдь не мешал ей недурно выглядеть. Больше того — даже легитимировал ее, ну, чтоб не так грубо, *пордический пушок*; мне после Израиля дико видеть рисунок примятых чулком волос на голени — у элегантных немок, т.е. следующих вовсе не матери-природе, а Коко Шанель.

Она спросила, что это у меня — в левой руке я держал скрипку, в правой — распираемую во все стороны авоську с названием местной снобистской гастрономии «*Rotmundienne charcuterie*»; перед спектаклем, имея в виду предстоящую разгульную ночь, я купил разной дорогой снеди: сыров, каких-то салатов, паштетов, копченой гусиной грудинки, кетовой икры, креветок — в надежде, что до полуночи это все не протухнет. Пить я взял «неподобающее» для таких деликатесов «асти спуманте». (Это мне хотелось — чтоб пить и про себя декламировать: «Веселое асти спуманте иль папского замка вино». Не знаю, подразумевал ли Мандельштам под последним что-то конкретное. Может быть, «Лакрима Кристи» — то, что пил в Неаполе Жерар де Нерваль, которым русские символисты очень увлекались? Я бы не пожалел еще двухсот марок, но этого сорта вина в «*Rotmundienne charcuterie*» не знали.)

Я предполагал, что мы будем умирать с голоду, когда вернемся, — она ведь уже добрых два часа в пути. Ой, она так обжиралась эти дни... она видеть ничего не может. Она поможет мне нести. Нет, это тяжело — пусть несет скрипку. Можно? (Это, наверно, действительно какой-то волшебный предмет для непосвященных.) Она правильно несет?

Если удалить эротический подтекст (и несколько сопутствующих сему мимолетных ласк — когда мы уединились в пространстве автомобиля), то беседа началась с расспросов о поездке. О самом главном, постигшей

меня в Эспириту Санта неудаче, она не узнала: мне все же было боязно посвящать ее в тайну генов ее сына; вместо этого я опять, в качестве «честного израильтянина», повернул оружие против себя: избиение арабов, захват земель — и она опять отважно брала под свою защиту бело-голубое знамя. Она, по-моему, в этом находила странную прелесть — как и в репликах моих, что она, Петра — это же «Свобода на студенческих баррикадах», тогда как я консерватор до мозга костей, и как это у нас могло что-то получиться? (Молчи, это-то и самое приятное.)

Мимоходом я пожаловался на свою тетю Эсю: Доротея Кунце с обратным знаком, тоже не заинтересована в выяснении правды о судьбе своего отца. Что ж, Петра понимающе вздыхает: в каждом лагере есть люди, которым важнее всего их моральный комфорт. Ее правда — и чего только не делается, чтобы этот комфорт сохранить, — ну вот, хотя бы...

С душещипательными подробностями я стал рассказывать о пожилом человеке по имени Боссэ (у меня в голове возник безумный план). Всю жизнь собирал этот Боссэ материал о местном оперном театре. Так, у него хранились: записка от Пфицнера, что-то, касавшееся Бетховена, но главным своим сокровищем он считал письмо Кунце — то, о котором я рассказывал, к дирижеру Элиасбергу, с упоминанием о моем деде. Когда сама фрау Кунце выразила желание прийти к нему, осмотреть его коллекцию, он не находил места от счастья: уж он готовился — Боссэ человек одинокий, вдовец. Как он трогательно все намыл, приготавливал угощение. И вот приходит ее свекровь. Просит принести ей кофе, и, пока хозяин с его темпами ходил, она... она просто ушла вместе с этим письмом. Она понимала, что такой червяк, как Боссэ, не только доказать ничего не сможет, он даже пикнуть не посмсет.

Петра сказала нечто весьма грубое. Я продолжал. Это беспримерная наглость — уже на уровне какой-то рабочей-владельческой вседозволенности. Когда я во второй раз

был в Бад Шлюссельфельде; то мне было заявлено: письмо — фальшивка. Между прочим, Боссэ перенес тяжелейший инсульт — даже у червяка есть какие-то чувства.

А спустя несколько часов я снова заговорил о Боссэ. Я бы много дал, чтобы это письмо к нему вернулось. Есть в этой истории что-то уже вопиющее к небесам. Интересно, как она думает, это украденное письмо физически существует еще?

Другими словами, уничтожает ли ее свекровь сй не-угодные документы, касающиеся гран-маэстро, или все-таки держит под спудом? Я вставляю: ну, понятно, если б она его сама застрелила и тому было бы надежное свидетельство... Она никогда об этом не задумывалась (при чем тут только юмор висельников (?), она не понимает). Но в принципе спрятать, зашить в чулочек, придержать впрок — это в немецком характере. Зачем уничтожать, надо вести тщательную документацию, наоборот — каждую записочку, каждую бумажку аккуратно складывать, прятать — только некоторые прятать получше.

То есть мысль о ненадежности сейфа заставила бы ее скорее поменять замок, чем уничтожить то секретное, что в нем хранится? Я — разумный мальчик. Они, немцы, считают, что все можно сделать, если делать правильно, — а уж кому, как не им, делать все правильно. Это их немецкая логика: все изобретем, все изготовим. Не случайно немец слепо верит в надежность того, чем пользуется. Взять хотя бы атомный реактор... Нет, меня интересуют сейфы. Возможно, что это письмо хранится у нее в сейфе — там наверху, куда она меня однажды водила... на правах родственника. Родственника? А разве она не знает, что моя бабка была вторым браком замужем за Кунце? Петра смотрит на меня... Ну конечно! Она же была еврейка, и я внук того самого скрипача... Так вот, Петра, — там, в той комнате есть стенной сейф, в котором хранятся разные бумаги, мне нужно как-то незаметно попасть в комнату Кунце.

У Петры вытягивается лицо на четверть. Я с ума

сошел? Я что, гангстерских фильмов насмотрелся? Она испугана. Петра... я не прошу соучаствовать в этом, я только спрашиваю, как можно незаметно проникнуть в ту комнату, — изнутри в нее можно попасть только на лифте, а вот снаружи... те двое, что там живут... Петра: это какое-то затмение, ребячество. Я: почему? Да очень просто — «почему». Если б даже я оказался в этой комнате, что бы я делал с сейфом? Я бы его открыл — когда знаешь код, Петра, это очень просто.

Я знаю код? Откуда? Петрушка ты моя дорогая (это было ее ласкательным именем, которое я произносил с немецким акцентом), только, пожалуйста, не подозревай меня в тайных связях с Мосадом, ладно? Она уже догадалась, я подглядел, какие цифры Доротея нажимала. К сожалению, я этого тогда не сделал: не говоря о том, что не предполагал стать взломщиком, я бы просто не запомнил моментально восьмизначное число. Но я сумел восстановить это число. Только в конце либо тридцать четыре, либо сорок три. Если ей еще не хочется спать (игриво ущипнула), то я готов объяснить как. Но для этого предстоит краткий экскурс в мое детство. Немецкие дети этой игры не знают — Тобиас, например, не знает: «крестики-нолики». А я был мастером — очень уж скучал на уроках. погоди, сейчас возьму лист бумаги и объясню.

После того как я наскоро набросал три штриха по горизонтали и три по вертикали — девять клеточек — и объяснил нехитрые условия, мы с Петрой принялись играть в крестики-нолики. Ей понравилось, мне даже пришлось принести еще один лист.

А теперь пусть посмотрит: у ноликов так мало шансов выиграть, что выигрышная партия в их пользу, молниеносно проведенная Доротеей Кунце, не могла ускользнуть от моего внимания. То была типичная «вилка» — как я это в детстве называл: крестик снизу посередине, нолик в верхнем углу и следующий крестик точно против первого, за ноликом. После чего проигрыш крестикам гарантирован, гляди. Нолик, естествен-

но, становится в центре между двумя крестиками. Крестик в правый нижний угол. На это нолик в нижний левый, чтоб по стенке три крестика в ряд не стали. Крестик тогда закрывает клетку над ним — вот эту. Последний ход нолика — в верхний правый угол, и вот все три ноля выстроены по диагонали. Или вариант: четвертый ход крестика — в правый верхний угол, в этом случае последний ход нолика — пустая средняя клетка слева. Но тогда три нолика строятся по вертикали слева. Теперь я нумерую каждую клетку. Получается 81259743. Или наоборот, в конце 34.

Петра в восторге (от меня): погоди-погоди, а если так пойти... давай-ка еще одну партию.

Петра, я повторяю: как мне туда незаметно попасть? Это означает: Петра, стань Ариадной, стань Медсей — тайно помоги. Она это понимает; уже интерес к разгадке фокуса, ставшего возможным лишь благодаря уникальному совпадению (коим, может, даже грех не воспользоваться), делает ее на несколько первых миллиметров незаконного пути моей попутчицей. Она тоже увлеклась — тоже уже вложила какие-то усилия ума и души в этот авантурный, но заманчивый план. Совсем отстраниться значило бы предать меня (1). Помочь советом, поддержать дальнейшим интересом значило бы продолжать втягиваться, но не явно (2). Непосредственно соучаствовать было хоть и заманчиво, но страшно (3). Предпочтение отдается второму — что все равно ведет к последнему.

После сильных колебаний, исход которых был, впрочем, предрешен, Петра называет 23 ноября — день рождения Кунце, обед в узком кругу, по традиции Тина Петерс исполнит в сопровождении Адама Улама несколько песен Гуго Вольфа и Кунце. Узкий круг — это два-три десятка человек (не считая официантов), примерно столько же машин. Часть их поместится во дворе (т.е. машин), остальные останутся снаружи. Ворота будут открыты. Чета Шарик на это время будет наверняка удалена — ну те, чехи, что у нее живут там, сзади. Доротея

их стесняется. Они вернутся только к вечеру, а то и на следующий день, если поедут к сыну, — он у них содержится в специальном заведении, он «даун». В общем, между половиной второго и тремя все будут за столом.

Но я же не могу, пожелав им приятного аппетита, пройти мимо них в лифт! Молчит — еще морально не готова вложить мне в руку ключ от лестницы (винтовой лесенки внутри башни).

Нет, этого она так никогда и не сделает. Интересный психологический штрих. Передать мне ключ она не решится, это в ее представлении прямое пособничество. Незаметно выйти в сад — мало ли зачем — и, поравнявшись с дверью, повернуть ключ в замке ей кажется меньшим грехом; и спустя несколько часов снова, проходя мимо той же двери, — что, запрещено? — повернуть ключ в обратную сторону. На это она согласна. Видно, ей кажется, что дать ключ — откровенный стговор, а так — как бы совпадение (одно дело вообще выстрелить, а уж за пулю ты не в ответе — другое дело выстрелить в кого-то с явным намерением попасть).

Так и быть, эту дверь я найду открытой, но на большее с ее стороны, пожалуйста, она просит не рассчитывать. А ее сын тоже будет на этом обеде? В прошлые годы не бывал. Может быть, в этом году и был бы представлен на всеобщее обозрение — тоже ведь как-никак Кунце по прямой линии. Но дело в том, что Тобиас уезжает во Францию, на неделю, с Дэнисом Рором — в рамках какой-то международной детской программы. (Ага, фрау Рор уговорила-таки...)

Хорошо, что в момент моего «налета» в доме не будет несовершеннолетних. Я взял свой календарь. Двадцать третье — вторник. Как всегда, очередная случайность: Кунце, «Обмененные головы», я играю. Правда, это не страшно, я успеваю четырехчасовым поездом вернуться. Главное, что репетиции к симфоническому концерту начинаются со среды, а не днем раньше: с репетиции, когда заняты оба концертмейстера, да еще с шефом, отпроситься — целое дело.

На часах четверть десятого — они спешат на десять минут, я всегда так ставлю. Немногим больше десяти часов назад мы встретились, теперь я убегал на репетицию «Немой из Портичи». Петра еще не вставала, но, когда я вернусь, ее уже не будет. Под половичком «для тех, кто вляпался», я отыщу ключ (от мосей квартиры). В это время Петра уже будет поджидать дома сына — по которому, по ее словам, соскучилась. («А по Инго?» — спросил я. Сколько раз надо объяснять, что они с ним чужие люди.) Ну, допустим, что по сыну соскучилась, — все равно предавала его. Прав был Вейнингер.

До дня рождения Кунце она еще дважды приходила ко мне — и вот двадцать третья. Сыро, тепло. Ночью прошел дождик, и кажется (под лучами пробившегося сквозь марево солнца), что клубятся зловещие испарения. На самом деле таково мое душевное состояние. Я уже здесь с десяти утра: бродил по лесу — на другом берегу речки, — следуя прибитым к деревьям стрелочкам с указанием маршрута и, как едва ли не настоящий убийца, радуясь, что не повстречал ни одной живой души. На мне прямого покроя плащ с вместительными карманами внутри. Как Бастер Китон в одной своей кинокомедии («Опасное гостеприимство», позавчера шла по третьей программе), я мог бы распихать по этим карманам дюжину пистолетов — про себя я уже решил не ограничиваться письмом Боссэ, а сгребать все, что под руку попадется интересного.

Когда стало совсем припекать (на первых порах плащ меня приятно согревал), я, увидев, что времени половина первого, очень медленно перешел по уютному мостику на обитаемый берег и еще медленней пошел в сторону «пряничного замка». Если говорить о волнении, то я испытывал его лишь по одному поводу (а волнение, которое можно локализовать в какой-то точке, уже не волнение; волнение на эстраде не локализуешь). Я боялся только за номер — за код, в смысле. А вдруг... (В «крестиках-ноликах» не было нуля, например, а в настоящем шифре он есть — одна эта десятая клеточка уже могла сбить меня с толку.)

Час двадцать пять. На обочине заасфальтированной дорожки первая легковая автомашинка, т. е. последняя в выстроившейся веренице. Перед домом, по ту и по эту сторону забора все пространство в машинах, служивших мне чем-то вроде прикрытия. Разумеется, я шел, вернес, протискивался, так, чтобы случайному наблюдателю и в голову не пришло, что кто-то крадется. Перейдя границу общественного и частного владения, я, не глядя по сторонам, очень целенаправленно, словно тысячу раз здесь хаживал, обошел дом и безошибочно отворил соответствующую описанию Петры дверь. Единственное движение, которое, пожалуй, могло меня выдать, — то, что я сперва потянул ручку на себя, тогда как дверь открывалась внутрь.

Отметив вздохом взятие первого рубежа, я, предусмотревший нужду не только в больших карманах, но и в маленьком китайском фонарике (неважно, в тайваньском), посветил вверх. Вокруг железного шеста закручивались ступеньки. На всякий случай погасив свет, я шел на ощупь. Железная решетка преградила мне путь — но я даже не успел испугаться, бутафория была явная — ни замка, ни засова; за ней еще одна дверь, снова не заперта (уф...), и я в кабинете Кунце. Гитлер смотрит на меня сердито — я чужой; но залапать не может. Свет проникает через неплотно зашторенное окно, и его достаточно.

Подгоняемый нетерпением и волнением, я набираю номер 81259743 — я еще накануне себя подготовил к тому, что первый вариант, безразлично какой, окажется неправильным: поиски ключей, кошелька, платка я всегда начинаю не с того кармана, так уж у меня «заведено», так случится и на сей раз... Вторая и последняя попытка имела счастливое завершение. Вспыхнула зеленая точка, содержимое сейфа было передо мной: письма, документы, папки, вроде той, что Доротея Кунце при мне доставала. Вот она, кстати. Все написано: «Клаус. Последнее почести. 19 января 1942 г.». Но меня интересовало прежде всего, не лежит ли здесь где-нибудь кусок стра-

ницы с метрической записью Клауса Кунце и потом — письмо, похищенное у Боссэ.

Надо отдать должное порядку, в котором содержались все бумаги. Вот центральное отделение, сразу видно: вся корреспонденция Кунце в хронологической последовательности, начиная с 1889 года: из Вигенны — к матери, к дяде Кристиану. Между прочим, то письмо, к Элиасбергу, писалось примерно в двадцатых числах января сорок второго. Можно поискать, и я — вообразите себе — нахожу его без особого труда: «Дорогой господин доктор Элиасберг, как глубоко я вам благодарен за слова утешения, в которых мы с Верой сейчас так нуждаемся». И т. д. Однако по-новому читаешь: долг отца, *не считаясь ни с чем*, оплакивать сына — это о себе. А об Й.: «Он переживает гибель Клауса — которого видел (!) всего лишь каких-то два часа — как если б это был его собственный сын».

Собственно, программу-минимум я выполнил. Хотелось бы найти то, чего я не доискался в Португалии, но где здесь это могло лежать? «Особо секретно» — такого отсека не имелось. Под папкой «Клаус. Последние почести» лежала еще стопка папок, и на корешках у всех было написано: «Клаус», «Клаус», «Клаус». В поисках метрической записи логичней всего было вытащить нижнюю. Я потянул за нее, и вместе с папкой у меня вытащился плотный черный конверт. Когда-то в таких «черных ящиках» хранили фотобумагу. Заглянув в него, я извлек фотографию, которая мне и без того была хорошо известна, — разве что это был оригинал. Мой дед перед дулом автомата; однако в следующую секунду я понял, что ошибся: это была *не та* фотография. На ней можно было разглядеть шрам; футляр сужавшимся своим концом касался шляпы (сейчас он ее сдвинет — это был предыдущий кадр).

Признаться, я так разволновался, что сел прямо на пол. После такой находки искать еще что-либо у меня просто не было пороку — хотя я здесь провозился от силы четверть часа и располагал уймой времени, мною

владело одно лишь желание: поскорей выбраться отсюда со своей добычей. Может, потом я об этом и пожалею, но сейчас ни о чем другом я не мог думать, чуть даже не забыл «вернуть должок» — оставить на полу визитную карточку Йозефа Готлиба из «Ассоциации избравших эвтаназию», благовоспитанно загнув уголок (так было мною, читателем Пруста, намечено).

Я осторожно вывинтил себя со второго этажа и вышел — как вошел: никем не замеченный, неприметный, словно вор с двадцатилетним стажем. Чисто сработано. Разве только в грудной клетке девять баллов по шкале Рихтера.

Затем случилось следующее — именно «случилось», хотя со стороны я, как ни в чем не бывало, всего лишь что-то внимательно читал, стоя на перроне в ожидании поезда. Я достал снова фотографию, и тут обнаружилось, что с оборотной стороны бумага мелко-мелко исписана. Я с трудом продирался сквозь биссер незнакомого почерка... к тому же чужой язык... расшифровывая букву за буквой, слог за слогом.

«Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» (Подчеркнуто дважды.) На переезде я поравнялся с большой колонной жителей Харькова, конвоируемой нашими солдатами. Среди них почти не было молодых мужчин. Многие женщины были с детьми на руках, почти все несли чемоданы. Ехавший со мной ефрейтор сказал, что далеко идти им не придется. Это я и сам знал, вещи им приказывали брать с собой, чтобы не создавать паники. В отличие от евреев других стран, участь русских евреев, как и русских военнопленных, можно охарактеризовать очень коротко: *vas victis*. Пока шлагбаум был опущен, мой «кадет» стоял бок о бок с процессией, которую естественней было бы представить в размалеванных «карочас», с *кугие* на устах направляющуюся на Плаца Майор — нежели в украинский лес, где на краю вырытой ямы установлен пулемет. Да! Произойдет все именно так, я при этом никогда не присутствовал, но об этом знают все. Мое внимание привлек мужчина со скрип-

кой. Других вещей у него не было. Держался он, по первому впечатлению, обособленно. Мне показалось, что и обликом своим он отличается от остальных, Впрочем, возможно, все дело было в скрипке. Он стоял не далее чем в полутора метрах от меня. Почувствовав на себе мой взгляд, он обернулся. Наши глаза встретились. «Нас ведут на казнь?» — спросил он по-немецки (язык, который был, безусловно, для него родным). За шлагбаумом медленно двигались платформы, груженные орудиями. Это могло продолжаться минут пять-семь. Кем бы этот человек ни был, мне захотелось увековечить его, взявшего в свой последний путь скрипку. Ответив ему, что, дескать, война есть война, не знаю, я схватил фотоаппарат — в это время ближайший конвоир, что-то заподозрив, угрожающе вскинул автомат, и тот, так со скрипкой вместе, поднял обе руки. Я успел сделать два снимка, на одном из которых вам пишу. Когда солдат с автоматом снова отошел, скрипач сказал тихо: «Сударь, я прошу вас об одном одолжении. То, что вы сфотографировали, покажите одной даме, проживающей в Германии. Найти ее вам будет совсем несложно. Ее зовут Вера Кунце, она жена Готлиба Кунце, очень известного композитора. И скажите, что человек, который на фотографии, просил ей передать, что обе ее дочери живы, что они спаслись, одна находится во Франции, а другая за Уральским хребтом». Сейчас, вспоминая об этом мгновении, я собою доволен: выдержка, самообладание, те качества, которые я в себе с детства воспитывал, меня не подвели. Только, видит Бог, не о таком их применении думал я. «И еще, — сказал он, — передайте фрау Кунце, что ее дочь Зуламит видела ее в Москве на концерте Берлинской филармонии». — «Фрау Кунце — это моя мать. Готлиб и Вера Кунце — мои родители.» — «Клаус?» К счастью, ефрейтор, которого я согласился подвезти, увидав знакомого, перебрался к нему в грузовик. Я более не должен был считаться с присутствием постороннего. «Кто вы такой?» — «Я твой отец, Клаус... Боже, какой путь Ты избрал, чтобы снова я поверил в Тебя...». Тут

поднялся шлагбаум, колонна двинулась. Какой-то выравнивавший строй конвоир неодобрительно на меня взглянул, очевидно заподозрив в симпатиях к евреям, и демонстративно подтолкнул одного из них автоматом. Мне тоже несколько раз посигналили сзади («тоже» дважды подчеркнуто). Едва тронувшись, я сразу за переездом остановился и стал для виду изучать карту. Шоссе скоро опустело, если не считать этих людей, теперь издали казавшихся чем-то средним между скоплением пилигримов и отарой овец — где-нибудь в Калабрии. Случившееся не могло быть сном, так что я напрасно ждал пробуждения. Я сейчас намеренно не анализирую своих чувств — я избегал этого и прежде. И потому держусь сугубо фактической стороны. Быстро нагнав идущих, я спросил у солдата, замыкавшего строй, где командир, на что он указал вперед. Это был гауптштурмфюрер. Его кубель-ваген поджидал колонну на ближайшей развилке, свернув на узкую проселочную дорогу, ведущую к лесу. Я представился: «Лейтенант Кунце, военный корреспондент.» — «Чем могу быть полезен, господин лейтенант?» — «Господин гауптштурмфюрер, произошло чудовищное недоразумение, — затем я позволил себе то, чего ни при каких обстоятельствах не позволял себе прежде. — Должно быть, вам знакомо имя Готлиба Кунце, великого немецкого композитора, кавалера ордена Гетте, большого друга доктора Геббельса, — это мой отец. Только что совершенно случайно в этой толпе я увидел человека, который такой же ариец, как и мы с вами? — старинный друг моего отца, видный музыкант из Риги.» — «Поехали, покажите.» Разыскать его оказалось не так просто. «Вот», — указал я. Гауптштурмфюрер окликнул его и велел подойти. «Как вы сюда попали, если вы немец? — Тут он посмотрел на часы. — Господин лейтенант, — продолжал он, — я не располагаю временем. Сопровождать нас я вам также не могу позволить... да вы, думаю, к этому и не очень стремитесь. Этот человек... но сперва я вынужден просить вас предъявить документы. — Когда это было исполнено, он продол-

жал: — Этот человек остается с вами под вашу личную ответственность. Вы должны прибыть с ним к военному коменданту в Харьков и там обо всем заявить. Я тоже доложу со своей стороны об этом инциденте». Я думаю, излишне пересказывать то, о чем я узнал по пути в штаб-квартиру генерала фон Клюгенау, — ибо ни в какую комендатуру я, естественно, не поехал. Старик Вольфи сто раз предлагал мне свое содействие, этим я решил воспользоваться. Моего спутника я предупредил, что он должен говорить и чего не должен. Выдавать его за доброго знакомого из Риги было бы роковой ошибкой, старая лиса Вольфганг разоблачил бы обман тотчас. Поэтому версия следующая: чтобы избежать репрессий, которым в первые же дни войны было подвергнуто немецкое население России, музыкант Йозеф Готлиб перебирается из Лемберга в Харьков, где выдает себя за еврея — беженца из Польши. То, что с ним случилось после отступления большевиков, — результат этой вынужденной мистификации. Я убедил старика Вольфи, что самое лучшее — это переправить Йозефа Готлиба к моим родителям, которые будут рады («будут рады» подчеркнуто двумя чертами) оказать ему профессиональную и человеческую поддержку. Вольфи обещал мне лично за всем проследить. Эта «почтовая карточка» прибывает, может быть, даже послезавтра. Я, как обычно, посылаю ее с редакционной почтой. У меня рука не поднимается подписаться».

Предстоявшие еще мне «Обмененные головы» были не самым легким спектаклем в нашем репертуаре: требовалось все время считать, потом было неприятное соло. Но так как я опередил все сроки, то успевал заскочить домой — прилечь на часок. У меня было такое чувство — такая усталость, в спине, в пояснице, — будто я сегодня полдня камни таскал. «Уф», — сказал я, падая на Эрихову тахту.

Вот все и выяснилось, можно было поставить точку. Я не знал только, как сложилась судьба деда дальше,

после войны, но меня это и не так волновало. Эся получила фотографию, текст. Пожелает — сама выяснит. Доказательство того, что Кунце спас еврея, ее отца, у меня имелось неоспоримое. Пусть теперь пишет в «Джерузалем Тауэр» опровержение — на статью маэстро Лисовского.

Я ощущал типичную послезаменационную пустоту: все сдал, на все ответил... Ну и что дальше? Мне в глубине души казалось, что в моей жизни что-то непременно после этого изменится... Ничего. Интересно, как там Сара Бернар, или как ее, Леандер — со своими гостями уже простилась? Когда хватится, то что она сделает? Какое у нее будет выражение лица? Я рассчитывал сегодня после спектакля обо всем узнать от Петры. А завтра еще до репетиции фотография будет отправлена Эсе. И — привет. Если хотите, заявите на меня в полицию, дражайшая.

Потом снова стал думать, как же это было — сын с отцом, впервые вместе, в ка-кой ситуации! Мальчишка, нацист — ума палата. Хотя, видно, цепкий по-своему. И вдруг этот сверхчеловек от рождения узнает, что он еврей. Что «великий немецкий композитор» — всего лишь его отчим. Что и мать его — его фанатичная антисемитка мать — тоже еврейка, о чем, разумеется, он не подозревал. Возможно ли было практически такое неведение? Да. В условиях той золотой клетки, в которой он вырос, — да. Я прочитал недавно мемуары дочери Сталина — лишнее подтверждение, насколько эти высокородные дети все до единого — «глазенаппы». Как же жил после этого Клаус — мой родной дядя? Правда, уже недолго ему оставалось.

Ужасно все это, хоть и как в кино. Гм... Сегодня отправить Эсе снимок нельзя, нет подходящего конверта — не посылать же в этом «черном ящике». К тому же все равно надо было зайти на почту: нестандартный формат. Прямо на журнальном столике, у самой моей головы, валялось несколько простых конвертов — я о них подумал, потому что они-то как раз и не годились.

Впрочем... Я что-то вспомнил; достал другое письмо,

перечитал, вложил в конверт и надписал адрес Боссэ, это уйдет еще сегодня. Глядишь, завтра утром старик получит и обалдеет. Прежде чем запечатать, я — следуя внезапной причуде — вкладываю еще туда записку: Robin Hood — with compliments*.

Но после спектакля Петра не пришла и не позвонила, вообще никак не дала о себе знать. Еще выходя из театра, я озирался в напрасной надежде, что она меня встретит. Вечер выдался майский, как будто и не стоял конец ноября. Кафе мгновенно оккупировали улицы столиками, за столиками расположился разный люд — не только мужчины, «одинаковые в смысле костюмов и морд», как писал большой друг немецкого народа Набоков (в этот час это могли быть только командированные), но и другие типы цигорнского социума: помолodge и поголосистей, или немолодые пары и группы с одинаково обточенными, как галька прибоем, вкусами и жизненными установками; и тех, и других, и третьих, и еще всяких разных — учительниц, мотоциклистов, вахмистров — всех их объединяла топорность центральноевропейцев, либо стремящихся не отстать от настоящего «Запада» (откуда и экстравагантные наряды на совершенно деревенских фигурах), либо, наоборот, воинственно противопоставляющих свое мохнатое благополучие тому факту, что в мире кроме какого-нибудь Швайнау или Нейштадта есть еще Лондон, Париж, даже Лиссабон — места парадоксальным образом хотя и не столь благополучные, как тот же Свинау, но почему-то ужасно волнующие душу.

Между тем выходившую из театра публику — оголенную, и в смокингах, и благопристойно-скромную, в квазиортопедической обуви — скандализировали непристойными речами, а главное, звуками, два подростка в боксерских шортах с банками пива. Но Петры не было.

Дома телефон тоже молчал. Я еще посмотрел фильм про камикадзе, чья напрасная жертва имела своей дей-

* С наилучшими пожеланиями от Робин Гуда (англ.).

ствительной причиной несчастную любовь, — вздохнул и пошел спать. Телефон на всякий случай я поставил в спальне возле кровати. В восьмом часу он меня разбудил, поведая голосом Ниметца, что сегодняшняя репетиция к концерту отменяется. Очень кетати (зевнул я), а чего так? Шеф все еще не может пошевелинуть рукой. Ну, так пусть ногами дирижирует (это был вполне нинетцевский уровень остроумия).

Поворочавшись, я поднял трубку и набрал номер Пстры. «Кунце», — проговорил мужской голос — а я-то надеялся, что он уже уехал в больницу. Чтобы не сеять семена подозрения в душе своего кузена, я говорю — как можно гортанней: йалла, хабиби! хванчкара! А? Энтшулдиг мир. Потом я быстро одеваюсь, вызываю такси и еду в Цвейдорферхольц...

Ехать долго. Авось, пока доеду, Инго уже не будет дома — о чем я по каким-нибудь признакам догадаюсь. Собственно, плана у меня никакого, просто снова говорить «гортанным голосом» в трубку мне не хотелось, да это и никуда не годилось. Все было настолько экспромтом, что в Цвейдорферхольце выяснилось: я даже не знаю названия улицы, не говоря уже о номере дома. Пришлось остановиться возле телефонной будки и полистать телефонную книгу. Галилея, одиннадцать. (Роры жили на Коперника, лучше б наоборот: все-таки Галилеи в конце струсил.)

Мне уже не раз встречался такой способ раздачи уличных названий — просветительско-цеховой: Леонардо да Винчи, Рембрант, Гольбеин, Ренуар; следующий куест: Бетховен, Моцарт, Гайдн, Верди (жребий они, что ли, бросают).

Дом одиннадцать — я едва успел командовать шоферу, что дальше, дальше, первый поворот налево и сразу за углом, я вспомнил, где это. За ромбами скрещенных березовых кольсв, в глубине двора — глубине более чем респектабельной — я увидал Петру. Она была в халате — явно выскочила вслед за низкорослым грузно переваливающимся мужчиной с черной бородкой (надо

же, у такой красавицы матери). Судя по этой мелькнувшей картинке, они ссорились: Петра что-то кричала ему, он шел (семенял) к гаражу, не оборачиваясь, — в противоположность жене Лота. Из-за угла, с риском быть опознанным какими-нибудь глазастыми роровскими соседями — «съевшими» нашу «Форель», — я подглядывал. С шумом, не отъезжающим, а скорее взлетающим, что-то красное и двухместное умчалось в направлении, откуда я приехал.

Муж уехал, любовник тут как тут. Я тесню впустившую меня Петру. В чем дело? Почему она не звонила?

Петра выглядит растерянной, еще не умывалась. При виде меня она пугается. Как я здесь очутился, и видел ли я Инго? Я видел след от его машины. Я должен немедленно уйти, нам нельзя встречаться, произошло нечто ужасное, Доротея догадалась... Понятно, догадалась, если я визитную карточку на полу оставил. Я здесь потому, что она мне не позвонила, и я немножко волновался... ну, успокойся. Что было? Все равно я уже здесь.

Петра сжимает руками луковичную свою головку и, всхлипывая, рассказывает. Не успели они вчера вернуться — звонок. Доротея — такой она никогда еще не была. Инго сказала только: твоя жена убийца твоего сына. И больше ни слова, повесила трубку. Через минуту снова телефон. Вилли. Инго пускай немедленно возвращается, матери плохо. Только чтоб без меня. Инго собирается схать — снова звонок. Никуда схать не надо, пусть даст меня. И тут Доротея мне заявляет: это я открыла дверь ипустила тебя наверх — пока они обседали — и потом снова закрыла. Она точно знает, что это я сделала. Самое благоразумное, что мне остается теперь, пойти и повеситься. Что я погубила их всех, включая и Тобиаса. И опять кричала мне, что Тобиас мертв. Она была как сумасшедшая. Не знаю, что бы она еще наговорила — Вилли отобрал у нее трубку. Поздней она звонила еще, о чем-то говорила с Инго — и Инго после этого меня ударил, впервые в жизни. Подошел и ударил по лицу со всей силы. Он очень сильный, ты не думай.

Я должен скорей уйти, ей страшно — почему они все

время говорят о Тобиасе? Они у нее его отнимут... Ну-ну, так уж сразу. Насчет того, чтоб я ушел — чего уж теперь бояться. Лучше поговорим: что она думает делать? Все-таки я как-никак втянул ее в эту историю, я виноват перед ней. Ну, хорошо. Она успокаивается. Она пойдет приготовить кофе — пошли на кухню.

...Сейчас, момент. Гостиная — немножко соломенное царство. Папирус, бамбук, циновка. Не то Нил, не то Янцзы — не то Египет, не то Культурная революция. Но на самом видном месте изображение отнюдь не Мао и не Озириса — а Инго со своим дедом; та самая, только многократно увеличенная фотография, где дедушка потчует внука кашей (раскормил в детстве ребенка). Во мне все похолодело. Я, кажется, понял, почему Кунце так и не выучился на рояле, — понял, что меня поразило, когда я впервые увидел этот снимок: дочь Глазенаппа кормила своего отца тортом, сидя справа от него, а здесь Инго по правую руку от дедушки. Но в таком случае... а как она ей сказала: она знает, что Петра сперва открыла, а потом снова закрыла — или что она мне передала просто ключ? То-то и оно, Доротея точно догадалась, как все было, — что дверь Петра мне сама открыла и сама же закрыла. Откуда ей это стало известно?

Боюсь, Петра, на основании собственного опыта — она это тоже когда-то проделала...

11

Не убий.

Нет, я этого не сказал ей, только прошептал: так он был левша? Кто, Кунце? Она не знает — да, если судить по этой фотографии. А какое это имеет... Это имеет, но неважно. Нет, кофе я не хочу, я, пожалуй, пойду. Или... здесь должна быть эта книга — ну, где какой-то случайный гость, врач, вспоминает, как он в последний раз завтракал с Кунце: собственно, это воспоминание всюду приводится. У них есть «По ту сторону любви и ненависти» Стивена Кипниса?

По-моему, Петра боится не только Доротея, но уже и меня: до чего я еще додумаясь? Что я еще раскопал или вот-вот собираюсь раскопать? Вот «По ту сторону любви и ненависти» — и ждет, что я ей скажу. Ей я ничего не скажу — *им*. Я ведь и так помнил, что там было написано, только хотел последний раз убедиться... Доктор Гаст, не так ли звали этого врача? Если предположить...

Звонит телефон. Петра говорит долго, вернее, долго говорят что-то ей, а она молчит, слушает, стоя ко мне спиной. Потом я услышал *oui... oui... bon...* еще что-то по-французски. Снова долго молчит, но я уже не обращаю внимания: раз не Доротея...

А все же я кое-что позабыл — и не последнюю вещь.

Платонический идеалист, разсезжающий на «ягуаре» и бритвами режущий церковное имущество, по имени Вилли, — скорей всего, и есть тот раненый герой, что гостил тогда в доме Кунце. Согласно доктору Гасту, он просил в то утро не ждать его к завтраку; он позже встал и позже соответственно вернется после своей регулярной утренней пробежки.

Это звонили из Гренобля, из детского лагеря. Ничего особенного — у них поменялось расписание, вместо поездки в замок Синей Бороды у них экскурсии в Лабиринтовую Пещеру, ее просто поставили в известность... Йозеф!

Она строго, со складкой меж бровей, смотрит на меня — боюсь, что у жены Потифара строгий взгляд и честное выражение лица лишь восполняют дефицит оных качеств. Что-то, видно, задумала. Да, так оно и есть — приняла решение оставить семью. На мою свободу она не посягает, но, если я пушу ее к себе на несколько дней, она мне будет признательна. Просто так дальше продолжаться не может, они с Инго уже давно, — короче, все это мне было известно: они не разселись, потому что у Тобиаса сейчас как раз трудный возраст. Чуть только он станет постарше... Ну, хорошо. И что же теперь, когда он вернется? У нее больше нет сил, существуют интернаты. Доротея давно твердит о Салеме. Петра сопротивлялась, потому что знает, кто оттуда выходит. Но — наверное, судьба.

Какое, однако, неожиданное действие возымел звонок из Гренобля... Она вспыхивает — еще праведней, еще строже: если меня что-то в ее просьбе смутило, то она берет ее назад. Да нет, Боже упаси, я буду рад ей, честное слово — с чего она взяла? Мой дом — твой дом, Петрушка...

Потребовавшиеся ей полчаса на сборы для меня прошли в борьбе с сомнениями, которые были, увы, побеждены. Первое и главное: решимость (заявляю я как эксперт) наставить на себя смертоносное дуло, чтобы в следующее мгновение этого «себя» действительно не

стало, требует отчаянной решимости мускулов. В таком состоянии левша инстинктивно сожмет пистолет в левой ладони — к тому же, вероятно, впервые на старости лет берясь за него. (Потом, когда мы проедем мимо «Вулворта», что на Цвейдорферхольцердамм, я попрошу на минуту остановиться: мне надо будет кое-что купить.) Нет, почтеннейшая, никогда в жизни старый человек, левша, не станет стрелять в сердце — в левый висок; ну, может быть, еще слабонервно в рот (это как натянув на голову одеяло).

О чем я думаю? Я очнулся от — честно скажу — невеселых размышлений. Я этого не ожидал, таких открытий мне делать не хотелось. Она уже готова. Не Ирина с чемоданом — с сумкой через плечо, как будто к подруге на уик-энд; так, наверно, и будет — куда она уйдет от своих Кунце!.. Что со мной, я так обеспокоен тем, что она переселяется ко мне, — она не обременит меня надолго... Да нет же, черт побери! О? Новые звуки? Я прошу прощения, это не из-за нее совсем. Она понимает: я боюсь мести Доротеи. Я?! Вот уж если кому здесь стоит бояться, то это Доротея: Доротея совершила большую ошибку, обвинив ее в том, что она открыла, а потом закрыла дверь своим ключом — разоблачила себя...

В чем? Что? Как? Петра набрасывается на меня. Нет, пока я еще ничего не могу ей сказать, пожалуйста... только одно: Вилли... (Это ведь Вилли Ключи фон Ключенау? — Да.) Вилли когда-то переспросил Доротею — по ее, Петры же, словам — все ли я знаю. И Доротея его успокоила. Отныне я знаю все. У них есть *все* основания лишиться покоя.

Естественно, Петра захвачена — но я предпочитаю отмалчиваться: незачем ей это знать, откуда мне самому еще не ясно, что со всем этим грузом делать. Но она не успокаивается (меня тоже кто за язык тянул...) — что, неужели это все из-за того письма, о котором я ей говорил? Или я нашел что-то в сейфе еще?

Вот спасибо, что напомнила, я же до сих пор не ото-слал фотографию Эсс — надо сделать немедленно!.. (Нет,

я отнюдь не чувствовал себя в полной безопасности.) Петра, я на почту, скоро вернусь — ничего особенного, всего лишь должен послать одно фото, ей знакомое. Показываю. Она предлагает свои услуги: сама сходит, заодно купит что-нибудь к обеду, а я волен заниматься тем временем своими делами; пока она здесь, она принимает на себя заботы по хозяйству, договорились? В данном случае это нормально, потому что она не работает.

Петя, милая, ей-Богу, это лишнее. Это важное письмо, мне спокойней самому его послать — надо еще купить большой конверт в «Лото-тото» (я так эту лавку называю). Если она хочет, можем пойти вместе. Если я правильно понял, она собирается мне готовить, стирать, гладить — какая красота! И я снова перестану быть холостяком. Почему снова? Потому что, Петра, у меня уже была когда-то жена.

На эту новость она горячо откликается — понятно, что это ей интересно, раз она со мной спит. Кто моя жена? Как ее зовут? Из-за чего мы разошлись? Мою жену зовут Ира Батьковна. Эмиграция обладает, подобно лекарству, побочными действиями: разводы среди эмигрантов чаще. Сейчас она замужем за другим. Я ее не видел уже три года, больше. И не хотел бы? Я в эту лавку за конвертом. Хорошо, она пока позвонит знакомым.

На почте очередь — как всегда или в честь меня, не знаю, я здесь редкий гость. Служащий, прежде чем взять мой конверт, решил высморкаться. (Вот тоже повод для германофобии — если кто их собирает. Люди здесь действительно сморкаются громче и чаще, а главное, самоуважительней, чем в иных краях. В нежнейшем месте лоэнгриновской оркестровой кантилены, на заключительном *morendo* тоники кто-то как безумный вдруг начинает трубить в носовой платок. Должно быть, считается, что раз это продиктовано нуждами гигиены, то есть здоровья, то церемониться нечего; император Клавдий исходил из тех же приоритетов добра над красотой, по-

велевая... ладно, Бог с ним, что он там своим обжорам повелевал.) Не спеша выпотрошив обе ноздри, служащий в окошке занялся моим конвертом: взнесил, сходил за каким-то справочником, нашел, что в нем сказано насчет Израиля, наотрывал целую радугу марок. Затем отсчитал сдачу с полсотни. У меня не было меньше — так он назло, что ли, мне надавал столько мелочи. Пока я жадно сгребал серебро, очередь терпеливо дышала мне в спину. Ага, спасибо — Петра уже успела наклеить марки; а все же приятно, когда о тебе кто-то хоть раз позаботится. Петра, а правда, вышла бы за меня замуж? Она молча указывает глазами на почтовый ящик, дескать, дурачок, опускай свое письмо, и пошли — молча, но ласково; в ней даже появилась какая-то женственность.

Часа через два после вселения ко мне Петры раздался телефонный звонок — я немножко занимался и замешкался. В программе предстоявшего концерта был «Художник Матис» (не Матисс), а там было что поиграть. Хиндемит — возможно, самый близкий мне композитор двадцатого века, во всяком случае, последняя надежда на спасение европейской музыки — всеми четырьмя лапками увязшей в музыкальной драме и вот уже более ста лет в ней гниющей... опасаясь, что уже сгнившей. Только Хиндемит слабоват, не потянуть ему — тут надо быть солнечно-гениальным.

Доротея Кунце — собственной персоной. Нам надо встретиться и поговорить. Я всегда к ее услугам (и, если она помнит, я всегда только этого и желал) — но, фрау Кунце, начистоту. Когда сии меня ждать — сегодня, завтра? Нет, к сожалению, сегодня у меня спектакль (срывание всех и всяческих масок уже состоялось). Завтра после репетиции между тремя и четырьмя часами я буду. Хорошо, она меня ждет.

Я обсудил этот звонок с Петрой, которая, надо сказать, восприняла его очень спокойно. Ей нравилось смотреть, растянувшись на диване, на меня — зубрившего такт за тактом фугу из «Искушения св. Антония». Но

потом «очарование новизны» прошло, скрипач превратился в свистящий над ухом чайник, который нельзя выключить, она перебралась в спальню. Через пять минут (условных — когда я играю на скрипке, чувство времени, в моем случае острое, меня покидает) — через «пять минут» она выходит с пистолетом. Я растерялся, не зная как быть: возвести на себя напраслину или сказать ей все как есть... А, плевать! Скажу правду — не маленькая девочка. Пистолет, который она нашла у меня под подушкой (от нес был спрятан — смешно сказать куда)... словом, я понимаю, что игрушечный пистолет под подушкой представляет человека в довольно глупом свете, но, купленный только что в «Вулворте», он предназначался для одной-единственной цели: я хотел проверить, мог ли Кунце левой рукой выстрелить себе в сердце.

...Ты с ума сошел...

Больше ничего не сказала, вернулась с пистолетом в спальню. Если будешь проверять (кричу я), то учти, что настоящий, в отличие от пластмассового, что-то весит, да еще в момент выстрела тряхнет руку, как при дружеском рукопожатии.

Петра не выходила из спальни долго — «переваривала». Когда вышла, то больше мы этой темы не касались — и я, и других, впрочем. Перебрасывались редкими, ничего не значившими фразами, словно пожилые немецкие супруги на природе. Может быть, она хочет сходить сегодня на «Дочь Иеффа»? Нет. Ключи я оставляю. Если вдруг, мало ли, ей понадобится выйти, она знает, куда их положить. А завтра сделаем вторую пару. Ну, Петрушка, я через три часа вернусь.

Под «Дочь Иеффа» — которую можно было играть на автопилоте, это не кунцевские «Головы» — я размышлял; чувствовал же я себя так, словно на завтра была назначена дуэль. Литературных аналогий — миллион, в подтверждение того, что я не живу как человек, я — *читаюсь*, я книга и читатель в одном лице. Предстояло больше чем дуэль. Рисовался посидинок между старым нацистом и израильским солдатом. Если б тогда, в сорок

третьем, над Освенцимом, над Варшавой вдруг появились израильские парашютисты — сколько слез было бы пролито читателями.

Но дуэли не будет. Я снова и снова ставлю себя на их место. Допустим, мне расставляют ловушку: я знаю слишком много, чтобы оставаться в живых, — хотя о главном моем открытии они еще не подозревают, но неважно, достаточно снимка, верней, того, что написано на обороте. Они убийцы, психологических проблем у них нет. Но вот технические? Петра знает, где я, и ждет моего возвращения — я этого скрывать не буду. С другой стороны, снимок все равно не со мной и вообще не у меня, и никакая сила не помешает ему прибыть в Израиль. Нет, жизнь моя застрахована надежно. А что касается торга, то что они мне могут предложить за фотографию, кроме денег, даже очень большой суммы? Зато я бы мог написать книгу — между прочим, тоже не бесплатно. Но прежде всего это бы принесло мне славу. Настоящую славу, несоизмеримую с чьей-то там дирижерской известностью. Скандал, расследование — вплоть до баллистической экспертизы. Для кого-то это обернется катастрофой: для Петры, для этого мальчишки Тобиаса, для Инго. Даже если за давностью лет преступники будут от наказания освобождены, все подробности всплывут.

Это был колоссальный соблазн, и я его не отринул. Я уговаривал себя, что Клюки и Доротею мне не жалко: они постоянно жили под знаком совершенного ими злодеяния, такая жизнь все равно ад в преддверьи ада — хуже им не будет. А Тобиасу даже лучше выбраться на свежий воздух. (Поймал себя на том, что ни разу не полюбопытствовал, *зачем* это было сделано. Конечно, разгадка и этого не за горами, раз известно, *что* было сделано... тогда меня это не волновало. Даже сама постановка вопроса казалась нелепой: что значит искать мотив — зло творит себя не задумываясь.)

Так я рассуждаю, пребывая двумя метрами ниже уровня сцены. Музыка идет, музыка божественная.

Ария Иеффая в конце невероятна. Каждый раз я безог-
четно ее жду. Справа стена, завершающаяся оторочен-
ным бархатом барьером; слева действуют лбы, головы,
бюсты — если певец совсем выдвинется на авансцену,
то она ампутирует ему только голени. За барьером пуб-
лики не видно — но здесь хирургия другого рода. На
бархатной опушке может валяться позабытая кем-то
кисть, чаще женская, реже мужская. Сегодня это был
обрубок вдвойне: у сиротливо лежавшей кисти недоста-
вало нескольких пальцев.

Прежде чем позвонить в собственную квартиру, нос-
ком я приподнял половичок — почему-то в полной уве-
ренности, что под ним будет ключ. Нет, Петру я нашел
в таком же состоянии, в каком и оставил, если не еще
более подавленной — «болеет убитой» ведь не скажешь:
убийство, как и беременность, относительным не бывает.
В ней появилась какая-то судорожность — в словах, жес-
тах (все глубже проникает в его тело яд Лернейской
гидры — как сказано у Софокла). Ни о какой близости
между нами этой ночью не могло быть и речи. Я накормил
ее валиумом — который сам принимал одно
время, — после чего она до утра спала. В отличие от меня.

Ночь перед дуэлью... (это чувство вернулось снова).
Печорин читал Вальтера Скотта; Милый Друг, облива-
ясь холодным потом, тщетно пытался написать письмо
родителям; Коменж «демонстративно» предавался лю-
бовным утехам (Мериме); Ленский, студизус из Гет-
тингена — совсем мой сосед! — в стихах мечтал о том,
как дева красоты прольет полную раскаяния слезу над
ранней урной; Галуа накануне гибели сделал великое от-
крытие (это уже ближе ко мне).

Когда за занавеской забрезжил слабый свет, я отложил
Борхеса — остановившись на рассказе «Das verborgene
Wunder*», Борхес ведь не переведен на русский. Сунул
закладку — дочитаю потом. Пошел варить кофе. Можно
сказать, что последний день в этой истории начался.

* «Тайное чудо» (нем.).

Он начался с события совершенно экстраординарного для меня, которого одного бы хватило, чтобы стать переживанием «всерьез и надолго». Я явился в театр. Как ни в чем не бывало сажусь рядом с Шором. Будучи оркестрантом старого закала, Шор своим профессиональным прилежанием оставлял меня далеко позади: он отщелбанил хиндемитовскую фугу на память, наверное, в девяносто ноток из ста попав. Я развел руками. Шор явно благодушествовал, сего седые лохмы, обрамлявшие бледно-розовую, цветом совершенно младенческую плешь, торжествующе стояли — как усы у какого-нибудь заядлого бретера. Тут выясняется причина сего хорошего расположения духа. Швабская задница наша так рукой шевельнуть и не может. Он, говорят, уже и к колдуну ходил. В гипс сегодня кладут. Выходит, Гротеску и тут счастье привалило? Нет, что я, смеюсь — чтоб Гротеску дали концертом дирижировать? Кого-то там пригласили. И появляется Ниметц. Я не понял вначале, откуда я знаю человека, которого он подводит к дирижерскому пульта — с партитурой и палочкой в руках. В последний раз Лисовского я видел укладывающим в багажник Иринин чемодан.

Хлопнув несколько раз в ладоши, Ниметц просит внимания. Болезнь господина Лебкюхле не позволяет ему дирижировать предстоящим концертом — сего руке необходим абсолютный покой. В поисках равноценной замены... снова хлопанье в ладоши, он просит тишины (слово «равноценная» вызвало оживание). В поисках равноценной замены нашему интенданту пришлось вчера вечером основательно потрудиться, но, к счастью, не напрасно. Он, Ниметц, рад представить нам Валерия Лисовского. Струнная группа вежливо застучала смычками. Господин Лисовский только что с успехом поставил в Тонхалле, в Цюрихе, «Желтую конницу» Су-Кинсына — которая нам в следующем сезоне тоже предстоит... дамы и господа, пожалуйста, тихо.

Между прочим, обратясь к Лисовскому, Ниметц замечает, что их концертмейстер — сего соотечественник,

и указывает на меня, как будто я свободный столбик. Лисовский доброжелательно вскидывает брови: удивление и приветствие разом — и тут же забывает обо мне: он уже в работе. Добрый день. Хиндемит, третья часть, «Искушение святого Антония». Не быстро.

Это трудная вещь — она поглощает мое внимание; но в разрывах его, как небо среди туч, мелькала то та, то иная мысль. Знал он, что я здесь, или нет? Ну, конечно, знал — ко мне ведь явился этот субъект из еврейской общины за согласием на развод (вот тогда-то я и принимал валиум). Но к чему это все? К чему понадобилось на мою голову обрушивать еще и это испытание сегодня — разве мало того, что мне предстоит? Пока он возится с духовыми, я подумал, что Ирина тоже, может быть, сейчас здесь. Чем ей заниматься, как не путешествовать по миру вместе с мужем? Следовательно, она будет на концерте — вон в той ложе, прямо против моих глаз. В это время он говорит «tutti», и мой вздох, граничащий со стоном, бесследно исчезает в мощной «Аллилуйе» медных.

Руки дирижера постоянно присутствуют в поле твоего зрения. Насчет *этих рук* я мог бы мучительно фантазировать. И кто говорит, что я этого не делал. Только музыка, что в этот момент звучала, только она одна была на моей стороне, как бы говоря: «Сим победиши». Ну и потом сложный нотный текст был чем-то вроде истязания плоти (косму подвергал себя знаменитый египетский анахорет).

В перерыве, долгожданном, как новокаиновый рай для больного, я заглянул в конторку Ниметца. Там его не оказалось — значит, в кантине. Этот боров стоял у стойки с бокалом пива — десятым? пятнадцатым? — среди себе подобных, разве что помельче, и все они покатывались со смеху. Я взял пива и сделал вид, что я такой же. А знаю ли я Лисовского? Он ведь тоже из России и сейчас живет в Израиле. Лебкюхле себе подыскал подходящую замену — и новый взрыв пеннопивного хохота. Я должен был безоговорочно разделить их восторги

моим земляком — вполне искренние, без оглядки на меня. Лисовский, и правда, был как дирижер на порядок выше провинциального князька Лебкюхле, но главное, гастролер с симфонической программой, если он не совершенный нуль, всегда в фаворе у оркестра, который тут же начинает сравнивать его со своим, уже много лет храпящим бок о бок в постели, законным шефом. Разумеется, что сравнение не в пользу последнего.

Я спросил у Ниметца: а Лисовский как — всю эту неделю, пока идут репетиции, будет курсировать между Цигторном и Цюрихом? Нет, оказывается, ему в Цюрих уже не надо. Так он сюда, наверное, с женой приехал? Да, они остановились здесь напротив, в отеле «Винтер Паласт». Ненатурально икнув, зато с характерной при этом миной похлопав себя по груди, я удаляюсь.

Еще не все, еще предстоит второй засед: первая и вторая части, «Концерт ангелов» и «Положение во гроб». Наконец, после репетиции, сбегая по ступенькам — я торопился на поезд, а еще убегал от своего желания ненароком столкнуться с Ириной, — я вдруг узрел ее. Она стояла на той стороне, перед «Винтер Паластом», в ожидании своего супруга, только что три часа подряд дирижировавшего мной. Мне стало ясно: ее мне показали перед смертью, должно быть, это случится сегодня (я так подумал, хотя сам еще не верил в это).

Я объективно спешил на поезд, а получилось, что убежал от нее, едва наши взгляды встретились — точно как месяц тому назад в Тель-Авиве, объятый жгучим стыдом, за невозможностью провалиться сквозь землю, я тоже убежал — из дома, где мы вместе с нею жили.

В поезде я сожрал из бумажного корытца «кэрри-вурст» с черным хлебом и долго полоскал в туалете рот и горло «непитьевой водой», чтоб от меня не пахло дешевой закуской. За окном уносились вспять осенние пашни, кое-где покрытые рукотворными сугробами в колечках автомобильных шин. Я обещал быть между тремя и четырьмя — так оно и получится. Достав Борхеса из кармана, я открыл на закладке — стал читать и

увидел, что это обо мне. Это было даже не столько чтение, сколько гадание — для меня несчастливое. Я не испытывал страха, скорее уж недоумение (казалось бы, я все предусмотрел) и вызванный этим спортивный интерес: в чем же я дал маху? Суеверно хочется побродить лесными дорожками на той стороне реки — позавчера побродил, и мне это принесло удачу (своего рода экологическая кроличья лапка). Но куда-либо сворачивать уже поздно, и я решительно иду в дом, где меня ждут. «Ягуара» нет, один сс «мерседес» — не верю! Значит, припрятан где-то. С этой мыслью звоню.

Она держится со мной, словно предстоит нам исключительно протокольная часть, главное — позади; все выяснено, все точки над *i* расставлены, встретились два вполне респектабельных партнера, во всяком случае, ее респектабельность сомнений не вызывает. Меня принимают в гостиную — той самой, где я некогда с позволения Петры листал семейный альбом. Меня усаживают на диванчик — правильно, лицом к свету, сама же садится спиной к окну. Мне безразлично. Сейчас узнаем, во сколько она оценивает фотографию своего свекра. Если же спросит: «Ваша цена?» — то потребую правду об убийстве Готлиба Кунце. Она закричит: как вы можете! Вы с ума сошли! Я: сударыня, считается, что Вера Кунце окончательно потеряла рассудок в тот день — она бросается из дому неизвестно куда, вечером прыгает с перрона под поезд в Ротмунде. Так вот, сударыня, Вера Кунце бежала не в припадке безумия, она бежала, спасаясь от вас. То, на что мне потребовался год, она поняла в одно мгновение. Когда раздался выстрел, вы, кстати, единственная, кто выбежал в сад — якобы в страхе за ребенка, за Инго. На самом деле вы успели запереть дверь в башенку. Не случайно у вас при себе оказался ключ, как пишет доктор Гаст. Вера догадалась обо всем, это совершенно очевидно. Она пытается добраться до Ротмунда, предупредить моего деда, своего первого мужа. Наверное, уже было поздно. И тогда в отчаянии, затравленная, среди народа убийц...

Не хочу ли я хересу?

Я? Хересу? Ах, простите, я задумался — нет, не хочется. Она тем не менее встает и подходит к буфету: значит, разоблачив Петру, по моему мнению, она разоблачила сама себя? И тут же, не давая мне опомниться: я прав, Вилли не должен был стрелять в сердце, забыла ему сказать...

Стремглав скатываюсь я с дивана на пол. Я не ожидал от себя такой прыти, инстинктом я оценил ситуацию скорей, чем разумом. Судите сами: со словами, для меня однозначно роковыми («Ты видел Валькирии огненный взор» — следовательно, живым отсюда уже не уйдешь), она отходит в сторону, от греха подальше. Опрокинувшись на спину, впрочем, в положении не менее безнадежном, чем сидя спиной к убийце, я мог видеть классическую портьеру — теперь уже позади Вилли Клюки фон Клюгенау, который держит пистолет — не с целью чего-то добиться от меня, а чтобы немедленно выстрелить.

Таким я его себе и представлял: седым ветераном в штатском — а если в униформе, то бездушным жрецом войны, в итоге принимающим смерть вопреки здравому смыслу и человеколюбию противника (Ч. Бронсона). Кроме того, я узнал левую руку с обрубками пальцев, свешивавшихся вчера в театре с барьера.

Она должна учесть, что Петре известно, где я — я обращаюсь к ней, он «горилла». Ее голос звучит насмешливо — откуда-то издалека: а я еще не сообразил, на чьей стороне Петра? Да она перекинулась к ним, едва поняла, что я собираюсь лишить ее сына родословной. Помню ли я ее телефонный разговор с Греноблем? Этот Гренобль находился здесь, в этом доме. Так же как и подруга, к которой она звонила по дороге на почту.

Но, говорю я, преодолевая во рту ужасную сухость, фотография в любом случае отправлена, уж ее-то я сам опустил в почтовый ящик.

Опустил-то сам, но марки — кто их наклеивал? Конверт уже вернулся по обратному адресу, Петра звонила.

Мой взгляд затягивает, как в воронку — в черную точку. Шма Израэль? Меня осеняет (это уж точно сверхчеловеческое). Одной короткой задыхающейся фразой я отвожу от себя выстрел: пусть попробует выстрелить, мое тело, подобно спичке, вспыхнет.

Он не шлохнулся, но это только внешне. Внутренне отпрянул, еще как! Неужели она думает (я снова обращаюсь исключительно к ней, его игнорирую), неужели она думает, что я не предвидел и такого исхода? Я весь сейчас как брандер. Советую прежде вызвать пожарную команду, а потом уж стрелять. Подымаясь, я похлопывал себя по внутреннему карману с видом выигравшего миллион, — правда, я-то выиграл побольше, вот только игра еще не закончена.

Сидим по «углам равнобедренного треугольника», не сводя глаз друг с друга. У них нет стопроцентной уверенности, что я не блефую, и это для них как плевок. На любое мое движение фрау Кунце вздрагивает, а герр Клюки хватается за пистолет. Что мы выжиливаем? Положение безнадежно патовое. Спустя четверть часа я со старосветской учтивостью (как хочется мне думать) спрашиваю, понравилась ли ему вчерашняя инсценировка генделевской оратории? Евреи там довольно-таки кровожадные: вместо желтых звезд, этой овечьей шкуры, танковые гусеницы через плечо, свою единокровную дочь, и ту не пожалели. Между прочим, позднейший комментатор осудит Исфая не за то, что дочь принес в жертву Богу, а за то, что чуть не принес ему в жертву свинью, — откуда он знал, что не свинья выйдет ему на встречу первая?

Я испытываю потребность раздражать их — быть же уверенным, что кого-то раздражаешь, бешишь, можно лишь в том случае, когда бешишь самого себя. Интересно, знакомо ли нечто подобное им? Ей? Бывала ли она сама себе когда-нибудь противна — эта красивая мать уродливого сына? Или она даже бы не поняла, о чем речь? Если б я проник к ним в душу, что бы я увидел — к ней в душу, его душа мне ясна: не имея к чему при-

ложить свою преданность, он был бы как недояная корова. Но вот она — что значит для нее, например, «чужой»? Где проходит граница между чужим и своим? Скажем, я всем чужой и наоборот: мне все чужие. Здесь граница примыкает прямо к телу. Ее владения побольше. Но за счет чего — происхождения? родных мест? языка? сына? внука? Она, которая способна на самое большое зло — убить, ожидает ли она того же от меня? Что она вообще обо мне думает — ведь ничего же! Опасное насекомое. Так кто же *не* насекомое, кто эти *свои* — вот я что имею в виду. Взять, допустим, армян...

Он встает и, проходя мимо телефонного столика, неожиданно с мясом рвет провод. Ну это уж напрасно. Вслух: это было лишнее, я бы не стал никуда звонить, в свои семейные дела я полицию не впутываю.

Нехорошо... Еще, глядишь, сочтут за попытку с ними договориться — чему не быть никогда. Именно потому, что это — мое семейное дело. От Веры Кунце и до Эси Готлиб, от Ирэны Лисовски и до груды тел во рву под Харьковом — мое семейное дело.

Что она говорит! Ай-ай-ай, Петра моя все ей передавала, можно сказать, на отпетых фашистов работала. А как ее убеждения? Отреклась? С таким именем сам Бог велел отречься, а после каяться. И ведь уже знала, что вы сделали с Кунце. То-то она была сама не своя, внушала себе, наверное, что понятия не имеет, какая мне уготована участь, — чтобы потом всю жизнь твердить: я ни о чем понятия не имела. И даже искренне: знание не менее избирательно, чем память, — тут я делаю «комплимент» ему: быть убийцей вроде него, по крайней мере, честней — это не значит, что с ними приятней иметь дело, разумеется.

Думаю, этим я развеял всякие иллюзии насчет моей «готовности к переговорам», если вообще такие могли возникнуть. А все же чем-то мне это напоминает сеанс групповой психотерапии, где каждый по очереди безнаказанно откровенничает. Сейчас моя очередь.

Петра мне много рассказывала про фрау Кунце и

герра Клюки — об их удивительной дружбе. Им интересно послушать, что так удивляло Петру? Скучно сидеть и молчать всю дорогу. Одному Богу ведь известно, сколько это может продлиться. Пускай почтеннейшая не очень на меня сует, но я в безопасности, только покуда я здесь. За порогом этого гостеприимного дома ее друг попытается меня немедленно прикончить. Иначе быть не может: дом стоит на отлете, сама собой воспламеняющаяся жертва — для убийц во множестве случаев просто находка. С другой стороны, отпустить меня с миром — завтра в печати такое появится, что послезавтра полиции придется тревожить прах Кунце ради баллистической экспертизы. Тогда уж точно: все, что плавает — всплывает. Нет, я отсюда ни ногой. Ковры, диваны, электропроводка — все это обяжет хозяйку свято блюсти законы гостеприимства... прямо невероятно, какие бывают совпадения: на днях по телевизору показали фильм Бестера Китона о том же — или она брезгует телевизором? Лично я обожаю.

Далее я со всеми запомнившимися подробностями пересказываю «Опасное гостеприимство». Я уже привык к каким-то необъяснимым совпадениям — что мне постоянно подаются какие-то тайные и явные знаки, причем вхолостую: мне неясен смысл всей этой сигнализации. Да и что проку! Когда моя воля этим сигнальщикам безразлична, помимо нее все случится.

Так было не всегда. Это началось после достопамятной очереди из «узи». Отчего я так испугался, когда он прицелился, — я ведь не боюсь и по второму разу, я не хочу при этом проиграть. А проигрыш налицо: опять измена; фотография вернулась к Доротес. Заметьте, умереть проигравшим и умереть победившим — это разные вещи. Устало сдать перед смертью — значит махнуть рукой на то, что не воскреснешь. Я спрашиваю, в чем же смысл был тогда продлить мне жизнь еще на три года? Я верю в смысл, я не желаю случайностей. Может быть, ради этого мне столько знамений — чтоб не разувериться и дальше в наличии смысла. А что непостижим — так это старо.

Понравился ли им сюжет? А сколько разных трюков по ходу фильма, сколько благороднейшей изобретательности — как у Борхеса, как у Хичкока. Бестер Китон — рыцарь печального образа. Но он не слеп, не смешон — смешны сопутствующие обстоятельства. Недоумевашь: если он действительно не замечает грозящих ему опасностей, откуда тогда берется эта находчивость, быстрота реакции? Или это особый вид мужества: человек чести, он того же ждет от других — не по своей наивности, а потому, что это опять-таки вопрос чести — и, если угодно, стиля.

А, старый знакомый... Фотоальбом, переплетенный под семейную Библию. Придвигаю поближе — так же, как он лежал, корешком направо — «книзу лицом». И с конца медленно начинаю листать.

Могила Кунце: «Боги меня пощадили, смертный меня сразил». Вот сам себе и накаркал. А рядом черная безымянная плита. Я листаю равнодушно, но не верьте, это отвлекающий маневр. У меня возникло одно смутное подозрение. Как-то раз уже фото из этого альбома (дедушка с внуком и с ложкой в левой руке) приоткрыло мне, выражаясь языком романтиков, завесу тайны. Кажется, это еще не все, чем можно здесь разжиться, — правда, поздно, скорей всего, слишком поздно, но даже на этот счет у меня имелись свои утешения.

Никакой уверенности в справедливости моей догадки у меня не было. Но, без ложной скромности, разве мои подозрения — это так уж мало? Короче, я вспомнил, что видел в прошлый раз среди фотоснимков одну реликвию: последнее письмо родителей Клаусу — символически так никем и не распечатанное. Письмо от *родителей*. Даже если мне тоже не доведется его распечатать и прочесть, неважно — его найдут у меня в кармане. То есть с ним я могу отсюда уходить.

Я добрал нарочито медленно и рассеянно до нужной страницы. Письмо есть. Украдкой попробовал подцепить конверт ногтем, клей старый, бумага пожелтевшая, сухая, легко отходит. Хороший знак: может, и вправду

с тех пор, как оно было сюда вклеено, Доротес не приходило в голову его перлюстрировать. Они следят за каждым моим движением. Тем не менее мне удалось незаметно, пока перелистывал, отделить конверт от страницы. Фокус сейчас в другом — чтобы положить это письмо в карман. Ну, Господи, разве так можно есть человека глазами...

У меня, милостивая государыня, есть книжка, я ее читал по пути сюда. Не угодно ли ей, а может, и ее другу тоже, взглянуть, что же все-таки я читал — опускаю руку в карман и протягиваю им Борхеса. Там, где закладка. Берут. Нет, минутку, я только подчеркну пару абзацев. Шарю сперва в одном кармане, потом в другом — вот он, у оркестрового музыканта всегда карандаш наготове, вот, пожалуйста, — привстаю, при этом чуть не уронил альбом, который держу на коленях, снова кладу в карман карандаш. Все, письмо у меня.

Как они видят, никаких сюрпризов, я прекрасно знал, на что иду — так, почти что торжествуя, прокомментировал я короткий, в три странички рассказ, покуда они по очереди его читали. «Время для твоей работы дано (это подчеркнутые мной предложения). Здесь Хладик проснулся. Он вспомнил, что сны посылаются человеку небом. И, как утверждает Маймонид, если слова в сневидении ясны и отчетливы, а говорящего не видно, значит, произносит их Бог. Потом оделся, в камеру вошли два солдата и велели следовать за ними... Солдаты построились. Хладик, став у стены казармы, ожидал залпа... И тут окружающий мир замер. Винтовки были направлены на Хладика, но люди, которые должны были убить его, не шевелились... Господь совершил для него тайное чудо: немецкая пуля убьет его в назначенный срок, но целый год протечет в его сознании между командой и ее исполнением. От растерянности Хладик перешел к изумлению, от изумления — к смирению, от смирения — к внезапной благодарности. Он мог рассчитывать только на свою память: запоминание каждого нового гексаметра придавало ему счастливое ощущение строгости, о кото-

рой не подозревали те, что находят и тут же забывают случайные строки. Он трудился не для потомства, даже не для Бога, чьи литературные вкусы были ему неведомы. Недвижный, затаившийся, он прилежно строил свой незримый совершенный лабиринт... Он закончил свою драму... Не хватало лишь одного эпитета. Нашел его... дернул головой, четыре пули опрокинули его на землю».

Им, конечно, не понять мотивы, которыми я руководствовался, как и мне не понять мотивы, которыми руководствовались они.

Сейчас посижу для приличия еще пару минут и откланяюсь. Мало ли какая мысль его осенит, нечего засиживаться. Они искренне удивятся: так скоро, а грозилась... Я выйду. На дворе сумерки — вдохну их. Какое-то время буду еще идти — сколько шагов мне удастся сделать? Главное, как они поступят *потом*, видя, что никакого самовозгорания не произошло. Это их очень раздосадует. Где я слышал эти слова: уничтожение людей не проблема, уничтожение трупов — это проблема. Как с этой проблемой справятся двое немолодых людей? Затолкают в багажник, отвезут за пару сот километров и кинут куда-нибудь под откос. Копать не будут, нет, быстрее прочь! А вскоре странствующий подмастерье (я — не нашедший себе работы), споткнувшись обо что-то, издаст крик ужаса. Тут начнется вторая серия этого увлекательного детектива — уже без моего участия.

Господин Клюки фон Ключенау вдруг побагровел, да как! Очаровательная пара: Макс фон Сюдов и Зара Ландер, приведенные к общему возрастному знаменателю. Сумасшедший на службе у изуверки. Но что его так проняло — не Борхес же сотворил тайное чудо? Он встал и в беззвучной ярости, по виду плохо разыгранной, вышел. Из комнаты? Из дома? Неясно. Ярость могла быть вполне натуральной. Есть люди, которые даже вблизи кажутся загримированными. А тем более психопаты (у этих плохо с чувством меры, зато хорошо со всеми другими чувствами, до того хорошо, что не удержаться от наглядной их демонстрации).

Ее друг не отвечает за свои поступки, то есть судить будут только ее — за то, что он сейчас натворит.

Молчит.

Я понимаю так: разыгрывается снятие осады, греки оставляют Троаду, только поблизости будет пастись позабытая лошада... Слабый шум автомобильного мотора проник сквозь плотно закрытые окна. Белый «ягуар» выезжал со двора, мощного «версальским» булыжником. Где он был спрятан — в гараже, а? Не боится ли она, что теперь я ее задушю или возьму заложницей? Или ограблю? Знаю, этого они не боятся. Им-то известно, что я никогда не воспользуюсь их оружием. Роли расписаны, на этот счет можно не беспокоиться.

Подсудимый, до сих пор на протяжении слушания дела отказывавшийся от дачи показаний, неожиданно хочет сделать заявление — *она просит меня ее выслушать*. Я волен думать о ней все, что мне заблагорассудится, и воображать ее чудовищем. Но она уверена, что девяносто человек из ста на ее месте поступили бы точно так же. Она мне расскажет сейчас все как было. Став женой Клауса, с которым незадолго до того познакомилась на Лаго Маджоре, она попадает в атмосферу, мало сказать, непривычную, но глубоко чуждую ей — не в таком доме она росла и воспитывалась. И между прочим, ее семья отнюдь не была в восторге от этого брака, даже несмотря на присланную самим фюрером поздравительную телеграмму — на имя Готлиба Кунце. Кто особенно страдал от того, что из фрейлейн фон Клюгенау она превратилась во фрау Кунце, так это Вилли. Он принадлежал к померанской ветви фон Клюгенау, учился в Военной академии в Берлине и на правах родственника часто у них бывал. В Доротею он был влюблен без памяти — но справедливости ради надо сказать, не он один.

В Бад Шлоссельфельде ей приходится нелегко, в обстановке царящего здесь «артистического» бедлама в сочетании с женским авторитаризмом в семье. Считалось, что Кунце окружен нежнейшей заботой, — на самом деле

он был попросту заточен в своей комнате. Под тем предлогом, что оберегает его покой, Вера не подпускала к нему никого и его ни на шаг от себя не отпускала. При всей ее неустанно декларируемой немецкости она была человеком абсолютно восточного склада: с одной стороны вроде бы изнеженность, безалаберность, с другой — мертвая хватка, которой она держала и своего мужа и своего сына. Последний был инфантилен и, как скоро выяснилось, достаточно глуп.

Происхождение Веры, ее первый брак — все это оставалось для девятнадцатилетней Дорле тайной. Как и для двадцатилетнего Клаузи. Если об этом где-то кто-то шушукался, то, во всяком случае, беззвучно. Нигде не умеют так, как в Германии, зная все, делать вид, что не знают ничего. Сам Кунце жил у себя наверху, по пять раз в день менял шейные платки и шелковые халаты и изображал стареющего Оскара Уайльда: ему к тому времени было уже за семьдесят (Вера была двадцатью годами его моложе.) До сих пор не верится, что этот жалкий напыщенный старик, помыкаемый своей женой, чуть что — всего пугающийся, но в следующее мгновение снова как ни в чем не бывало болтающий всякий вздор — что это он тогда же писал свои «Ламентации» (имеется в виду «Плач студияозуса Вагнера»).

День, когда получили ту фотографию от Клауса, она не забудет никогда. Его корреспонденцию всегда пересылали из редакции, полевой почтой он пользовался редко. Увидев, что письмо от Клауса, она тут же его вскрыла. Вначале подумала: сфотографирован курьер, «автоматчик победил скрипача» — тогда в ходу были разные смешные фотоснимки из солдатской жизни. Но после, когда прочитала, что написано на обороте, реакция была: это ей снится, этого не может быть, она вот-вот проснется. Ее взгляд упал на Инго, одетого для прогулки... страшная мысль: лучше бы он умер — но тут же добавила поспешно: и она вместе с ним. Она почувствовала себя той самой Арианой, что, вопреки предостережению супруга, отперла заветным ключиком дверь, а

там!.. о ужас! Сейчас появится Вера, поймет, что ей все известно — что Клаус сын еврея, — и убьет ее. Но Вера, схватив фотографию, забыла и думать о своей невестке: сперва поднесла ее к глазам лицевой стороной, потом медленно перевернула. Долго стояла не шелохнувшись — и, ничего не сказав, ушла наверх. О чем они с Кунце говорили — Бог весть. Доротея в душе надеялась, что это все же не так, что этот... на снимке... назвавшийся отцом Клауса, самозванец. Она ждала Веру... Но та не возвращалась. Тогда Доротея отважилась сама без спросу войти к Кунце.

Вера лежала ничком на полу, раскинув руки. Кунце с закрытыми глазами сидел в кресле. Его приход был даже не замечен. Стоя в дверях, Доротея мучительно ждала, что будет дальше. Вдруг раздался шепот, низкий, глухой — в пол: «Бог моих родителей, Бог моих предков, Бог Авраама, Исаака, Иакова — покарай меня. Я отступилась от моего народа. Стала аммонитянкой, прельщенная убранством их капищ, игравшей в них музыкой. Отныне я проклинаю и эти храмы, и всех, кто в них, и их богов и святых. Праматерь моя Сарра, услышь меня! Лия, Рахиль — услышьте меня, я возвращаюсь к вам».

Она тоже была еврейка... Клаус... какая судьба...

Ей было не с кем поделиться, не у кого спросить совета — она действительно была как в замке Синей Бороды, одна совершенно. А вскоре появился и настоящий отец Клауса — я с ним одно лицо, включая шрам; когда впервые она меня увидела, ей так стало страшно... Он проводил все время с Верой, или они были вдвоем. Одного его не оставляли. Как-то он хотел приласкать Инго, но тот так расплакался, что он к нему больше никогда не подходил. Вера носила прежде крест — сняла. Стала по пятницам зажигать свечи, подымая руки на восточный манер и бормоча какие-то заклинания. Прожил он в Бад Шлюссельфельде недолго. Вскоре Кунце пристроил его в Ротмунде, откуда он регулярно наезжал.

И тут-то неожиданно-негаданно Доротея встречает Вилли. Они не виделись со времени ее свадьбы — которая вообще оборвала множество связей, а еще к тому же

шла война. Вилли она все без утайки рассказывает. Выслушав, он спросил ее только об одном: «Если б Клаус погиб, ты бы стала моей женой?» Она сказала «да». Вилли велел ей молчать — никому ни о чем. От него она узнала, какой опасности подвергает их всех эта история. Что Вера была из евреев, оказывается, Вилли слышал и раньше; ходили слухи — а в таких вещах дыма без огня, как правило, не бывает. Он через несколько дней отправлялся на восточный фронт. На основании последнего письма от Клауса выходило, что какое-то время они будут соседи. Вилли, во всяком случае, не сомневался в их встрече и даже взялся передать от Веры письмо.

Клауса Вилли не встретил...

Отныне он часто давал о себе знать: из Šitomir'a, из Brody, из Tschernobyl'я. В тоне писем, однако, не было ни тени намека на их разговор, на ее «да». На Пасху сорок третьего года он появился на несколько часов в Бад Шлюссельфельде. До него сюда приезжал Геббельс — принести запоздалые соболезнования. Кунце трепетал. Вера, которая не вышла к нему, перед тем грозила всяческими безумствами. В панике, к приезду рейхсминистра, Кунце повесил у себя огромный портрет Гитлера. Вилли сказал, что если так будет продолжаться дальше — зажигание свечей, систематические наезды ее первого мужа и прочее, то мы пропали. Надо поговорить с Кунце: Веру, как страдающую после гибели сына психическим расстройством, следует поместить в психиатрическую лечебницу. Что касается скрипача, это он берет на себя. Но Кунце, которому она честно рассказала свой разговор с Вилли, даже слышать ни о чем не хотел — только стал ее избегать.

Вилли ранило. Отлежав свое в госпитале, он появляется в доме Кунце. Другой человек, совсем другой: подозрительный, с не знающими покоя желваками на скулах, постоянно пальцами что-то крошит, ломает — невозможно смотреть. Полные ненависти глаза не отводит от нее ни на секунду — как будто она виновата в его ранении. Еще как только он сказал ей, едва приехал, что

сумеет ее защитить, что всю жизнь будет ее охранять, у нее мурашки пошли по спине.

Но позвольте, это, конечно, неприятно — несколько изуродованных пальцев. Но объективно, по меркам тех времен, ранение пустяковое, причин для психических травм никаких — он же не пианист.

Да при чем тут рука — она имеет в виду другое ранение, то, которое, может быть, для мужчин самое страшное... (Мне вспомнилось у Даля: потерял яичко, играй желвачком.) Между тем катастрофа по милости Веры разразиться могла в любой момент. Кунце видеть ничего не хочет. Вилли настаивает на том, чтобы что-то предпринять, — в конце концов на карту поставлена судьба и даже жизнь ее сына. Она ни о чем не будет знать. Ему нужно, чтобы маленькая дверь в башенку была открыта. Открыть, а потом закрыть. Ведь мелочь. Ей вовсе не обязательно знать, зачем это все. Она никакого ключа никому не передавала. Это же так просто — открыть и закрыть.

Она действительно старалась не думать, *зачем* — только что это надо для Инго. Потом никогда ни у кого не возникало сомнений в самоубийстве Кунце. И уже сама она была готова поверить в это, забыть про ключ — если бы не Вилли. Ах, если б не было Вилли! Он знал, что делает. Он приковал ее этим к себе, обрек навсегда остаться вдовой лейтенанта Клауса Кунце. Раз он не может стать ее мужем, он будет владеть ею иначе — но он и никто другой. Так он решил. А про моего деда она, честное слово, ничего не знает, она тогда Вилли даже не спрашивала. Но если б Вера тогда не сбежала, она бы осталась жива. Ее бы госпитализировали, и все. Она сама виновата.

Если фрау Кунце ничего не имеет против, я, пожалуй, пойду. Она пыталась доказать мне, что сама была жертвой, что это все Вилли, который ее сперва запугал, а потом шантажировал, испоганив ей всю жизнь. Это мне что-то напоминает. Только она предвосхищает события: мне еще так же далеко до победителя, как ей до

подсудимой — чтобы вот так все валить на Вилли. Я спешу уйти, потому что, честно сказать, в доме тоже не чувствую себя в безопасности. Где гарантия, что ее друг не вернется окольным путем и со спины не ахнет меня топором. Он хитрец, иди знай, какая счастливая мысль его еще осенит. Мне важно не выпускать инициативу из своих рук. Не так-то просто, на самом деле, застрелить на улице прохожего, сохранив при этом анонимность. На девяносто процентов останутся улики, следы, которые так или иначе приведут к ней... А далес — преднамеренное убийство нуждается в мотиве. Так что, может быть, она и права, когда респетировала только что «поведение в суде».

Я выглянул в окно — бесполезно, стемнело окончательно. Ну, как говорится, *morituri te salutant**.

* Идущие на смерть приветствуют тебя (*лат.*).

12

Господь совершил для него тай-
ное чудо...

Хорхе Луис Борхес

(Эпilog)

Иду не спеша, задравши подбородок, — будто в гробу лежу. Тест на гордость, тест на выдержку, еще на что-то, например, на упрямство. Жаль, что меня никто не видит, разве что мама глядит на меня и радуется. Скоро порадуемся вместе. Все как полагается: уже и слово «мама» произнесено. Ну что же он тянет — не ожидал, что я так быстро выйду? Застигнут врасплох?

Тот или иной мотивчик может сделать меня неуязвимым — если не для пули, то для страха. А тут память как раз по дурацкой цепи аналогий подбросила мне «Усекновение головы Иоанна Крестителя» Ганса Фриса, в репродукции, висевшей у одного моего харьковского знакомого, — гения вроде меня (тогда как раз в большом почете был «Идиот» Достоевского — из-за какой-то постановки). Не хочу! Пусть другие на это покупаются! Быстро, какой-нибудь мотивчик! Я должен выбрать, под какую музыку мне не хочется дальше жить. И глаза разбегаются. А на размышления ноль секунд. Не под «Липу» Шуберта — как это мнилось мне в восемнадцать

лет, бредившему «Волшебной горой». И не под обольстительный терцет из «Кавалера розы»: тавтология, Вена и так благоухает смертью. Туда же и все малеровские «адажно». Помню, как в период полового созревания готовность умереть — раствориться в духе, утратив свою телесность, — вздымалась во мне под бетховенские революционные баталии. Или рождалась из «побочной» в Шестой Чайковского. С большим пониманием я тогда же отнесся к самоубийству маленького виртуоза Андрюши Горлова, усыпившего себя под вердиевский «Реквием», пока родители были в театре. Стравинский, «Oedipus Rex». Пускай прозвучит в концерте по желаниям слушателей — по их последним желаниям — финальная секвенция... или канон? Что там образует этот грандиозный заключительный раструб? Только самому не напеть, а без этого трудно... та... та... та...

А вдруг — все чушь, и я вернусь в Цигорн, — эта мысль во мне забрезжила, когда позади осталось изваяние древнегерманского воина, поражающего вепря. Еще немного, и начнется вполне обитаемая местность. А я иду — вепрь идет. Неужто после всего мне позволено мирно сесть с сосиской в вагон? Нет, не спешу планировать свой завтрашний день. А когда-то здесь из-за поворота на нас с Петрой прыгнул белый «ягуар»...

Меня обожгло светом фар. Нет, мне никуда не деться. Автомобиль несся с такой скоростью в меня, что возможности увернуться уже не было. Но зато оставалось достаточно времени, чтобы сочинить в голове весь этот роман и даже придумать недостающее завершение. Он выходит из положения: всего лишь несчастный случай — уголовщины никакой, мотивов никаких. Э... не сходится. Ведь он рискует уподобиться Брунгильде — а вдруг из меня ударит фонтан пламени, в котором мы оба сгорим. Следовательно, его последнее музыкальное желание — «Гибель богов», финальная сцена. Логично.

Огромные, как два прожектора, огни метнулись влево. Удар — потом треск. Все стихло. Треск, похожий на

скрип половицы, повторился. Тишина. Потом повторился снова — тишина. Еще капельку, еще... И ствол ясеня обрушился на врезавшийся в него на полном ходу автомобиль, раскроив ему кабину. Я в порядке? Я не ранен? Какой-то человек, неведомо откуда здесь взявшийся со своей машиной, услышав шум, поспешил на помощь. Не дожидаясь моего ответа, он кинулся к белевшему в темноте мертвому «ягуару». Вернувшись скоро, он сказал, что это, конечно, сердце... инфаркт за рулем... но я о'кей? Я не пострадал, да?

Он представился — на сей раз доктором. Немецкий доктор с немецкой фамилией. Только чего там, когда я его узнал. В прошлый раз он был скрипачом из Тель-Авива, расхваливавшим на все лады преимущества жизни в Германии. Мне стало смешно, я прыснул в кулак. Что со мной? Впрочем, у него в машине есть таблетка, которую он советует мне принять, это успокаивает. Я, давась от смеха, сказал, что всегда рад следовать его рекомендациям.

Мы досхали до ближайшего телефона. Он позвонил. Я видел его беззвучно шевелящиеся губы за стеклом — не сомневаюсь, что и без стекла это оставалось бы немым фильмом. На полувопрос-полупредложение подвезти куда, ежели что, я решительно отказался. Дальше я с ним не поеду, нам не по пути.

Как и следовало ожидать, никакая полиция не появилась. Спасибо, что хоть телефон работал. Я прикинул, чей номер набрать. Выполнив «босвое задание», Петра небось уже давно отдыхала у себя дома. Звоню к ней — и прямо на нее. Не ждала? А у меня скверные новости: дядя Вилли скончался от расстройства, что не получилось у него то, что он хотел. А теперь пусть послушает меня внимательно — прежде только должна ответить мне на вопрос: ей очень не хочется быть соучастницей в том, что покойному дяде Вилли, несмотря на все его старания, так и не удалось? Я повторяю, я не слышу ответа: ей — этого — очень — не — хочется? Да или нет? (Нет...) В таком случае прямо сейчас — к своей

швигермуттер она может даже не звонить, там все равно телефонный шнур вырван с корнем — сейчас же пускай возьмет вернувшуюся по почте фотографию и отвезет ее в отель «Винтер Паласт». И там передаст госпоже Ирэнэ Лисовски. Без объяснений. Чю-ус.

Я устал. Я так устал, что, не имея сил идти, опустился прямо на траву, прислонясь к телефонной будке, — наполненной, как соком цитрусовых, ярким светом (сок цитрусовых пришел в голову, потому что стало вдруг больно глотать). А собственно, какое мне дело до этого дирижера и его жены? Я поймал себя на чувстве полнейшего безразличия. Проверил, не рисовка ли. Нет, и незачем было отдавать эту фотографию кому-то. Себе надо было оставить, на память. Мне больше ничего не хочется доказывать им — Эсс, Ирине... Пошли они к черту.

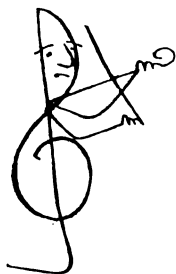
Видимо, что-то сегодня случилось. Эта напасть оставила меня. Страх, что меня кто-то ведет, что все подстроено специально, — его как не бывало. Я снова волен принимать решения по своему выбору. Я расколдован... проверить, не исчез ли шрам? Я даже поднес руку ко лбу, но вспомнил о другом, и рука быстро опустилась в карман — за тем, «другим». Если я прав, то и письмо это на самом деле послано мне, оно шло ко мне сквозь годы и десятилетия — с такой мыслью я вскрывал конверт.

Да, мне... Но только отчасти, и потому полностью я письма не привожу. Я ни за что бы не предал гласности некоторые сделанные в нем признания. У них — иной адресат.

(...) Два месяца я бы уже лежал рядом с маленькой девочкой Цилей, двумя женщинами, что ее попеременно несли, еще с той несчастной, которая не переставая говорила сама с собою. Может быть, они тоже не умерли, никто не умер? Каждый из них незримо, в тайне, был спасен — подобно мне? Я уже готов во все поверить.

Про себя я знаю, что меньше всех заслужил чуда. (...) Я убежден — как это безумно ни прозвучит, — что мой приговор остается в силе, это лишь отсрочка. Смерть меня все равно настигнет в той же яме от той же пули. Но не прежде, чем я использую дарованную мне уникальную возможность обрести внутренний покой, чувство, которого я никогда не знал. Это чувство, что ты свободен в своих решениях, что тобой не владеет некая сила, неведомо куда тебя влекущая... (...) Только свободный человек может молиться. Я молю Бога за тебя и твоих сестер. Твоя мать молится вместе со мною. Тот, кого ты называл отцом, с нами. Прости нас. Если ты простишь нас, то нас простит и Бог. (...) Мы жили как зачарованные мечтою о красоте, мы позабыли обо всем. Это была ни с чем не сравнимая эпоха. Цвело само время — мы вдыхали его дурман. Европейские города были пронизаны таким солнцем, какого еще не знали. Европа отравилась красотой. Отцы ели (подчеркнуто) *сладкий* виноград, а у детей оскомина.

Я не могу тебе желать победы и не смею желать поражения. Потому я тебе желаю только одного: чтобы твой выбор, который неизбежен, был добровольен. После этого уже ничего не страшно, поверь



От автора

Особенность авторского комментария состоит в том, что на нем неизбежно лежит печать художественного творчества. Академически бесстрастный комментарий в этом случае — не более чем стилистическое упражнение. Я не стал выполнять это упражнение. В интересах книги мне лучше толковать ее своими словами: я нахожусь в положении человека, который должен объяснить рассказанный им анекдот, но так, чтобы не перестало быть смешно. И еще. Быть может, взятый мною тон благоговорно скажется на характере сообщаемых читателю сведений — делая их нестандартными и, следовательно, позволяющими тоньше судить о прочитанном.

Тем не менее, по-моему, не стоит отрываться от чтения книги, поминутно заглядывая в ее конец. Вероятно, какая-то информация окажется для читателя излишней, какая-то наоборот — излишне отвлечет. И так, книга отдельно — комментарий отдельно. Последний, разумеется, не застрахован от фактических неточностей, за которые я заранее приношу свои извинения.

Комментарии

С. 7. ...спела «шалом». — Многие интонации в разговорном иврите восходят к немецкому языку через посредство языка идиш (то же можно сказать и об еврейском акценте в русском языке — знакомом всем еврейском «пении»). С другой стороны, на некое «родство душ» древнееврейского и немецкого языков указывал — еще до возникновения современного иврита — Густав Карпелес в своей «Истории еврейской литературы» (1886г.).

С. 8. В Советском Союзе жены презренным фамилиям мужей гордо предпочитают звучные фамилии отцов. — За пределами СССР сохранять девичью фамилию после замужества не только не принято, но и практически не всегда возможно. Правда, в ФРГ в рамках борьбы за женское равноправие в 1994 году был принят закон, позволяющий мужу принимать фамилию жены.

С. 8. Друг Губермана, Шимановского. — Бронислав Губерман (1882 — 1947), знаменитый скрипач, родом из Польши. Основатель Палестинского оркестра (ныне Израильская филармония). Кароль Шимановский (1882 — 1937), видный польский композитор-импрессионист, в 1926 — 1929 гг. директор Варшавской консерватории. Все трое, Шимановский, Губерман и Готтлиб — одногодки.

С. 8. ...то ли от Духа Святого, то ли от пыли дворовой. — Цитата из стихотворения И.Бродского «На смерть друга».

С. 11. ...о некогда имевшем место отречении «арийцев» иудейского вероисповедания от их местечковых собратьев, галдевших на идише. — До второй мировой войны еврейская община Германии, насчитывавшая более полумиллиона человек, разделялась на «немцев иудейского вероисповедания» и недавних эмигрантов из Восточной Европы. Первые с наступлением нацизма пытались убедить новую власть в том, что не имеют ничего общего с публикой из Польши и Галиции. В их среде даже возникло пронацистское движение под лозунгом «Позор нам!».

С. 12. Домашним языком всегда был русский, хотя семья деда происходила из Мемеля. — Мемель (современная Клайпеда) — тогда прусский город Кенигсбергского округа близ границы с Россией.

Обычно евреи, проживавшие в ареале двух культур, русской и немецкой, ориентировались на последнюю. Мемель был исключением из общего правила: обширная лесная торговля привлекала сюда евреев по преимуществу польских и русских. Впрочем, в двадцатитысячном Мемеле их насчитывалось менее пятисот человек.

С. 12. *...бегство от англичан (в запретную Палестину)*. — Еще в конце тридцатых годов английское правительство под сильным арабским нажимом закрыло ворота подмандатной Палестины для еврейских эмигрантов. Началась нелегальная эмиграция.

С. 12. *...что-то вроде «Касабланки»*. — В фильме «Касабланка», побившем все рекорды популярности — в 1992 году отмечался его пятидесятилетний юбилей, — в хемингуэевском ракурсе подан любовный треугольник: разыскиваемый гестапо участник Резистанса (Сопrotивления), романтическая норвежка и американец — владелец почного бара вкупе с игорным домом. Действие происходит во Французском Марокко. Осью фильма является песенка «As time goes by», которую поет негритянский эстрадный певец Дули Уилсон (музыка Макса Штейнера). В главных ролях Ингрид Бергман и Хемфри Богарт.

С. 13. *«Яд вашем»* — «Память и имя» (из Библии: *vazni eten leha yad vashem* — «И дам тебе память и имя», т.е. сделаю твое имя памятным). Так называется мемориальный комплекс в Иерусалиме. Там же, в Аллее Праведников, в честь каждого, кто спасал евреев во время войны, посажено дерево.

С. 14. *Невыговариваемое как имя Бога...* — Еще в библейские времена Имя Его (Ягве) избегали произносить, заменяя эпитетами, описанием свойств, как-то: «Предвечный», «Всемогущий», «Всевышний» и т.д. В отдельных случаях слово «Имя» (*Hashem*) употреблялось в абсолютном смысле, в качестве синонима Ягве — Имени, которое тоже, строго говоря, не может считаться личным Именем Бога Израиля, поскольку переводится как «Сущий», то есть указывает на один из атрибутов Божества. Здесь все дело не в том, чтобы «не поминать всуе» — последнее ведет к профанации божественного, — дело в другом: назвать Бога собственным Его Именем означает понять Его, а понять — значит стать Им, недаром гностики-каббалисты всегда стремились разгадать тайну Божьего имени. Также следует отметить, что в современной иудейской литературе на русском языке слово Бог никогда полностью не пишется — пишется Б-г.

С. 15. *...в иерусалимскую прохладу*. — В отличие от средиземноморского субтропического Тель-Авива, Иерусалим расположен в горах на высоте 900 м над уровнем моря. Климатически эти два города соотносятся между собой примерно так же, как Сочи и Kisловодск, хотя разделяет их расстояние в шестьдесят километров.

С. 16. *...по пятницам вторгаться в гражданское течение жизни*. — На пятницу и субботу солдатам ЦАХАЛа (Армии Обороны Израиля) обычно выдаются увольнительные.

С. 19. ...понимающе поднял средний палец. — Непристойный знак, обозначающий совокупление; условное изображение полового органа — то же, что русская «фига» в первоначальном своем значении.

С. 19. ...для солдаток. — В Израиле на действительную службу призываются женщины наравне с мужчинами. Исключение составляют женщины и девушки из религиозных семей.

С. 20. ...«Узи». — Пистолет-автомат израильского производства, калибр 9 мм — назван по имени своего изобретателя, Узиэля Галия.

С. 20. «Пуля оцарапала мне висок», как писал Д'Аршиак. — Д'Аршиак — секундант Дантеса. Впрочем, в своих записках он ничего подобного не писал, и вообще «Записки Д'Аршиака» — известная фальшивка, сказано же это было совсем другим французом — Жоржем Дюруа — сидящей у него на коленях Клотильде де Марель (Г. де Мопассан, «Милый друг»).

С. 20. ...Дуби — уменьшительное от «Дова», что-то вроде «Мишки» — «дов» значит «медведь» (тогда как «Лаки» может быть лишь прозвищем).

С. 21. ...Мулик... Шмулик... Срулик... — Первые два — уменьшительные от «Шмуэль» («Самуил»), последнее — от «Израэль».

С. 22. ...Даник Баренбойм, Анечка-Софочка Муттер... — Пианист Даниэль Баренбойм, скрипачка Анна-Софи Муттер — звезды современного исполнительства.

С. 23. *Non, rien de rien, non, je ne regrette rien.* — «Нет, я ни о чем не жалею» — из песен Эдит Piaf эта наиболее известна; со временем она стала клише (Штирлиц в «Семнадцати мгновениях весны» слушает ее по радио).

С. 23. *Нас в Хтыркове было много таких — званных.* — «Так будут последние первыми; ибо много званных, а мало избранных» (Матф. XX, 16).

С. 25. ...в сумме же счастливое число для всех конфессий... — Двенадцать у христиан — символ Богочеловечества, поскольку является произведением двух сомножителей: Св.Троицы — Божественного начала, и четырех материальных стихий — огня, воды, земли и воздуха. Ср.: Двенадцать апостолов, 144 тысячи, т.е. двенадцатью двенадцать, что спасутся, согласно Апокалипсису, и т.д. У евреев это число колен Израилевых, и поэтому: «двенадцать столбов по числу двенадцати колен» (Исх. XXIV, 4), «наперсник» первосвященника украшен двенадцатью драгоценными камнями (там же, XXVIII, 21), двенадцать хлебов подношения (Лев. XXIV, 5), двенадцать человек, производивших перепись (Чис. I, 44) и т.д. — кончая двенадцатью «малыми пророками». И то же относится к мифотворчеству других народов, будь то греки с их двенадцатью основными богами Олимпа или англичане с их двенадцатью рыцарями Круглого стола.

С. 27. ...была Эренбургом в юбке(...) Моргентау предлагал раско-

пять Германию под картошку... — Илья Эренбург был трубадуром возмездия в годы Великой Отечественной войны, ему принадлежит знаменитое «Убей немца!». Генрих Моргентау-младший, министр финансов в правительстве Ф.Рузвельта, друг последнего, настаивал на превращении побежденной Германии в сугубо аграрную страну.

С. 29. ...он прислал их ей в Париж, узнав, что она иногда музицирует с друзьями (Эся, как и мама, одним пальцем играла на рояле). — «Форель» Шуберта — струнный квинтет, в нем нет фортепианной партии.

С. 33. «Город месс» Циггорн горд своим традиционным благочестием. — Герой полагает, что речь идет о мессе — католической службе.

С. 35. Иаохим Фуксбергер. — Немецкий актер, тип «интересного мужчины».

С. 36. «...Мендельсон, «Морская тишь и счастливое плавание», Корнгольд, концерт для альты. Малер, 4-я симфония. Солистка — Ингеборг Ретцель, дирижирует Кнут Лебкюхле». — Всех трех композиторов объединяет еврейское происхождение — это «покаянный набор», типичный для театральной, музыкальной и вообще культурной жизни Германии. Эрих Вольфганг Корнгольд — автор известного концерта для скрипки, к тому же обладатель двух «Оскаров» за музыку к фильмам, но как в афише мог появиться его альтовый концерт, опус, которого нет в природе, — загадка. По-немецки «загадка» — Rätsel, произносится как «ретцель». Если солистку зовут Ингеборг Ретцель, то дирижера зовут Кнут Лебкюхле — от немецкого Lebkuchen, т.е. «пряник». Другими словами, Кнут Пряников.

С. 36. ...с допотопным циммерманновским футляром... — Юлиус Генрих Циммерманн — производство музыкальных инструментов и принадлежностей. Просуществовало с 1876 по 1914 — даже не по семнадцатый год. Однако футляры циммерманновской фабрики пережили все мыслимые и немыслимые гарантийные сроки — собственно говоря, других футляров в Советском Союзе не было. Вспоминаешь о дореволюционном оборудовании, до самого последнего времени худо-бедно вырубавшем многие отрасли промышленности.

С. 36. Помни, и ты был рабом в земле Египетской. — «Ибо пищие всегда будут среди земли твоей; потому я и повелеваю тебе: отвержай руку твою брату твоему, бедному твоему на земле твоей. (...) Дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле Египетской...» (Втор. XV, 11—15).

С. 37. ...зимний путь, воспетый Фишером-Дискау. — Д.Фишер-Дискау, баритон, известный интерпретатор Шуберта и, в частности, его вокального цикла «Зимний путь», в котором странствующий подмастерье поет о своей несчастной любви. Стихи В.Мюллера.

С. 37. ...*Вольфганг Борхерт* — писатель, автор сборника рассказов «Собачьи цветы» и пьесы «На улице, перед дверью»; умер двадцати шести лет в 1947 году. «Гамбург — это наша воля жить» — цитата из его рассказа.

С. 40. ...*Хейфец*. — Яша Хейфец — «король скрипачей». Генрик Шеринг, назвавший так Хейфеца, на вопрос, а как ему Ойстрах, сказал: «Это министр».

С. 41. *А вот в России «общим знаменателем» у скрипачей бывал вместо Моцарта Бах — неспроста ведь...* — И на приемных экзаменах, и на государственных, и на конкурсах в оркестры обязательным был именно Бах. И, надо сказать, к выгоде экзаменуемых. Скрипачам в России (в массе своей) Бах действительно легче дается: мощь, глубина, много пота, много пара, словом, «тяжелая индустрия». Тогда как Моцарт — «легкая промышленность».

С. 43. *Чтобы больше не возвращаться к этой деликатной теме (...) играли народные еврейские музыканты. Эх!* — На этот счет имеется и другая точка зрения: все дело исключительно в «нескольких замечательных параграфах, касавшихся подданных российской короны иудейского вероисповедания... Скрипка — инструмент изначально мирской — выводила еврея в «благородные господа» лучше всякого другого ремесла... Выучившись на скрипке, русские евреи попадали из грязи в князи...»

С. 44. *Вы видели, как ходят крабы?* — Из стихотворения Г.Аполлинера «Балерина».

С. 44. ...*пародия на Климта*. — Густав Климт (1862 — 1918), австрийский художник, ярчайший представитель югендштиля, более известного в России как стиль модерн или «либерти». В югендшtile романтизм предстает перед нами на какой-то своей предельной, одновременно и завораживающей и отталкивающей стадии. Это восторг освобождения от всех эстетических запретов, что неизбежно оборачивается — поскольку этика производное от эстетики (а не наоборот) — проповедью ницшеанства. Но прежде всего художник для этого должен перестать бояться, вернее, стыдиться проявлений дурного вкуса. В результате происходит невиданное прежде братание снобистского и менцапского в искусстве. Продолжалось оно недолгий период времени, сохранившийся в памяти Европы как *belle époque* — прекрасная эпоха. И поскольку эта Прекрасная Эпоха не состарилась мирно и не умерла своей смертью, а была сметена (как говорит нам чувство, вопреки здравому смыслу) в самом своем расцвете, ностальгическое влечение к ней продолжается по сей день. Отсюда и особая реакция европейцев на югендшtile. Квинтэссенцией эстетики югендштиля я считаю «Саломею», единую в трех своих ипостасях — литературной (Уайльд), изобразительной (Бердслей) и музыкальной (Р.Штраус). Таким образом, югендшtile имел свое музыкальное выражение. Грубо говоря (очень грубо говоря), это одна сплошная музыкальная поллюция — в случае творческой удачи (Р.Штраус),

или наоборот, как у забытого ныне Шрекера: бессильные попытки достигнуть таковой, повергающие слушателя в состояние раздражения и досады (как в свое время говорил Чайковский о Брамсе: «Он возбуждает во мне эстетическое чувство, но не удовлетворяет его»). После того как Шенберг из немецкого романтического пошляка средней руки превратился в создателя атональной музыки, довершив тем самым начатое Вагнером разрушение гармонии (об этом в примечании к с. 153), с австрийской музыкой происходит нечто странное. Оставшийся не у дел музыкальный югендштиль эмигрирует — безо всяких кавычек, физически, в лице ряда своих носителей (Корнгольд, Шерцингер, Штейнер и др.) — в Голливуд, где полностью себя исчерпал лишь в середине 60-х годов, когда массы уже внимали гитарным юношам. В этом смысле знаменателен драматический разрыв Хичкока — влияние которого, кстати, в этой книге читатель не может не ощутить — с многолетним своим композитором Бернардом Германом. (Между прочим, если все, что в музыке тяготело к Рихарду Штраусу, обретает вторую родину за океаном — отчасти еще и благодаря вагнеровской системе лейтмотивов, по своему существу глубоко кинематографической — то малеровская линия, малеровский стиль модерн, замешанный на старой доброй *Weltschmerz* — «мировой скорби», — находит себе продолжателей в Советском Союзе, и не только на уровне Шостаковича — соединением марша с фрейлахсом композиторы-песенники надолго покоряют сердца широкой публики. Правда, к «Обменным головам» это уже отношения не имеет.)

С. 44. *Пам наливают шампанского из бутылки с надписью «Opernsekt», шикарно.* — Так можно сказать только по-русски. В России любое шипучее вино в бутылке с фольгой — шампанское. («Opernsekt» — «Оперное шипучее».) В действительности «шампанское» — имя собственное, как и «коньяк». Последний, вероятно, следовало бы называть — по аналогии с английским brandy или немецким Weinbrandt — горилкой: армянская пятизвездочная горилка.

С. 45. *Он далеко опередил на этом пути Р.Штрауса.* — «Коричневые грехи» Рихарда Штрауса (1864 — 1949), а именно пребывание на посту президента Имперской музыкальной палаты (нечто вроде секретарства в Союзе композиторов) с тридцать третьего по тридцать пятый год является причиной того, что его сочинения не исполняются в Израиле. Повредил репутации знаменитого композитора и случай с Брюно Вальтером (он в романе упомянут), и написание им «Олимпийского гимна» по случаю берлинской Олимпиады. Тем не менее Штраус был далек от нацистской идеологии, и после тридцать пятого года его лояльность режиму носила вынужденный характер. Начать с того, что он наперекор высочайшему желанию указал в афишах в Дрездене, где состоялась премьера «Молчаливой женщины», имя либреттиста — Стефана

Цвейга. Гитлер, летевший в Дрезден на премьеру, узнав об этом, приказал развернуть самолет. Это явилось причиной отставки Рихарда Штрауса с его «секретарской» должности. Существует написанное им тогда же письмо к Стефану Цвейгу, из которого явствует, что думает автор «Саломеи» о «расово-полноценном» искусстве. Да и как могло быть иначе, когда сын его был женат на еврейке, чьи родители впоследствии погибли в концлагере. Но тревога за семью — а он был преданным мужем, отцом, дедом — заставила его смириться с ролью свадебного генерала. В то же время глубокий старик Рихард Штраус до конца не понимал, чем является режим, в распоряжение которого он предоставил свое имя и свой авторитет. Подтверждением этому — нелепая попытка поехать в своем роскошном автомобиле с шофером в концентрационный лагерь — навестить родителей невестки.

С. 45. ...называл «королем вальсов» и вообще, подобно Прусту, утверждал, что это — *Оффенбах для снобов*. — Кунце имеет в виду оперу Р.Штрауса «Кавалер розы» (на текст Гуго фон Гофманстала), не в последнюю очередь обязанную своей популярностью прелестному вальсу, возникающему в самые кульминационные моменты. За это Кунце в насмешку «путает» своего соперника с его однофамильцем Иоганном Штраусом. Что касается Марселя Пруста, то у него есть очень тонкое рассуждение в «Германте» о природе успеха, выпавшего на долю Рихарда Штрауса. Не каждый себе может позволить безнаказанно для репутации ходить на оперетты Оффенбаха, а ходить на оперы Рихарда Штрауса — с тем, чтобы выслушивать из них Оффенбаха, — можно сколько угодно. И таким же приемом пользуется сам Кунце по отношению к Рихарду Штраусу уже на следующем витке эстетской спирали. Я вижу этому аналогию в «соцарте», позволяющем кое-кому подпевать Дунаевскому и балдеть от сталинских фильмов, но при этом не «терять лица».

С. 48. «*Тристанов аккорд*» — см. примечание к с. 153.

С. 49. «*Поверьте, Малер свое дело знал хорошо.*» (и далее о Малере). — Малер свое дело действительно знал хорошо, поэтому подобного указания у него в нотах нет, наоборот, он пишет, что необходимо иметь наготове вторую скрипку. Являясь крупнейшим дирижером своего времени (имеется восторженная дневниковая запись Чайковского о концерте Малера в Петербурге), он был окружен множеством учеников, среди них были Бруно Вальтер и Отто Клемперер. Современный дирижер, да еще в провинции, берясь за симфонию Малера, чаще всего нестандартную по своей продолжительности и составу участников, требующую дополнительных административных усилий, как бы попадает в этот малеровский клуб. Со своей стороны, косная масса оперных оркестрантов, лишь изредка вылезаящих из оркестровой ямы сыграть симфонический концерт, в семидесятые годы еще вполне могла Малера не любить. В оркестрах тогда играла старая гвардия,

те, для кого гениальность Малера — выдумка амбициозных дирижеров, послевоенных политиков и заморских музыкальных мафиози типа Леонарда Бернстайна. Впервые услышавшим музыку Малера только в зрелом возрасте, этим людям трудно было ее по достоинству оценить.

С. 50. «*Polnische «Götterdämmerung»* — «Польские «Сумерки богов». «Сумерки богов» («Гибель богов») — опера Вагнера, завершающая его грандиозную тетralогию «Кольцо Нибелунга».

С. 50. ...*tutti* — т.е. «все» (*um.*). — Музыканты, играющие в оркестре на струнных инструментах, подразделяются на концертмейстеров (ведущих) и «тутти» — всех остальных.

С. 50. ...«*халтура*», от греческого «*халкос*». — В Толковом словаре Ушакова написано: «Халтура — побочный и преимущ. легкий заработок сверх основного, обычного, первонач. у певчих, у церковного причта (устар.)». Мне, однако, доводилось слышать и другое объяснение (от одного старого музыканта в Иерусалиме): «халтурить» — от «*halt die Tür*» — «держи дверь». Т.е. побираться, играя перед дверью и одновременно придерживая ее. В девятнадцатом веке Петербург был наводнен немецкими музыкантами, в том числе и уличными.

С. 50. ...*Добро пожаловать в Ротмунд — на родину поггенполя!* — Название «Ротмунд» состоит из двух слов: «рот» и «мунд». «Рот» по-немецки означает «красный», а «мунд» означает «рот». Что касается «поггенполя», то его родина в действительности город Герфорд.

С. 50. ...*Рунсдорф, Либенау* (и дальше) *Липперт-Веллерсгейм, Эйзенштейн, Оллендорф*. — Все это имена действующих лиц из оперетт («Сильва», «Летучая мышь» и т.д.).

С. 51. «*Фрейшюц*» — «*Der Freischütz*» (*нем.*), опера К.-М. фон Вебера, первая значительная немецкая романтическая опера (1821 г.), по-русски обычно называемая «Волшебный стрелок». Однако существует традиция не переводить название этой оперы ввиду отсутствия в русском языке эквивалента глаголу *freischießen*. Называть ее, как это делают нередко в последние десятилетия (в том числе и Музыкальный энциклопедический словарь), «Волыным стрелком» — вряд ли допустимо. Макс вовсе не был «волыным стрелком», т.е. ополченцем, партизаном, он — охотник, который стреляет волшебными пулями (*Freikugel*).

С. 51. «*Лозенгрин*» превращается в «*Кило селедок*», «*Выход княгини*» — в «*Выход коровы*». — В первом случае (*Lohengrin*) надо приписать *ki*, зачеркнуть одно *n* и переставить в конец *g*. Получается *kilohering, der Hering* — это «селедка». Во втором случае в слове *Kurfürstin* (сиятельная княгиня) надо только переправить *г* на *h*, и сразу получится что-то вроде «сиятельной коровы», *die Kuh* — «корова».

С. 52. ...*Убит Ратенау*... — Вальтер Ратенау, рейхсминистр иностранных дел Германии в период Веймарской республики

(партнер Чичерина на Генуэзской конференции), «немец иудейского вероисповедания» — убит антисемитствующим националистом в 1922 году.

С. 52. *Тень русской ветки будет колебаться на мраморе моей руки.* — Цитата из стихотворения В.Набокова, заглавие которого («Какое сделал я дурное дело») в свою очередь является цитатой из Б.Пастернака.

С. 53. *Консул выписывает, выписывает и выписывает японские визы...* — Генеральный консул Японии в Каунасе Семпо Сугихара (1900 — 1986) спас три с половиной тысячи польских евреев. Вопреки запрету своего правительства, Сугихара выдавал японские транзитные визы, по которым беженцы — через Сибирь, через Китай — могли попасть... на Кюрасао. Больше ни одно государство в мире их не принимало.

С. 56. *Перед церковью св. Амалфеи...* — Амалфея — в древнегреческой мифологии коза, вскормившая Зевса своим молоком. Ее рог наделен волшебным свойством удовлетворять любым материальным запросам, отсюда и выражение «рог изобилия». В центре Циторна (от нем. Zieghorn — козий рог) на рыночной площади ей воздвигнут храм. Культ козы Амалфеи — это не что иное, как сакрализация земных благ.

С. 57. *«Ку-кук, ку-кук — Eierschlück, Eierschlück».* — «Кукушка, кукушка» — детская прибаутка, которую использует Гумпердинк в своей опере «Гензель и Гретель».

С. 59. *...если мне не изменяет память — литературная.* — О желтых берлинских трамваях пишет Набоков в романе «Дар» — они и по сей день желтого цвета.

С. 64. *...послевоенного балета Эгга.* — Вернер Эгк (1901 — 1983), немецкий композитор и видный деятель культуры.

С. 65. *Кирибаум... Хиритраум...* — аллюзия набоковского «Баум, Траум и Кэзебир» (из романа «Дар»).

С. 63. *Чем-то похож на Фуртвенглера.* — Вильгельм Фуртвенглер (1886 — 1954), «пожизненный» (официально) главный дирижер Берлинской филармонии. Несмотря на неприязнь к нацистам, оставался в Германии. Как мог, защищал музыкантов-евреев в своем оркестре. Говорят, что Геббельс всякий раз, когда Фуртвенглер проявлял политическую строптивость, угрожал назначить на его место молодого Караяна. (О последнем один виолончелист рассказывал: его отец, в годы войны работавший в «Государственной опере на Уинтер-ден-Линден», имел неосторожность на репетиции посмотреть на часы. Стоявший за пультом Караян, заметив это, сказал: «Wenn es ihnen hier nicht paßt, können Sie sich an der Ostfront wiedersehen». — «Если вам здесь не нравится, отправляйтесь на Восточный фронт».) Существовал порядок, согласно которому, если на концерте присутствовал фюрер, то дирижер, выходя на аллодисменты, приветствовал его нацистским приветствием. Чтобы не делать этого, Фуртвенглер всегда выходил кланяться с

дирижерской палочкой в правой руке. Тем не менее крест вины за сотрудничество с нацистами он нес до конца своих дней.

С. 69. *Что же Элиасберг: разозлившись на одного музыканта, сам добился его отправки на фронт.* — Другой, реальный Карл Элиасберг, первым продирижировавший Седьмой («Ленинградской») симфонией Шостаковича в блокадном Ленинграде, применительно к обстоятельствам избрал свой, не менее радикальный способ карать провинившихся музыкантов: он просто-напросто лишал их пайка. *Patria optimus suorum novisse debet*.

С. 70. ... *записка Пфицнера.* — Ганс Пфицнер (1869 — 1949), немецкий композитор-романтик, автор оперы «Палестрина» и др., в том числе кантаты «О немецкой душе».

С. 73. ... *Обними меня — и я буду прекрасна.* — Перевод стихотворения Ф.Ларкина, сделанный Игорем Померанцевым, привожу по памяти.

С. 74. ... *которая, по мнению одного, протекала в Женеве, а по мнению другого, в Кембридже.* — См. рассказ Х.Л.Борхеса «Другой».

С. 74. ... *по сходному восприятию шубертовского мажора.* — О шубертовском мажоре пишет Т.Манн в «Волшебной горе», финал которой эмоционально немыслим вне звучания «Липы» Шуберта.

С. 76. ... *Сервилизм немца и еврея — как сказал уже недавно упоминавшийся Борхес...* — См. Х.Л.Борхес, «Гуаякиль».

С. 78. ... *«Вицо» — или «Хадассы»?* — Международные женские еврейские организации; название первой — аббревиатура от Women's International Zionist Organisation, название другой взято из Библии: Хадасса — «миртовый цветок», первоначальное имя Эсфири.

С. 79. ... *о происшествии с неким римским легионером по имени Мартин.* — Св.Мартин Турский (336 — 401). Был епископом в Туре, считается покровителем Франции, Майнца и Вюрцбурга. Однажды в молодости, будучи воином, отдал озябшему нищему свой плащ, а ночью во сне увидел в этом же плаще Иисуса Христа, сказавшего: «Мартин одел меня».

С. 80. *В Германии нет недостатка ни в миллионных манускриптах: дневниках, нотах и т.п., ни в миллионах, которые будут на них истрачены...* — Не так давно журнал «Штерн» за восемь миллионов марок приобрел дневники Гитлера, оказавшиеся фальшивкой. Приблизительно тогда же мне довелось играть симфонию Шуберта, якобы недавно найденную. Это был перепев Большой до-мажорной симфонии, к тому же не Бог весть какой ловкий. Не знаю только, «нашедший» ее получил ли свои «десять процентов», или тут имела место фальсификация из любви к искусству.

С. 80. *Встань и иди* — Иоанн V,8.

С. 83. ... *маран Готлиб.* — Мараны (или марраны, от исп. *mag-*

* Родина должна знать своих героев (лат.).

гано, «свинья»; либо от арабского «*maḡan atha*», новозаветного «Господь наш пришел» — хотя Новый Оксфордский словарь говорит, что происхождение этого слова неизвестно) — испанские или португальские евреи, перенесшие в христианство ради спасения жизни, но втайне продолжавшие исповедовать иудаизм.

С. 83. *...nes gadol haja kan...* — Чудо великое было здесь (др. евр.). Слова, которыми в Талмуде сопровождается рассказ о ханукальном чуде (Ханука — праздник освящения алтаря). Чтобы очистить алтарь оскверненного греками Храма, Иуде Маккавею потребовалось восемь дней для приготовления соответствующего масла. И все это время перед Святой Святых горело и не сгорало то небольшое количество освященного еля, которое хасмонеи нашли в Храме спрятанным еще прежними его священниками.

С. 84. *Не перевелись еще души, подобные Клейсту и Адольфине Фогель.* — Генрих фон Клейст (1777 — 1811), немецкий поэт-романтик; под влиянием Адольфины Фогель, женщины болезненно-экзальтированной, убивает и ее и себя, выбрав для этого очень живописное место — на берегу озера близ Потсдама.

С. 85. *...натягивает волос на смычке.* — Современный смычок снабжен винтом, регулирующим натяжение волоса. До XVIII века это делали большим пальцем в процессе игры.

С. 85. *...«шмисом» в пол-лица...* — По-немецки *der Schmiß* означает одновременно и «шрам», и «шник». Шрамы на лице, как следствие общепринятых в студенческой среде поединков на эспадронах, свидетельствовали об отваге и были предметом гордости.

С. 87. *...Роман женской писательницы Марты Стенун «Holzwege»...* — *Die Holzwege*, «лесовозные пути» — просеки, по которым из леса вывозятся срубленные деревья. Так же называется и одна из поздних работ немецкого философа-экзистенциалиста Мартина Хайдеггера, чья фамилия имела к степи (*Heide*) такое же отношение, как и фамилия другого философа, жившего в те годы в Германии, — Федора Степуна. Как бы там ни было, пути «однофамильцев» после тридцать третьего года разошлись.

С. 87. *...какая-то надпись поверх кирпичной стенки.* — Один из пацифистских значков того времени. Надпись гласила: «*Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin*». — (Представь себе, идет война, и никто не пошел воевать.)

С. 90. *...жанровая сценка в чугунах времен Вильгельма Мудрого.* — Вильгельм I (1797 — 1888), император германский и король прусский, официально именовался Великим. Описанный памятник существует, он стоит в Герфореде — «на родине поггенполя».

С. 90. *Иначе почему бы ему не предпочесть баухауз* — водил бы знакомство с Арнольдом Цвейгом и вообще с тридцать пятого года уже преподавал бы композицию в Йельском университете. — Баухауз, течение в немецкой культуре двадцатых годов, представлял собою резкую противоположность позднему романтизму предне-

ствующего десятилетия, югендштилю. Конкретней всего баухауз выразился в архитектуре. Будучи неприемлем для эстетики «национал-реализма», «национал-романтизма», после тридцать третьего года права на существование в Германии уже не имел. Многие деятели баухауза эмигрировали — так центру Тель-Авива, строившемуся в тридцатые годы, присущи черты этого стиля. В отличие от Кунце, «позднего романтика», Арнольд Цвейг построил себе виллу в стиле баухауз, но долго жить ему в ней не пришлось. Впрочем, в чем-то их судьбы сходны: после войны Арнольд Цвейг из Палестины переезжает в ГДР, которой служит верой и правдой до самой смерти. Относительно же преподавания в Йельском университете, то тут у Кунце был бы сильный конкурент, тоже эмигрант из Германии, — Пауль Хиндемит.

С. 94. ...*состоял в «Белой розе»*. — «Белая роза» — антифашистская подпольная группа в Мюнхене, ее участники были казнены.

С. 95. ...*Тристан и Изольда, Брунгильда, исчезающая в пламени после гибели Зигфрида...* — У Вагнера Тристан и Изольда выпивают любовный напиток и умирают от восторга любви, не смея отдаться охватившей их страсти. В финале вагнеровской «Гибели богов» валькирия Брунгильда, мстя за гибель Зигфрида и за свою поруганную честь, поджигает дворец богов, Валгаллу, и сама кидается в огонь.

С. 95. ...*дирижер из Ольденбурга...* — На с. 84. о городе О*** говорится, что «это не чужое для русского слуха название». Входивший в состав Великого герцогства Ольденбургского город Эвер в результате компромисса между гольштейн-готторпской и гольштейн-зондербургской ветвями графского рода Ольденбургов достался Ангальт-Цербстскому дому на правах женского лена, сделавшись таким образом ленным владением будущей императрицы Екатерины II. Позднее Ольденбург был уступлен Данией ее сыну как главе гольштейн-готторпской линии в качестве компенсации за отказ того (тогда Павел Петрович был еще великим князем) от претензий на Шлезвиг-Гольштеинию. Со времен Петра III принцы Ольденбургские состояли на русской службе и духовно были привязаны к России, с их именем связано создание многих благотворительных и учебных заведений. Так, на средства Петра Георгиевича Ольденбурга в Петербурге в 1835 году было открыто училище правоведения (из которого кто только не вышел!), а в бумагах его нашли даже сделанный им французский перевод «Пиковой дамы».

С. 97. ...*конец прекрасной эпохи*. — Стихотворение Бродского, давшее название сборнику, в который оно вошло. О выражении *belle époque* см. в примечании к с. 44.

С. 97. *Бред сивой кобылы сентябрьской ночью*. — Стравинскому, носителю петербургской эстетики, «мирискуснической», «галльской», была глубоко чужда германская высокопарность начала

века, столь любезная москвичам (в плане артистических вкусов прусский, чиновничий Петербург и «туземная» Москва, словно наскучив привычным распределением ролей, «махнулись не глядя»). Ничего удивительного, что Скрябин, в этом смысле типичный москвич, удостоился самой нелестной оценки со стороны Стравинского — в ней слово «бредни» было даже не самым обидным. Вполне возможно, Стравинский чего и сказал бы (разумеется, в сторону, по-русски), будучи представлен Кунце. Встречи не произошло: дягилевская труппа путешествовала «через океан на итальянском пароходе, груженном боеприпасами, который постоянно менял курс, чтобы спастись от преследующих его неприятельских подводных лодок». (Игорь Стравинский, «Хроника моей жизни».) В результате оба композитора где-то на просторах Атлантики разминувшись.

С. 98. ...*Элизабет Шварцкопф*... — сопрано, дебютировала в 1938 году в Берлине и, естественно, «вращалась в сферах». В 1947 году смогла продолжить концертную деятельность благодаря поддержке со стороны Иегуди Менухина.

С. 101. ...*тип Зары Леандер (...) голос — таким надо петь «Хабанеру» (в одноименном фильме)*... — Зара Леандер (1907 — 1981), шведская киноактриса и эстрадная певица, с большим успехом снималась в немецких фильмах в тридцатые годы («Хабанера», «Родина»). Ее лицо мягче и «слаще», чем у Марлен Дитрих.

С. 101. ...*ее она называет «швигермуттер»*. — Т.е. «свекровь», такое обращение невозможно сегодня и переносит нас в совершенно иную эпоху.

С. 102. ...*может быть, на призрак Банко я и не похож*... — Призрак Банко является Макбету в четвертой сцене III акта — садится на его место в пиршественной зале в тот самый момент, когда Макбет притворно сожалеет об отсутствии Банко.

С. 103. ...*пьеса «Мышеловка, или Убийство Гонзаго»*. — Собственно пьеса, представляемая актерами в «Гамлете», имеет одно название: «Убийство Гонзаго». Это Гамлет, на вопрос Клавдия, как называется пьеса, говорит: «Мышеловка».

С. 104. ...*Вилли Ферреро, Ганс Кнаппертсбуш*. — Знаменитые дирижеры первой половины двадцатого века, итальянец и немец.

С. 104. ...*«Воскресшего из мертвых» Вольфа-Феррари*... — Эрманно (Герман) Вольф-Феррари (1876—1948), композитор, сын немца и итальянки, жил попеременно в Мюнхене и в Венеции. Из трех упомянутых опер человечеству известны лишь две последние, «Секрет Сусанны» и «Sly». А вообще чаще других ставятся «Четыре грубияна».

С. 105. *После службы в Мариенкирхе — Клаус ведь был католик*... — Совершенно не обязательно, чтобы Мариенкирхе была католической церковью, но почему-то Доротея Кунце считает нужным вероисповедание мужа подчеркнуть.

С. 105. ...*«Квинтет на тему «Форели» Шуберта» — и пред-*

смертное сочинение, оратория «Плач студиязуса Вагнера» (...) (Вагнер — персонаж «Фауста» Гете — оплакивает судьбу неудачно сконструированного им гомункула.) — Кунце и на сей раз верен себе: творит на основе уже созданного, внося во все элемент фарса. Не говоря о том, что квинтет на тему «Форели» Шуберта был написан самим Шубертом, здесь еще «показан язык» кантате Адриана Левекурона «Плач доктора Фауста», финальная сцена которой «звучит как плач Господа Бога над гибелью своего мира» (Томас Манн, «Доктор Фаустус»). У Кунце это плач неумелого школяра. К тому же каждое последующее обращение к фаустовской теме связано с очередным проставлением кавычек. Похоже, что в легенде о Фаусте сегодня самое ценное — толпа кавычек, за которой уже давно ничего нет.

С. 106. ...какого-нибудь *Порд-Экспресса* или *Ориент-Экспресса*... — Упоительная роскошь этих поездов была воспета Владимиром Набоковым в «Других берегах» и, как известно, Агатой Кристи.

С. 106. ...ночное полотно в духе *Беклина*... — Арнольд Беклин (1820—1901), немецкий художник нидерландского происхождения. Для него типичны темные ландшафты, мифологические образы, затаенность. К числу известнейших его работ относится «Остров мертвых» (в пяти вариантах); одноименное сочинение для фортепиано есть у Сергея Рахманинова.

С. 108. ...его преосвященство архиепископ *Фазольтский* и *Фафнерский* (по-другому, конечно, зовут, но похоже)... — Фазольт и Фафнер — два чудовища, персонажи тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунгов», два брата-великана, жадных до золота; один из них убивает другого, но впоследствии сам убит Зигфридом.

С. 109. ...да-да, вы не думайте, он печатался там... — «Штюрмер», провокационный антисемитский листок с карикатурами в духе Кукрыниксов, издавался в Нюрнберге с 1922 по 1945 год.

С. 109. ...кто такой *Ясперс*? — Карл Ясперс (1883—1969), немецкий философ, наряду с Хайдеггером виднейший представитель экзистенциализма.

С. 116. ...псы, которыми у *Клейста* *Пентезилея* травит *Ахилла*... — «Пентезилея», драма Генриха фон Клейста.

С. 119. ...«*Сильвестр*»... — Общепринятое на Западе название Нового года (в память папы Сильвестра I, скончавшегося 31 декабря).

С. 119. ...курс падающей лиры мне более неведом, небось «земля стремительно приближалась». — Вскоре вместо лиры денежной единицей в Израиле станет шекель.

С. 120. ...классический контрапункт для «тихого скулежа». — На эти дни приходится рождественские праздники по григорианскому календарю.

С. 125. «*И дал Иеффай обет Господу...*» — Судьи XI, 30.

С. 125. ...ассоциация с генералом *Ариэлем Шароном*. — Ариэль (Арик) Шарон, израильский генерал, сторонник жесткой линии. Человек мощного телосложения, прозван Бульдозером. В войну

Судного дня командовал танковой бригадой; гроза египтян на Суэце.

С. 126. Кроме «Иеффая», они еще везли с собой «Ариадну на Наксосе» и «Котку Польску» («Польскую кошку») — оперу Казимежа Жуликовского... — В 1985 году Ганноверская опера тоже возила на «Варшавскую осень» и «Иеффая», и Р.Штрауса, только не «Ариадну на Наксосе», а «Саломею». Вместо же «Котки Польской» исполнялась «Котка Ангельска» («Englische Katze») Хенце.

С. 126. ...вагнерианствовавший в это время в Байрейте... — В Байрейте, в Баварии, в специально построенном для этого «королем из сказок» Людвигом Вторым театре начиная с 1876 года каждое лето проводятся знаменитые вагнеровские фестивали, считающиеся одним из центральных событий в музыкальной жизни Европы. Вот как описывает свое посещение Байрейта Стравинский: «Он (Дягилев) тут же заявил мне, что мы рискуем провести ночь под открытым небом, так как все гостиницы переполнены. С большим трудом нам все же удалось поселиться в комнате для прислуги. Спектакль, на котором я присутствовал, сейчас бы ничем меня не соблазнил, даже если бы мне предложили комнату даром. Во-первых, вся атмосфера зала, его оформление и сама публика мне показались мрачными. Это напоминало крематорий, к тому же какой-то старомодный, где вот-вот должен был появиться человек в черном, на обязанности которого лежало произнесение речи, восхваляющей достоинства почившего. Фанфара призвала сосредоточиться и слушать, и церемония началась. Я весь съезжился и сидел неподвижно; через четверть часа мне стало невмоготу: все тело затекло, надо было переменить положение. Трах! так оно и есть! Мое кресло затрещало, и сотни взбешенных взглядов впились в меня. Я опять съезживаюсь, но теперь думаю только об одном: скорее бы окончилось действие и прекратились мои мучения. (...) Я не хочу касаться здесь музыка «Парсифаля» и музыки Вагнера вообще: слишком уж она сейчас от меня далека. Что меня возмущает во всем этом представлении, так это примитивизм, который его породил, и самый подход к театральному спектаклю, когда ставится знак равенства между ним и священным символическим действием. И невольно думаешь, не является ли вся эта байрейтская комедия с ее смехотворными обрядами попросту слепым подражанием священному ритуалу?»

С. 132. ...ложечками в виде сирен... — Поющая сирена — символ Варшавы.

С. 132. ...в направлении заглавной литеры D (wie Deutschland)... — Когда по-немецки диктуют по буквам какое-то слово, для большей ясности подставляя имена собственные, то обычно прибавляют wie («так же, как»). В продолжение пассажа о немецком «транслитизме» («Немцы приучились смотреть на себя чужими глазами, Германия из мужчины превратилась в женщину» —

см. С. 84) Д на дверях дамского туалета ассоциируется у героя со словом «Германия».

С. 133. ...*даже съездил в Желязову-Волю*. — Музей-усадьба Ф.Шопена.

С. 136. ...*побираться именем десяти колен Израилевых*. — Здесь шесть миллионов погибших евреев уподобляются десяти исчезнувшим коленам Израилевым. Из двенадцати колен (родов, составляющих Израиль) после вавилонского плена в Палестину вернулось только два колена — Иуды и Вениамина. Загадка десяти пропавших колен вплоть до XIX в. будоражила еврейский ум. Народная фантазия цвела: снаряжались экспедиции — даже к истокам Амазонки; устраивались невероятные мистификации — самая известная связана с именем Давида Реувени, выдававшего себя при дворе папы Климента VII за посланника еврейского царя и уверовавшего в свою миссию. На всем, что касается десяти колен Израилевых, лежит печать мессианского сознания.

С. 142. *«Роберт Дьявол» на сцене и он же за дирижерским пультом...* — Имеется в виду опера Дж.Мейербера «Роберт Дьявол» (прозвище норманского герцога Роберта I, известного своей жестокостью, впоследствии в знак покаяния совершившего паломничество к святым местам — отца Вильгельма Завоевателя). Жанр «большой оперы», в котором Мейербер (Якоб Липман Бер, 1791 — 1869) с огромным успехом творил, ныне забыт совершенно и продолжает жить исключительно на страницах книг.

С. 142. ...*быть или не быть в репертуаре израильских концертных залов сочинениями таких композиторов, как Р.Вагнер, Р.Штраус и Г.Кунце*. — Вскоре после провозглашения государства Израиль туда с концертами приехал Яша Хейфец. В программе его концерта была также соната Р.Штрауса. Неожиданно на эстраду выскочил какой-то человек и ударил Хейфеца по руке — рассказывают, что железным прутком. С тех пор Хейфец в Израиле не бывал, но и Р.Штраус публично тоже не исполнялся.

С. 144. *Привет тебе, мой рыцарь! Но если меч твой обгазен еврейской кровью, то тысяча тебе приветствий*. — Вероятно, вследствие аберрации памяти главный дирижер симфонического оркестра московского радио, главный дирижер симфонического оркестра иерусалимского радио, главный дирижер кельнского симфонического оркестра и главный дирижер стокгольмского королевского филармонического оркестра Юрий Аранович в статье «Любите ли вы музыку Вагнера?» приписывает эти слова одному из действующих лиц «Парсифаля», Кундри: «Приведу такой диалог между Кундри и Парсифалем, когда Кундри не знает, кто пришел, и говорит: «Кто ты, неизвестный путник? Ты устал, и руки твои обгажены кровью. Но если они обгажены еврейской кровью, тогда ты желанный гость в моем доме». Трудно заподозрить известного дирижера в намерении мистифицировать читателя. Скорей всего, это писалось в состоянии какого-то помутне-

ния — как знать, не от злоупотребления ли тем наркотиком, о котором сам же Аранович пишет: «Музыка Вагнера безусловно обладает свойствами наркотиков, но от наркотиков надо вылечиваться. И я думаю, что от музыки Вагнера тоже нужно вылечиться. Есть очень много людей, которые вылечились». Так уговаривает себя больной: раз другие вылечились, авось и я вылечусь. Это неважно, что несколькими строками выше больной убеждает себя в обратном — что заболевание как раз неопасное: «Не будем переоценивать значение Вагнера в музыке. Он привел жанр оперы в тупик и потому не имел последователей». Что привел жанр оперы в тупик, никто не спорит, но вот последователей имел до фига. Недаром на вопрос, вынесенный в заголовок, — «Любите ли вы музыку Вагнера?» хочется ответить вопросом: «А любите ли вы музыку Малера?» Ведь так же как все мы вышли из гоголевской шинели, они все вышли из вагнеровского берета. Заканчивает Аранович словами: «Я думаю, что, несмотря на все, что сделал Вагнер, лучше бы он не родился». Двух мнений быть не может: статью своего коллеги Лисовского он читал. Во всяком случае, «Не быть» в «Jerusalem Tower» появилось раньше, чем вышел в свет тель-авивский еженедельник «Круг» (№ 105).

С. 145. *...внучке Менцеля.* — Адольф Менцель (1815 — 1905), немецкий исторический и жанровый живописец.

С. 146. *...удивившаяся когда-то написать, что во время погромов в России не погиб ни один еврей.* — Подобную вещь напечатала однажды Зинаида Шаховская — в редактируемой ею тогда «Русской мысли». Правда, на своем не настаивала, поблагодарила указавших ей на ошибку и принесла читателям извинения, оправдываясь тем, что была не в курсе. (Вероятно, княгиня Шаховская часто бывала не в курсе тех или иных событий, произошедших в двадцатом веке. Стоит ли уж так потом удивляться, что Набоков после второй мировой войны не поздоровался с нею при встрече.)

С. 146. *...на смерть одного знаменитого метафизика, который в тридцатые годы не хотел упускать свой шанс стать вторым Аристотелем при втором Александре Македонском.* — Мартин Хайдеггер скончался 26 мая 1976 года.

С. 148. *Золотой-багряный-черный...* — Национальные цвета Германии в «лучшие» периоды ее истории — борьбы с Наполеоном, Веймарской республики и нынешней ФРГ. Этому флагу противостоит имперский, прусский флаг — бело-красно-черный. Сама собою напрашивается параллель с бело-сине-красным и черно-желто-белым флагами России — в их сегодняшнем истолковании.

С. 149. *...зашел в кондитерскую «Книгге»...* — Барон фон Книгге (1752 — 1796), немецкий просветитель, оставил книгу правил «обхождения с людьми всех сословий и положений».

С. 150. *...Гейхал-ха-тарбут...* — Концертный зал в Тель-Авиве.

С. 151. *А почему бы не запретить «Игру воды»...* — Фортепиан-

ная пьеса Мориса Равеля (1875 — 1937), французского композитора-импрессиониста.

С. 153. *...бесконечные вариации на тему Аполлона и Гиацинта...* — Аполлон полюбил прекрасного юношу Гиацинта. Влюбленный в него же бог ветра Зефир из ревности подул в тот момент, когда Аполлон с Гиацинтом метали диск. Диск отклонился и насмерть поразил Гиацинта в голову.

С. 153. *И пусть здесь прозвучит тристанов аккорд.* — Музыкальный энциклопедический словарь называет его по-немецки «Тристан-аккорд» (поставив почему-то по-русски ударение на «ан») и пишет: «Первый аккорд оперы «Тристан и Изольда» Вагнера (такт 2), один из символов романтической гармонии. Характеристическая звучность «Тристан-аккорда» (энгармонически равен малому септаккорду) — обобщение атмосферы всей оперы, романтического страстного томления». (Некоторые музыканты считают тристанов аккорд полууменьшенным септаккордом к двойной доминанте с задержанием. По замечанию Брайиниа-Пассека, этот же аккорд встречается в ми-минорной прелюдии Шопена.) Во что обошелся нам этот аккордовый «лейтмотив», вернее, гармоническая последовательность, где тема страсти накладывается на тему томления, можно догадаться уже по названиям обеих музыковедческих работ, упомянутых в цитируемой выше заметке: «Романтическая гармония и ее кризис в «Тристани» Вагнера и «Тристанов аккорд и кризис современного учения о гармонии». Вагнер покусился — причем с большим успехом — на святая святых европейского музыкального звучания: на тональность, на принцип «гармонического покаяния», выражаемого неизбежным разрешением диссонанса в консонанс, что является эстетическим эквивалентом победы добра над злом. Тем самым был подорван принцип «спасения», лежащий в основе христианской музыки. Полувеком позже Шенберг доведет до конца это вагнеровское начинание. Достигшая апогея в эпоху барокко, музыка утрачивает отныне свою уникальную черту — жанровую самодостаточность, и превращается снова в придаток более общих культурных явлений. Это одно. Другое: помимо вышесказанного, тристанов аккорд еще является символом неутоленной страсти, может быть, даже обоюдной и оттого только более мучительной. Говоря несколько ранее, что Томас Манн целиком вышел из тристанова аккорда, я имел в виду не просто его вагнерианство, его абсолютную пронизанность Вагнером, безусловно же прошедшим своими когтями по всем страницам «Волшебной горы», «Доктора Фаустуса» да и вообще по всему его творчеству. Я имел в виду и тот запрет отдаться на волю обуревавшей его гомоэротической чувственности, о которой до недавнего времени можно было лишь догадываться. Повисающие в воздухе томление, страсть благодаря Вагнеру обрели свое гармоническое выражение, и литераторы — именно литераторы, а не музыканты — этим по-

спешили воспользоваться. Вспомним «Человека без свойств» Музиля, где Кларисса «неделями отказывала в близости Вальтеру, если он играл Вагнера. Тем не менее он играл Вагнера; с нечистой совестью, словно это был мальчишеский порок». Но естественней все же допустить, что зависимость была обратная. Так что, возвращаясь к Кристиану Кугльбауэру и его племяннику Готлибу Кунце, согласимся с биографом последнего: и пусть здесь прозвучит тристанов аккорд.

С. 153. *Так начинается путь Готлиба Кунце — композитора.* — В биографии Г. Кунце, как, впрочем, и любого другого человека, интересны не столько факты, сколько возможность их символически интерпретировать. Тот же «Марш хайнбюндлеров», о которых в энциклопедии читаем: «Геттингенское литературное объединение (кружок поэтов), называвшееся еще «Hainbund», «Лесное братство», в честь оды Лессинга «Der Hügel und der Hain» — «Холм и дубрава», составилось в 70-х годах XVIII в. из поклонников Клопштока и противников французского влияния в немецкой литературе». Не то важно, что детский опус Кунце называется «Марш хайнбюндлеров», а то, что у Шумана в «Карнавале» есть «Марш давидсбюндлеров» («Давидсбунд», или «Давидово братство», как обычно это переводят на русский язык, был учрежден в шутку Робертом Шуманом в противовес «филистимлянам» — филистерам, косной бюргерской массе). И вот двенадцатилетний Кунце, давая своей пьесе название «под Шумана», переименовывает его — уже в столь юном возрасте — на националистический лад. Или взять родной город его матери в соединении с именем его отца (именно в Граце вырос сын некоего Алонза Шикльгрубера), что ляжет зловещей тенью на всю жизнь композитора, в которой реальность и фантазмагория переплелись столь же тесно, как в репертуаре его сестры Агаты партия мальчика-гения из моцартовской «Волшебной флейты» переплелась с партией мальчика-раба из несуществующей комической оперы Зуппе — не иначе как Франц фон Зуппе (1819 — 1895), автор множества комических опер, нашел, что «Последний день Помпеи» — это не смешно. Особенность эта проявилась и в том, что наряду с реальными людьми — Антоном Брукнером, подобно Бетховену и Малеру, не сумевшим преодолеть роковой рубеж в девять симфоний, или польским пианистом Теодором Лешетицким — жизнь Кунце населяли призраки типа Адольфи, от которых за версту несет булгаковским крысиным ядом. Касательно же «зловещей тени», то чего стоит один только текст, вложенный молодым композитором в уста «мощного унисона басов»: «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста: они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корысти». (Послание к Титу.) Дальнейшие произведения Кунце являются, в сущности, фотографическими негативами всего, что делает Ри-

хард Штраус — старый его приятель по мюнхенским девяностым. Судите сами. Рихард Штраус пишет оперу «Женщина без тени», Кунце немедленно отвечает ему оперой «Женщина в тени», Штраус пишет «Молчаливую женщину», Кунце — «Болтунью», Штраус — «Саломею», Кунце — «Обмененные головы», Штраус — «Арабеллу», Кунце — «Анабеллу», Штраус — «Ариадну на Наксосе», Кунце — «Покинутую Дидону», Штраус — «Электру», Кунце — «Медею». Даже такое, казалось бы, лирическое сочинение, можно сказать, интимное переживание в звуках, как «Дон-Кихот и Дульсинья», симфония-концертанте для виолончели, скрипки и симфонического оркестра, берет «на бордаж» одноименные штраусовские «фантастические вариации на рыцарскую тему». Говоря о том, что в биографии Кунце факты интересны прежде всего своим символическим подтекстом, рядом удивительных совпадений, переключек, в первую очередь хочется указать на девичью фамилию его жены: Шелого. Вера Шелого... ядрут преобразжающаяся в «Боярыню Веру Шелогоу» — и идишской интонации как не бывало. Автор одноактной «Веры Шелогои» (пролога к «Псковитянке») — кстати, учитель Стравинского — Римский-Корсаков в бытность морским офицером совершает плавание на клипере «Алмаз» в составе русской эскадры к берегам Бразилии, о чем с изумительным настроением рассказывает в своих воспоминаниях. Если Кунце, прервавший свое затворничество в верхнеавстрийском Шпитаке, где его застало землетрясение первой мировой войны, — в придачу к глубокому личному потрясению, — отправляясь на пароходе «Диаманте» в Рио-де-Жанейро, был поражен «свечением ночного океана» и пишет «Светочи моря» — как в русском переводе названы «Meerleuchten» Адриана Леверкюна (пер. С.Апта) — то у Римского-Корсакова впечатления от того же плавания на одноименном корабле (см. Н.А.Римский-Корсаков, «Летопись моей музыкальной жизни», гл. V — есть совпадения даже текстуальные) найдут выход в «Шехерезаде». Словом, все, все сылетается в какой-то один удивительный клубок.

С. 154. ...в память о решении Тридентского собора, благодаря гению Палестрины, примирившего католическую церковь и многоголосное пение... — Это было время, когда из католической литургии изгонялось все, что хоть отдаленно могло напомнить протестантизм. На Тридентском соборе, продолжавшемся с 1543 по 1563 год, предлагалось, в частности, исключить из церковной музыки контрапункт, как наносящий ущерб ясности духовного текста и благозвучию, а вместо этого возвратиться к григорианскому хоралу (назад на шесть веков!). Однако ввиду имевшихся разногласий особая комиссия поручила капельмейстеру церкви Санта Мария Маджоре в Риме Джованни Палестрине написать полифоническую мессу, которая удовлетворила бы всем требованиям отцов собора. Сознывая величие своей задачи — необходимость спасения

полифонической музыки для христианства («народа Божьего») и наоборот — христианства для полифонической музыки, Палестрина пишет знаменитую шестиголосную мессу — «Мессу папы Марчелло», где сумел вступление каждого голоса связать с текстом так, что не затемнялся его смысл. Все споры решились в тот момент, когда папа Пий IV воскликнул: «Здесь Иоанн (т.е. Джованни Палестрина) в земном Иерусалиме дает нам предчувствие того пения, которое св. апостол Иоанн в пророческом экстазе слышал в Иерусалиме небесном». Вне всякого сомнения, это был один из звездных часов человечества.

С. 154. *Алессандро Страделла*. — Итальянский композитор середины XVII в., служил при различных итальянских дворах.

С. 155. *Взять хотя бы его оперу «Император Максимилиан», где вагнеровское золото неожиданно соседствует с золотом инков...* — Мексиканский император Максимилиан (1832 — 1867), брат австрийского императора Франца-Иосифа, был расстрелян республиканцами; под «вагнеровским золотом» подразумевается опера «Золото Рейна», первая в тетралогии «Кольцо Нибелунга».

С. 155. *Бернард Шоу в 1897 году...* — Знаменитый драматург работал в молодости музыкальным рецензентом в одной из лондонских газет.

С. 156. *...со стыдом узнаю, что русская музыка там была представлена Николаем — язык не сломайте — Феопетровичем Соловьевым...* — Речь идет о профессоре Петербургской консерватории Н.Соловьеве, который подобно своему знаменитому однофамильцу сотрудничал в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, редактируя музыкальный отдел. Был в Париже на Всемирной выставке, но только двадцатью годами раньше, как делегат от петербургского отделения Русского Музыкального Общества (1878г.).

С. 157. *«Баллада Редингской тюрьмы»*. — Была написана приговоренным к тюремному заключению за гомосексуализм Оскаром Уайльдом (1856 — 1900).

С. 158. *...большая бревенчатая изба в псевдорусском стиле с петушками на Георгиевской трассе...* — См. М.В.Добужинский, «Воспоминания».

С. 158. *Но это уже из другого романа*. — Т.Манн, «Доктор Фаустус». Если берлинские трамваи до сих пор желтого цвета, то в Мюнхене вагоны метро голубые.

С. 160. *...наравне с Троянской войной или сдачей Бреды...* — «Сдача Бреды» — так называется картина Диего де Сильва Веласкеса (1599 — 1660), изображающая одно из событий той нескончаемой войны, которую вели испанцы в Нидерландах.

С. 161. *...где похоронены король Педро и несчастная Инеса де Кастро*. — Трагическая судьба красавицы Инесы, возлюбленной инфанта Педро, сына Альфонса IV Кастильского, послужила сюжетом для множества литературных и живописных произведений.

Инеса де Кастро, с которой Педро после смерти своей жены Констанции тайно обвенчался и прижил четверых детей, с согласия короля была убита (1355 г.). Педро был убит горем, воевал с отцом. Став португальским королем (1357 г.), Педро I, прозванный Правосудным, предал убийц Инесы мучительной казни, перед тем заставив принести королевские почести телу умершей, извлеченному из могилы и посаженному на престол.

С. 163. *Андреас Гофер* — Тирольский народный герой, возглавил партизанскую войну против наполеоновских войск. По приговору военного суда был расстрелян в Мантуе (1810 г.). Германский шовинизм питал к Гоферу естественную симпатию.

С. 163. ...*принятие «Нюрнбергских законов»*. В этот день Вера и Готлиб Кунце вывешивают нацистский флаг с надписью: «Мы говорим: да!» — «Нюрнбергские законы» предусматривали смертную казнь для евреев, сожительствующих с немками. Также см. Томас Манн, «Роман одного романа», гл. XIV, место, посвященное Герхарду Гауптману.

С. 164. «В течение какой-то позорной минуты...» — Там же.

С. 165. ...к *приезду Риббентрона*. — Риббентроп тогда был награжден орденом Ленина.

С. 166. ...*доктор Гаст...* — «Гаст» (Gast) с немецкого переводится как «гость».

С. 167. ...*словно не было Кольберга...* — Город-крепость в Померании. В 1761 году Румянцев, осаждая его, встретил упорное сопротивление, хотя в конце концов и взял. В этом отношении французам повезло меньше. В войну 1806 — 1807 гг. Кольберг так и не был взят французскими войсками под начальством маршала Виктора — о чем по прямому заданию Гёббельса был поставлен цветной, с использованием всяческой пиротехники, фильм.

С. 170. ...«*венчанных вопреки закону и монарху*» (Камознс). — Луис Камознс (1524 — 1580), португальский поэт — и, по счастью, хороший пловец, ибо после кораблекрушения выплыл сам и спас свои «Лузиады». Последние — эпический шедевр, насчитывающий 1102 октавы (8816 стихов), среди которых было бы трудновато отыскать эту цитату, равно как и следующую за ней.

С. 172. «...в любой этой истории (текста, народа, любовной) более всего я доверяю датам...» — См.: Майя Каганская, «Седьмая повесть Белкина, или Защита Травникова (опыт эмигрантской прозы)». Литературный альманах «Саламандра-I».

С. 174. *Сейчас, после Энтеббе...* — В 1976 году израильские десантники после многотысячекилометрового беспосадочного перелета в Западную Африку сумели в ангольском аэропорту Энтеббе с минимальными потерями освободить большую группу пассажиров-евреев, захваченных террористами на борту самолета Эр Франс.

С. 174. ...*правомерно сравнение с Моисеем — а не с Саббатаем Цви*. — Саббатай Цви (1626 — 1676), лжемессия (мнимый спаси-

тель), каббалист, в которого уверовали многие евреи как в Европе, так и под властью султана. Кончил свои дни магометанином.

С. 175. *...гнедиге фрау...* — Употреблять «гнедиге фрау» (gnädige Frau) в третьем лице, по замечанию Набокова, то же, что говорить «барыня велели, барыня сказали».

С. 175. *...рос священный ясень...* — В германо-скандинавской мифологии, гигантский ясень как вневременная форма всеобщего бытия, и его проекция и его залог; священное дерево, зовущееся «игтдрасиль».

С. 178. *...она больше не «Мэкки»...* — В семидесятые годы так называлась короткая стрижка, по имени резиновой куклы-сжика «Мэкки».

С. 182. *...отыщу деревеньку или городишко Эспириту-Санту...* — Т.е. Святого Духа — намек на непорочное зачатие.

С. 184. *...герой, поневоле агент всех разведок, после всех европейских столиц на десерт попадает — в Лиссабон...* — В советском прокате этот фильм так и назывался: «Агент поневоле». Вообще же это была одна из экранизаций романа И.-М.Зиммеля «Не все коту масленица», если так можно перевести «Es muß nicht immer Kaviar sein».

С. 185. *...вряд ли между Тель-Авивом и Лиссабоном существовали, после того, что случилось в 1497 году, прямые рейсы...* — Шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. 1497 год — одна из роковых дат в истории еврейства: изгнание евреев из Португалии, сопровождавшееся массовыми избиениями, насильственным крещением, разлучением детей с родителями. Повторилось то, что произошло в Испании пятью годами раньше (в год открытия Америки — по легенде, оба события связаны между собой). Португальский король Мануэль Великий пошел на это по настоянию своей будущей жены, испанской принцессы, и ее родителей, короля Фердинанда Арагонского и королевы Изабеллы Кастильской. Тридцатого ноября 1496 года был подписан брачный контракт, а уже четвертого декабря король издал указ, повелевавший всем евреям покинуть Португалию до конца октября 1497 года под страхом смертной казни. Но если символическая церемония примирения еврейского народа с Испанией состоялась (еврейский народ на ней представлял президент Израиля Хаим Герцог, а Испанию — король Хуан Карлос), то с Португалией, насколько я знаю, такого примирения не было — как не было в семидесятые годы и прямого авиасообщения между Тель-Авивом и Лиссабоном.

С. 185. *...разглядывал восемнадцатилетнюю Сусанну с какой-то там птичьей фамилией.* — Героиню романа Томаса Манна «Признания авантюриста Феликса Круля» зовут Сюзанна Кукук. И тут я должен признаться, что героиню другого романа, имевшего место около тридцати лет назад, звали Сусанна Шпак. Поздней, эмигрировав в семьдесят третьем году, она была выпущена взятъ

фамилию мужа (см. примечание к С. 8), и с тех пор зовется Су-сапшой Гиришович.

С. 188. *У Рора отстегнулась бабочка — черный набоковский аполлон... или томасманновская hetaera esmeralda...* — У энтомолога Набокова по страницам «Дара» порхает черный аполлон — такая бабочка поэтиного сердца, — что вдруг становится ясным, когда читаешь про членов Русского Энтомологического Общества, открывающих охотничий сезон поездкою на Черную речку. Hetaera esmeralda — тоже бабочка, но из породы «почтовых бабочек». За нею охотился Адриан Леверкюн, ради нее из Граца, где — в мае 1906 г. — «при личном участии композитора состоялась австрийская премьера «Саломеи» (Томас Манн, «Доктор Фаустус», гл. XIX), он завернул в Пресбург, чтобы, несмотря на все предупреждения этой «гетеры Эсмеральды», получить свою долю яда под названием сифилис. Две бабочки, между которыми нет ничего общего, кроме того, что место той и другой среди шедевров мировой литературы.

С. 190. ...колбасный «ауфшнит»... — Колбасное ассорти.

С. 197. ...родились они в Шхунат-Атиква или в Савионе... — Шхунат-Атиква («Квартал надежды») — район трущоб, Савион — район вишл.

С. 198. «Прочь от места катастрофы» (название чего-то, а чего, убей меня Бог, не помню). — Теперь вспомнил — рассказа Владимира Маразмизина.

С. 198. ...ашкеназийских евреев, «вус-вус»... — «Вус-вус» (что-что? — идиш) — прозвище евреев-ашкеназим.

С. 199. ...при соблюдении ООПовской диеты не шире шестнадцати километров в талии. — Т.е. без оккупированных территорий.

С. 199. ...над одним проклятым вопросом: «Кто еврей?» — Вопрос «Кого считать евреем?» (Mi hu yehudi?) напрямую связан с законом о возвращении и — соответственно — о праве на израильское гражданство. «Запись актов гражданского состояния» в Израиле осуществляется раввином — исключительно он «крестит», «венчает», «отпевает», не будучи, однако, уполномочен (Господом Богом) то же самое производить над лицами неиудейского вероисповедания, каковым в то же время светский закон отнюдь не воспрещает быть израильскими гражданами. При этом среди духовных авторитетов нет единого взгляда на прозелитизм: нередко переход в иудаизм, признаваемый одними раввинами, категорически оспаривается другими. Все это вместе порождает невообразимую путаницу, тем большую, что в удостоверении личности израильтянина есть аналог знаменитого «пятого пункта»: графа «dat», т.е. «вера» (дискриминационного характера это, правда, не носит — на трудоустройство не влияет). И вот, словно в насмешку над вопросом, который, выражаясь по-простецки, звучит так: еврей — это вера или национальность? — в израильских удостоверениях личности, в графе «вероисповедание», стало

вдруг появляться «русский», «украинец», а чаще просто «lo bapir», что значит «не установлено».

С. 207. *...назовем это «эпохой второго Храма»...* — История пребывания евреев в древней Палестине распадается на два периода — эпоху первого Храма и эпоху второго Храма. Их разделяет столетний вавилонский плен.

С. 207. *Жена Арлозорова чего-то всю жизнь недоговаривала. Так, по крайней мере, мне было сказано.* — М.Каганская, по ее словам, собиралась написать пьесу — в соавторстве с Зеевом Бар-Селлой, — в которой убийцей Арлозорова предстает его жена Сима.

С. 208. *...симпатыга работал семь лет у некоего Вайса в Дармштадте, даже женился на его дочери. «Якоппо», — представился он...* — Вайс, т.е. «белый», по-древнееврейски lavan. Семь лет работал Иаков на Лавана даром: тот вместо Рахили, как было обещано, подсунул ему в жены Лию.

С. 209. *...отдал мне честь, приложив руку к своему тропическому шлему...* — Все цитаты из «Феликса Круля» даны в переводе Наталии Ман.

С. 210. *Да, из «1001 ночи» — слабо было ему так ответить.* — Фатима — одно из мест массового паломничества католиков всего мира. Здесь в 1917 году было явление Богоматери трем подпаскам. Пресвятая Дева призывала молиться за Россию, которую ждут тяжкие испытания. Согласно фатимскому пророчеству, обращение России в католичество не за горами.

С. 217. *...эвтаназия...* — По-гречески означает «красивая смерть». Умерщвление больных, обреченных на мучительную агонию, с их согласия. В большинстве стран это запрещено законом ввиду несовместимости с медицинской и религиозной этикой. В нацистской Германии эвтаназия наряду со стерилизацией практиковалась в отношении лиц умственно неполноценных.

С. 218. *...женщина, наделенная честолубием Фамари...* — В случае с Фамарью справедливо говорить о чести материнства. Сноха Иуды (жена его сына Иакова), дважды овдовев, по-прежнему оставалась бездетной. Лишенная Иудой своего законного права — взять в мужья третьего, младшего его сына, Фамарь решается забеременеть от свекра, для чего наряжается блудницей. Обман удался, Иуда признает себя отцом родившихся близнецов. Фамарь торжествует: и она тоже теперь является звеном благословенного рода.

С. 221. *...«Немая из Портичи»...* — Она же «Фенелла». Оперантомила Д.Обера (1782 — 1871). Первая в жанре «больших опер», ныне не исполняемых — кроме как под управлением антивягнерианца Лисовского, который так же ставил в Торонто в «Мейлигопол Хауз» «Роберта Дьявола» Мейербера.

С. 225. *Она звонит из Хундитока.* — «Хундшток» в переводе с нем. означает «Собачья палка».

С. 226. ...«*Лакрима Кристи*»... — то, что пил в Неаполе Жерар де Нерваль. См.: «Дочери огня (Октавия)» Жерара де Нерваля (1808 — 1855), французского поэта и прозаика. Настоящая «Лакрима Кристи» («Слеза Христова») — редкое и дорогое вино, в отличие от дешевых «спуманте».

С. 227. ...*Петра* — это же «Свобода на студенческих баррикадах»... — «Свобода на баррикадах», знаменитое полотно Э.Делакруа (1798 — 1863), где свободу, она же Франция, олицетворяет полуобнаженная женщина с флагом. «Студенческие баррикады» — имеется в виду «студенческая революция» 1968 года.

С. 230. ...*стань Ариадной, стань Медеей*... — Обе, в противостоянии любви и долга, избрали любовь, Ариадна — к Тезею, Медея — к Язону.

С. 230. ...*несколько песен Гуго Вольфа*... — Композитор Гуго Вольф (1860 — 1903), сраженный тем же недугом, что и Ницше, наряду с последним явился «биографическим донором» при создании Томасом Манном «Доктора Фаустуса».

С. 232. *Как Бестер Китон в одной своей комедии («Опасное гостеприимство»)*... — Бестер Китон (1895 — 1966), комик немого кино с застывшим на лице выражением скорбного благородства. В кинокомедии «Опасное гостеприимство» законы венидетты вступают в конфликт с законами гостеприимства. Чтобы убить своего кровного врага, по случайности оказавшегося гостем, хозяевам надо как-то выпроводить его из дому.

С. 235. *Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?* — Эти слова на пути в Дамаск слышит Савл, гонитель христиан — в будущем апостол Павел. (Деян. XI, 4.)

С. 235. ...в *размалеванных «карочас», с kyrie на устах направляющихся на Плаца Майор* — На Плаца Майор в Мадриде производились аутодафе. Еретики шли на костер с нением (или под пение) «Господи, помилуй» (kyrie eleison), в высоких бумажных шапках (сагоша, португ.), на которых было изображено адское пламя, дьявол и т.п.

С. 237. ...*кюбель-ваген*... — Легковой армейский автомобиль с откидным верхом — джип вермахта.

С. 238. ...из *Лемберга*... — Т.е. из Львова, до первой мировой войны входившего в состав Австро-Венгрии.

С. 245. ...у *жены Потифара строгий взгляд и честное выражение лица*... — Жена египтянина Потифара с библейских времен олицетворяла женское вероломство в сочетании с любовострастием. Потерпев неудачу в своих домогательствах, оклеветала Иосифа перед его господином.

С. 248. ...«*Художник Матис*» (не Матисс)... — «Mathis der Maler», симфония Пауля Хиндемита в трех частях, названиями своими указывающих на образы знаменитого изенгеймского алтарного складца (1510 г.) работы Матиаса Грюневальда.

С. 251. ...у *сиротливо лежащей кисти недоставало нескольких*

пальцев. — Отсылаю читателя к фильму Хичкока «Тридцать девять ступеней» (1935 г.).

С. 253. «*Сим победиши*». — Перед битвой в присутствии войска императору Константину было видение: крест в небе со словами *hōc vince* (*In hoc signo vinces*, «Сим победиши»).

С. 256. *Чарльз Бронсон* — известный американский киноактер, снимается в боевиках.

С. 257. *Шма Исраэль?* — Т.е. не пришла ли пора произнести слова, содержащие исповедание Моисеевой веры, которые каждый еврей должен сказать перед смертью: *Shema Israel: Adonai Elohejnu, Adonaj ahad.* («Слушай, Израиль: Господь наш Бог — Бог единый».)

С. 261. ...*Маймонид*... — Известный еще под аббревиатурой Рамбам (Рабейну Моше бен Маймон). Один из столпов иудаизма в испано-арабскую эпоху. Вероучитель, философ. Был придворным медиком Саладина.

С. 269. «*Усекновение головы Иоанна Крестителя*» *Ганса Фриса* (...) в большом почете был «*Идиот*» *Достоевского*... — Эта картина упоминается Достоевским в романе «Идиот».

С. 273. *Отцы ели (подчеркнуто) сладкий виноград, а у детей оскомина.* — В Библии говорится о «кислом винограде». (Иер. XXXI, 29.)

Гиршович Л.

- Г 51 Обмененные головы. Роман. — М.: «Текст», 1995. — 301 с. (Серия «Коллекция 2»).
- ISBN 5-7516-0042-8

Герой романа «Обмененные головы» скрипач Иосиф Готлиб, попав в Германию, неожиданно для себя обнаруживает, что его дед, известный скрипач-виртуоз, вопреки тому, что считали его родные и близкие, не был расстрелян во время оккупации в Харькове, а чудом выжил. Заинтригованный, он расследует историю деда.

ББК 84Р7-4

Леонид Гиршович
ОБМЕНЕННЫЕ ГОЛОВЫ
РОМАН

Редактор Н.Г.Гувс
Художественный редактор
Т.Е. Добровинская-Владимирова

Лицензия № 063402 от 26.05.94
Подписано в печать 29.06.95. Формат 84×108¹/₃₂.
Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 14,30.
Тираж 10 000 экз. Изд. № К164. Заказ № 6231.

Набор и диапозитивы
подготовлены издательством «Текст»
125190 Москва, а/я 89

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Книжной фабрике № 1 Комитета РФ по печати.
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И КНИГОТОРГОВЦЕВ!

В ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТЕКСТ» —
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ИЗДАТЕЛЬСТВА,
НАЛИЧИИ КНИГ И ЦЕНАХ;
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ОПТОВЫЕ ПАРТИИ.
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ НОВЫЕ КНИГИ
«ТЕКСТА»
И ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ.
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ:

Очередную остросюжетную книгу новой серии
«КОЛЛЕКЦИЯ 1»

Тони Хиллерман. ТЕМНЫЙ ВЕТЕР

Перевод с английского

Первые книги новой серии «МИНИ-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Моника Веглер. КОШКИ

Ульрих Клевер. СОБАКИ

Галина Хейтц КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Перевод с немецкого

**С.Витицкий. ПОИСК ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ,
ИЛИ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ТЕОРЕМА ЭТИКИ**

Роман

С. Ярославцев. ДЬЯВОЛ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

**Евгений Попов. ДУША ПАТРИОТА,
ИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ПОСЛАНИЯ К ФЕРФИЧКИНУ**

Роман

Адрес Информационного центра:

125183 Москва, проезд Черепановых, 56
телефон (095) 156-86-70

Представитель в Санкт-Петербурге:
телефон (812) 356-80-29

КОЛЛЕКЦИЯ 2

В эту
коллекцию
вошли книги:

Ж. Жене
Дневник вора

П. Валери
Юная Парка

М. Рио
Мерлин

В оформлении использована
картина А. Ситникова
"Композитор"



КОЛЛЕКЦИЯ / ТЕКСТ



В основе этой захватывающей книги -
пушкинская дилемма:
совместны ли гений и злодейство.
Леонид Гиршович пишет хорошо.
В наше время в России многие пишут хорошо,
но куда девалось элементарно необходимое
для прозаика искусство - искусство
рассказывать историю?
Гиршович один из очень немногих
современных русских писателей,
кто знает, как это делается.

Лев Лосев

